АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XI

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1962

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, *Н. А. Баскаков*, *Е. А. Бокарев*, *В. В. Виноградов* (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов*, *Н. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов*, *Г. Д. Санжеев*, *Б. А. Серебренников*, *Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

Т-05830 Подписано к печати 17.V.1962 г. Тираж 5930 экз. Зак. 391
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 14,38 Бум. л. 5¹/₄ Уч.-изд. листов 17,4

2-я типография Издательства Академии наук СССР, Москва, Шубинский пер., 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

М. В. ПАНОВ

О РАЗВИТИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

(К постановке проблемы)

1

В XX в. Россия пережила огромные социальные сдвиги. Это не могло не отразиться на условиях существования русского языка и на тенденциях его развития. Литературная речь после революции была усвоена теми народными кругами, которые раньше владели только определенным местным диалектом или городским просторечием. Навыки литературного говорения для них были суперстратными; на первых порах сквозь эти навыки постоянно просвечивала субстратная, диалектно-просторечная основа. Естественно, нормы литературного языка оказались расшатанными. Исторические условия 20-х годов не позволяли сразу поднять школьное и педагогическое образование; не хватало учителей; не хватало книг; все это еще более усложняло языковое строительство, борьбу за строгую нормативность речи.

Как известно, временная языковая разруха очень беспокоила В. И. Ленина; именно он поставил перед советской общественностью важную задачу: отстоять стабильность русского литературного языка. Отказ от этой исторически сложившейся стабильности означал бы, что разорвана живая связь с традициями русской демократической культуры.

Говорят, что развитие литературного языка заключается и в том, что он все меньше развивается. Это совершенно справедливо, по крайней мере по отношению к фонетической и грамматической системе языка[1]. Такая закономерность имеет естественное объяснение: литературный язык соединяет людей не только в пространстве, но и во времени; чем больше на нем накоплено культурных ценностей, тем сильнее (и объективно оправданнее) стремление остаться в пределах этого языка. Поэтому постепенное замедление в темпах языковых изменений становится объективным законом развития литературного языка. Между тем стремительный наплыв диалектно-просторечных новшеств угрожал именно этой, исторически все более укрепляющейся, стабильности русского литературного языка.

Одна из больших заслуг советской общественности состоит в том, что она сумела отстоять литературный язык от разрушений, которыми грозили диалектные и просторечные вторжения. Борьба за строгую нор-

[1] Недавно были сделаны первые (и очень несовершенные) попытки проверить при помощи теории информации, насколько реально и существенно замедление в темпах развития русского литературного языка. Проверке подверглись некоторые фонетические модели. Первые ориентировочные подсчеты показали, что энтропия определенных типических звуковых синтагм в связи с изменениями в фонетической системе русского языка постепенно уменьшается, но темп этих уменьшений на протяжении последних веков становится медленнее. Подсчеты велись по трем синхронным срезам: середина XVIII в., середина XIX в. и середина XX в. Энтропия определенных синтагм, высчитанная с учетом звуковых законов XVIII в., оказалась больше, чем энтропия соотносительных синтагм, высчитанная с учетом звуковых законов XIX в.; еще меньше она оказалась для XX в. Но контраст между данными XVIII и XIX вв. гораздо более резок, чем контраст между XIX и XX вв. Дальнейшие исследования покажут, насколько всеобщи и характерны для развития литературного языка эти отношения. Изучение этой проблемы проводится в Институте русского языка АН СССР сектором современного литературного языка.

мативность литературного языка прошла после Великой Октябрьской революции через несколько существенно различных периодов.

Литературный язык 20-х годов можно представить в виде двух концентрических окружностей. Меньшая — это строго нормативная речь, продолжающая традиции XIX — начала XX века. Бо́льшая — это пестрая и неустойчивая речь, которую только в потенции можно было назвать литературной. Через условную границу, разделявшую эти два типа речи, шло интенсивное перемещение конструкций и моделей. Строго литературная речь поглощала полулитературную, ассимилировала ее, сама обогащаясь и внутренне преобразуясь.

Новые носители литературного языка часто еще не сознавали всех функциональных различий внутри литературной языковой системы, не принимали в расчет контрастность между нормативными и ненормативными фактами речи. Особенности литературной речи активно усваивались, но самое представление о должном в языке, о норме оставалось во многих случаях еще чисто диалектным. В диалектах, конечно, тоже есть границы между тем, что хорошо и обычно в речи, и тем, что смешно и недопустимо. Однако пределы допустимого очень широки; синонимия единиц и моделей исключительно велика; использование и того, и другого, и третьего способа выражения оказывается функционально никак не разграниченным. То, что в литературном языке образует иерархию (стилистическую, семасиологическую и т. д.), в диалекте нередко выстраивается в один ряд. Овладеть новым пониманием нормы, характерным для литературного языка, можно было только на первоклассных авторитетных образцах современной речи. Такими образцами оказались статьи, выступления В. И. Ленина и его соратников (М. И. Калинина, А. В. Луначарского, Я. М. Свердлова, А. В. Чичерина и др.).

Щедро отразила «языковую смуту» 20-х годов художественная литература. Речевые контрасты были использованы с целями экспрессивно-художественными; они соответствовали идейно-образным противопоставлениям в произведении. Типизированные речевые маски получали эстетическую оценку; факты речи были соотнесены с литературной языковой нормой (субъективно преломленной в сознании писателя). Речевые характеристики, кроме того, выступали на фоне авторской речи, и этот контраст опять-таки позволял читателю оценить степень нормативности изобразительно-экспрессивных частей повествования. Впрочем в это время нейтральный, строго нормативный фон иногда и вовсе отсутствовал; контраст между ним и «раскрашенными» языковыми кусками произведения нередко был нивелирован. Все же заслуги художественной литературы этого периода в воспитании чувства языковой нормы неоспоримы. Однако в целом надо признать, что в этот период литературная речь оказалась переобремененной сообщениями на уровне «Kundgabe» (по терминологии Бюлера и Трубецкого); разгрузка была неизбежна, и она наступила.

30 и 40-е годы — это время укрепления литературно-языковых норм. Нейтральный стиль, самый нормативный, самый традиционный и устойчивый, становится особенно желанным в литературном языке и оттесняет другие стилистические системы. Идет шлифовка семантических соотношений в этом стиле; в центре внимания не «Kundgabefunktion», а «Darstellungfunktion». Успехи художественной литературы в эту пору связаны с произведениями, раскрывающими смысловое богатство, семантическую гибкость и выразительность нейтрального стиля языка (проза М. Пришвина, А. Толстого, Ю. Олеши, И. Катаева, А. Фадеева, К. Паустовского, К. Федина). Это был плодотворный и необходимый процесс: развитие окрашенных стилей в пределах литературного языка возможно только на фоне нейтрального стиля и в соотнесении с ним. Совершенствование других стилей в пределах литературного языка требовало, чтобы сначала был укреплен нейтральный стиль — то начало

всех координат в системе литературного языка, от которого и ведутся стилистические отсчеты.

Но закономерный процесс укрепления литературно-языковых норм породил и целый ряд болезненных явлений. Появились рецидивы пуризма; литературная речь (и художественная, и деловая, и бытовая) часто обескровливалась и упрощалась. Использование в художественной литературе речевых масок, воспроизводящих просторечную, арготивную, диалектную речь, стало иногда восприниматься настороженно или враждебно, даже если включение этих речевых характеристик было оправдано образной структурой произведения[2]. Наиболее актуальным в эту эпоху оказалось противопоставление: литературность — нелитературность речи; при этом понятие литературности часто сужалось до понятия нейтрального стиля. Другие противопоставления оказались отодвинутыми на задний план[3].

Наконец, сравнительно недавно (в 50-х годах) начался третий период в развитии литературной языковой нормы. О нем особенно трудно говорить: далеко не все его тенденции выявились и определились. В центре внимания теперь находится разработка внутрилитературных стилистических контрастов; сам литературный язык понимается как система стилей; каждому из них присуща особая нормативность. Объективно это было так и в предыдущие периоды, но только теперь настало время интенсивно, напряженно совершенствовать эти внутрилитературные соотношения. Все окрашенные стили литературного языка (разговорный, книжный, ораторский и т. д.) соотнесены с нейтральным; только после укрепления нейтрального стиля стало возможно глубокое развитие «окрашенных» стилей. В художественной литературе снова возникают тенденции инкрустировать литературную речь диалектными, жаргонными характеристиками, остро индивидуальными отклонениями от литературности, но на строгом фоне общелитературной, точно нормированной речи.

Тенденции, особые для каждого периода, охватывали весь литературный язык, во всех его функционально различных проявлениях. Они выявлялись и в бытовой речи, и в деловых документах, и в художественной литературе. Но в каждом функциональном ответвлении литературного языка выявлялись по-своему. Судьбы языковой нормы во многом зависят от способов передачи и усвоения литературного языка. До революции в усвоении языковых норм первостепенную роль играли семейные традиции. Круг интеллигенции, которая являлась носителем литературного языка, был социально замкнут и относительно неподвижен. Навыки литературного говорения передавались из поколения в поколение примерно так же, как передаются навыки диалектного говорения. Если литературная норма допускала вариативность, то свободного выбора одного из вариантов не было: усваивалось то, что было дано семейной традицией (или традицией узкой социальной и локальной группы).

И вот этот узкий круг носителей литературного языка распахнулся, вобрав в себя массы людей, которые упорно усваивали новые нормы речи, отказываясь от диалектного или просторечного говорения. Семейные традиции перестали быть основным средством передачи навыков

---

[2] Характерный пример стремления к ультранейтральности речи — стилистико-языковые заметки И. В. Сталина на первый том «Истории гражданской войны». Все, что отступало от безлично-нейтрального языкового фона (хотя бы и было само по себе заурядно-шаблонно), оценивалось как «модернизм» и зачеркивалось. Стремление к нормативной строгости превращалось в требование нормативного однообразия и серости. (См. И. [И.] Минц, Подготовка великой пролетарской революции (к выходу в свет первого тома «Истории гражданской войны в СССР»), «Большевик», 1935, 21, стр. 26—28).

[3] Это относится в первую очередь к массовой литературной речи, а не к отдельным вершинным ее проявлениям.

речи. Книга превратилась в первого учителя языка. Усвоение литературных норм при этом стало более осознанным. Больший простор открылся для рационалистического отбора произносительных, грамматических, лексических вариантов в пределах литературной нормы. Благодаря тому, что усилия новых хранителей и строителей литературного языка были сознательно направлены на усвоение строгой нормативности речи, оказалось возможным в короткий срок, в три-четыре десятилетия преодолеть (или значительно сократить) контрасты между строго литературной речью («меньшей окружностью») и речью полулитературной («большей окружностью»).

Ориентация на книгу как на главного учителя языка обусловила массовое проникновение элементов книжной речи в разговорную, нечеткое разграничение разговорных и книжных норм языка (явление, очень характерное для 20 и 30-х годов). Но постепенно пути усвоения и обогащения литературной речи становились все более разнообразными. Рядом с книгой стало радио; очень может быть, что его влияние на живую, звучащую речь со временем станет главенствующим. Радио расширило возможности влияния сценической речи на общие языковые нормы. Наконец, созданы новые семейные традиции литературной речи — на значительно более широкой социальной базе, чем раньше. Все это способствовало и способствует более органическому, более глубинному усвоению литературных норм всей массой говорящих по-русски, чем это было в первые годы революции.

Изучение литературной нормы в русском языке советской эпохи ставит перед исследователем много важных и трудных задач. Надо изучить влияние на формирование современной литературной нормы языка политической публицистики; отражение в художественной литературе различных этапов строительства новых языковых норм; роль радио в пропаганде и распространении литературной речи; стабильность современных семейных традиций литературного говорения (для разных социальных кругов)[4]; усиление сознательного отбора языковых норм, сознательной деятельности в формировании литературного языка. Особо важно для каждого периода — изучить различное общественное понимание и оценку языковых норм.

2

За прошедшие полвека много новшеств вошло в стилистическую систему русского языка. «...Развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом», — писал Л. В. Щерба[5]. Стили языка образуют систему. В основе ее лежит нейтральный, неокрашенный, немаркированный стиль. Ему противопоставлены две группы по-разному маркированных стилей: высокие и сниженные (разговорные). Высокие стили связаны с особо значительными, с точки зрения говорящего, социальными ситуациями; сниженные — с ситуациями, которые оцениваются как обычные; нейтральный стиль не содержит в себе оценки речевой ситуации. Поскольку в стилях языка запечатлена оценка и классификация характерных социальных условий общения, постольку стили особенно чутко и разносторонне отразили изменения в общественных условиях бытования языка.

Стилистические парадигмы пронизывают все ярусы: лексику, словообразование, словоизменение, синтаксис, фонетику. В лексике это соотношения типа *очи — глаза — гляделки*.

---

[4] Изучение устойчивости семейных речевых традиций (по массовым материалам фонетического вопросника) начато Институтом русского языка.

[5] Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, «Р. яз. в шк.», 1939, 4, стр. 23.

Ср. у А. А. Блока:

Смотрят
Его гляделки в чистые глаза.

(«Вольные мысли»).

У П. Г. Антокольского:

В страшный час мировой этой ночи,
В страшный час беспощадной войны
Только зоркие, чистые очи
Называться глазами должны.

(«Третья книга войны»).

В словообразовании — это соотнесенность морфемных моделей. Ср. *формализм*, *утопизм* — *формалистика*, *утопистика* и т. д.; *перекручивание*, *забрасывание*, *отбеливание*, *замораживание* — *перекрутка*, *заброска*, *отбелка*, *заморозка* и т. д. В синтаксисе — это соотношения конструкций таких, например, типов: *Если бы я пришел раньше...—Приди я раньше...* или *Автор, переведший... — Автор, который перевел...* и т. д. В каждом ярусе эти отношения темперированы; так, книжные, высокие стили в лексике образуют несколько подгрупп, в разной степени, с большей или меньшей резкостью противопоставленных нейтральному стилю. Эти подгруппы соотносительны с градацией, например, синтаксических стилевых средств и т. д. Так как стилистические отношения охватывают весь литературный язык, то, естественно, изменения в стилистике влияют на лексическую, грамматическую, фонетическую системы; именно поэтому стилевые градации должны быть в центре внимания при изучении истории русского языка в советском обществе.

Стилистические изменения, характерные для последнего периода в развитии русского языка, обнаруживают общие закономерности в разных языковых ярусах. Большинство из этих изменений связано с демократизацией русской литературной речи, с распространением ее в самых широких народных кругах. Резко усилилось влияние разговорных стилей на нейтральный. Вместе с тем больший вес, большее значение приобрел сам разговорный стиль; нормы его (в их предельном выражении) стали более контрастными по отношению к нейтральному стилю. Высокие стили также испытали влияние стиля разговорного, но оно не было особенно интенсивным. Влияние книжного стиля (т. е. одного из высоких) на нейтральный оказалось весьма значительным; в 20 — 30-е годы это было связано с недостаточной разграниченностью у массы говорящих норм книжной и устной речи, а позднее стимулировалось стремительным развитием социалистической культуры, в первую очередь науки, ее широким проникновением в быт, в повседневные человеческие отношения.

Особенные трудности представляет изучение современного разговорного стиля, его изменений, его норм. Он почти целиком игнорируется языковедами; его реализации трудно зафиксировать и проанализировать. Этот стиль в своих наиболее чистых и специфических формах проявляется только в обстановке непринужденного и естественного общения; внесение любых, даже самых незначительных, искусственных условий в общение неизбежно спугнет разговорную речь, во всяком случае — сузит ее возможности. Еще большая трудность в том, что речь, реализующая разговорный стиль, предельно автоматизирована; обычно и сам исследователь (не только говорящий) не замечает ее, не может схватить в естественном течении. Наблюдение, что слова *есть* и *десять* в этом непринужденно-привычном стиле могут произноситься одинаково, оказалось неожиданным и удивительным открытием; Е. Д. Поливанов установил этот факт, используя наблюдения студентов-китайцев, речевое восприятие которых по отношению к русскому языку не было фонематически автоматизировано. Каждое новое наблюдение за этой речью пока дается с трудом и часто вызывает сомнения и недоверие.

Часто говорят, что эта раскованная и непринужденная речь находится за пределами литературного языка. На самом деле она разновидность последнего, так как не включает никаких диалектных и просторечных особенностей; этой разговорной речью пользуются в определенных ситуациях (дружеская беседа, бытовой разговор и т. д.) те же люди, которые в других условиях полно и точно применяют нейтральный и высокие стили языка[6].

Разговорная речь в значительной степени обособилась от остальных стилей языка. Чтобы начать планомерное исследование этой речи, надо организовать систематическую ее запись, собирание массовых фактов. Пока же характеристика разговорного стиля неизбежно будет отрывочной и скупой.

В этом стиле предельно широко используются метафорические и метонимические осмысления слов и выражений. Возможность синонимических замен в нем гораздо шире, чем в других стилях. Многие семантические контрасты и разграничения нивелируются, текстуально «снимаются». Вообще значение контекста (и конситуации) для понимания отдельных слов и выражений здесь значительно выше, чем в любых иных стилях.

Эмоциональная окрашенность лексических единиц в разговорном стиле выявляется особенно резко и подчеркнуто. Сильна фразеологическая спаянность отдельных лексем.

Закономерны и часты в этом стиле различные окказиональные словообразования [типа: *Надоело мне стереженье твоих вещей* (пример Л. В. Щербы)]. Ряд моделей, являющихся нерегулярными для нейтрального и высоких стилей, высоко регулярны в разговорном. Грамматические формы у определенных лексем, запретные для других стилей, в разговорном оказываются допустимыми (ср.:я *его убежу*; *берегя* и т. д.).

Синтаксические особенности этого стиля особенно своеобразны и резки. Можно думать, что в разговорном стиле действуют особые синтаксические тенденции, чуждые другим стилям. Многообразны в нем, например, типы расчленения сообщения на две резко противопоставленные части: указание на тему сообщения и самое сообщение (в высоком стиле этому соответствуют конструкции с именительным представления: *Москва!... Как много в этом звуке...*). Вот несколько примеров (записи устной речи). У газетного киоска: — «*Иностранная*» — *у вас седьмой?* — В переводе на нейтральный стиль: — *Это у вас седьмой номер журнала «Иностранная литература»?* В беседе: — *Иванов? Его согласие нам не нужно; а Селиванов будет за.* На железнодорожной станции: — *Пассажирский на Люберцы... Это со следующей платформы?* В нотариальной конторе: — *Нотариальная пошлина; вам можно заплатить?*[7] Всюду одно и то же стремление: вынести вперед и обособить указание на предмет сообщения, превратить его в особый синтаксический фрагмент. Все такие конструкции соотносительны с конструкциями нейтрального стиля. Все они могут быть заменены нейтральными синтаксическими построениями. Но вряд ли их можно рассматривать как эллиптическое сокращение нейтральных по стилю конструкций. Сами принципы их построения в разговорном стиле специфичны.

Описание тенденций в развитии современного разговорного синтаксиса, анализ синтаксических моделей в разговорном стиле — одна из наиболее трудных, но и наиболее важных задач нашей русистики. Разговорный стиль находится в пределах литературного языка; он нормирован, его нормы соотнесены с нормами нейтрального стиля. Необходимо точное определение этих норм, описание пределов их варьирования,

---

[6] Сказанное не исключает, конечно, и того, что существует масса всяких индивидуальных типов говорения, находящихся за пределами литературного языка.

[7] При помощи знаков препинания здесь делается попытка передать хотя бы некоторые особенности интонационного членения речи.

выяснение тех границ, нарушив которые литературный разговорный стиль переходит в нелитературное просторечие[8].

Есть основания все описанные превращения в стилевых соотношениях так или иначе связывать с функционированием языка в новых социальных условиях. Но стили имеют и такие внутренние тенденции развития, которые проявляются независимо от социальных условий существования языка. «...все большее расширение области применения литературного языка вызывает рост дифференциации стилей, все большее их дробление, с одной стороны, а с другой — использование их противопоставлений на коротких отрезках, их композиционное сочетание»[9]. Эти стилистические устремления, ясно проявлявшиеся в русском языке XIX в., продолжали действовать и в языке советской эпохи. Очень большую расчлененность, четкую темперированность приобрела шкала «высоких» (книжных, ораторских, поэтических) стилей. Соотношения в стилистических парадигмах оказались очень тонко нюансированными. Вместе с тем явно обострилась тенденция к композиционным сочетаниям разных стилистических планов в одном тексте; стилистическая расчлененность текста в синтагматическом отношении также усилилась.

Стилистика языка, как видно из сказанного выше, выражена в различных системно закрепленных соотносительных рядах (лексических, или словообразовательных, или синтаксических и т. д.). Стилевые градации в языке можно представить в виде парадигм. Стилистическая парадигматика и есть, собственно говоря, то, что называют стилями языка. Стилистическая синтагматика подводит нас к иной проблеме: к изучению стилей речи. Нет текстов, в которых использовались бы только слова высокого стиля; они неизбежно будут сочетаться с большим количеством слов нейтрального стиля. Нейтральный стиль создает фон, который окрашивается вкраплениями иного стиля.

В каждую эпоху существуют относительно устойчивые типы сочетания слов разных стилистических групп в пределах одного текста; эти типы можно назвать речевыми жанрами. Выступление на собрании, передовая в газете, приятельская беседа, стихотворная басня, приказ по военному подразделению, шуточная песенка, дипломатическая нота, речь защитника на суде, научно-популярная статья, справка из учреждения, историческая драма — в каждом из этих речевых жанров сочетаются по своим законам единицы неокрашенного (нейтрального) и окрашенных стилей. Исторически очень изменчивы приемы сочетания стилистически контрастных единиц и конструкций в пределах целостного сообщения, принципы отбора лексического и грамматического материала для речевых жанров, способы сочетания нейтрального фона со стилистическими наслоениями, количественные соотношения единиц разной стилистической окрашенности в типичных для данного речевого жанра текстах.

В нашу эпоху «изменения в самой структуре русского языка менее глубоки и разнообразны, чем изменения в жанрах и типах общественно-речевой практики, в характере и организационных формах социально-речевого общения»[10]. Поэтому изучение стилистических речевых жанров (разумеется, с применением статистического метода) необходимо для того, чтобы определить различные изменения и переинтеграции в современном русском литературном языке, возникшие в качестве ответа на известные социальные сдвиги.

[8] Особенности русского разговорного стиля в некоторых отношениях подобны особенностям чешского разговорного языка (четко обособившегося от «книжной» литературной речи); в других же отношениях это подобие отсутствует. Сопоставительное изучение разговорного стиля в русском и чешском языках (особенно в области лексики, синтаксиса, словообразования, фонетики), несомненно, поможет прояснить многие закономерности в развитии русской стилистической системы.

[9] А. [М.] С [у х о т и н], Стилистика лингвистическая, «Лит. энциклопедия», 11, М., 1939, стб. 39—40.

[10] В. В. В и н о г р а д о в, Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры, ВЯ, 1961, 4, стр. 4.

3

Считают, что влияниям новой социальной действительности подверглись в языке лишь отдельные частности, целостная же языковая система осталась неизменной. Это мнение не так неоспоримо, как может показаться. Действительно, социальные воздействия часто преобразуют отдельные языковые (или речевые) явления; но далее следует цепная реакция: одно изменение влечет за собой ряд других, иногда совсем в иных ярусах языка. Эти изменения могут быть микроскопичны и мало заметны, но все же они образуют определенное «поле» взаимосвязанных фактов, а не изолированную точку. Вот один пример, подтверждающий это.

В литературном языке начала XX в. было три спряжения. Каждое из них можно характеризовать формой 3-го лица мн. числа: 1) тип *сидят*, *твердят* (с ударной флексией *-ат*); 2) тип *берут*, *встают* (с ударной флексией *-ут*); 3) тип *знают*, *седеют*, *видют*, *просют*, *ловют*, *любют*, *терпют* (с безударной флексией *-ут*). Норма была прочной и стойкой: без ударения использовалась только флексия *-ут*; на письме же она в ряде случаев (у глаголов так называемого «второго спряжения») передавалась буквенными сочетаниями *-ат*, *-ят*. Все многочисленные описания русского языка начала XX в. подтверждают полное господство этой нормы. Но все же «буквенное произношение» *видят*, *просят*, *ловят* и т. д. просачивалось в литературный язык[11], хотя крайне медленно и скупо. Оно проникало в разные социальные ответвления литературной речи и оценивалось как «семинаристская привычка», как манерная речь петербургского чиновничества и т. д. Проникновение его в строго нормированную речь встречало сильнейшее сопротивление. После революции, когда основным наставником в усвоении литературного языка на первых порах оказалась книга с удивительной быстротой распространилось и упрочилось «буквенное произношение» глагольных флексий 3-го лица (*видят*, *просят* и т. д.)

Это не было безразлично для морфологической системы русского языка. Если взаимно-однозначное соответствие между значением (или комплексом значений) и его выражением называть агглютинативностью, то следует признать, что в безударных глагольных флексиях русского языка форм *видют*, *просют*, *знают*... была достигнута предельно высокая степень агглютинативности. Напротив, в ударных флексиях один и тот же комплекс значений передавался двумя различными выражениями: звуковыми комплексами *-ут* и *-ат*. Распространение ударной схемы отношений на безударные флексии означало уменьшение агглютинативности в послекорневой части глагола.

Это морфологическое явление имело неожиданные и значительные фонетические последствия. Среди согласных русского языка, противопоставленных по твердости — мягкости, самое слабое звено — губные согласные. У них твердость и мягкость во многих позициях нейтрализована: перед всеми согласными, даже перед задненёбными (возможны только твердые губные); перед /э/ (только мягкие губные). Лишь на конце слова[12] и перед /а, о, у, и/ губные оказываются противопоставленными по твердости — мягкости. Но и здесь в ряде позиций противопоставленность резко ослаблена. Перед ударным [о] часто встречаются в словоформах твердые губные, но весьма редки мягкие (ср. *вёл*, *мёл*, *ревёт*, *ревёшь*, *рвёт*, *гребёт*, *ошибётся*, *червём* и некоторые другие словоформы). Перед [у] тоже обычны твердые губные, а мягкие встречаются только в следующих случаях: а) в словоформах *червю*, *голубю*[13], б) в формах *любют*, *терпют*, *ловют*,

[11] Слова «буквенное произношение», конечно, не могут никого ввести в заблуждение: здесь речь идет не о фонетических, а о морфологических фактах.

[12] Точнее: перед диэремой (фонетическим сигналом границы слов или морфем); ср. *рассыпься*, *рассыпьте* и пр., с сочетаниями [п'с], [п'т'], которые невозможны внутри единицы, не расчлененной диэремой.

[13] Не следует принимать в расчет заимствования типа *дебют*, *куафюра* и под., входящие в группу слов с особой фонетикой.

потрафют, *кормют* и т. д. (около 710 случаев)[14]. Вытеснение этих форм другими, «буквенными» (*любят*, *терпят* и т. д.) сильно ослабило противопоставленность твердых и мягких губных перед [у]. Мягкий губной теперь представлен в этой позиции только в словоформах *червю*, *голубю*.

Представим такую фонетическую систему, где перед губными гласными [о, у] возможны только твердые губные согласные. Тогда в сочетаниях «губной согласный + губной гласный» обе звуковые единицы обладают единым для всего отрезка низким собственным тоном (так же, как в сочетаниях «согласный + [э]» налицо единый для всего звукового отрезка высокий собственный тон). С падением словоформ *любют*, *терпют* и заменой их формами *любят*, *терпят* сделан весьма решительный шаг в сторону именно такой системы распределения губных согласных перед губными гласными[15].

«Исчезновение» мягких губных перед [у] вообще значительно уменьшило весомость признаков мягкости — твердости у этих фонем. По данным обратного словаря Бильфельдта, мягкие губные согласные встречаются: перед диэремой (положение в конце слов, а также у повелительных форм глаголов перед частицами *-ся* и *-те*) — у 720 словоформ; перед [а] — у 360 словоформ[16]; перед [у] — у 710 словоформ, почти исключительно у глаголов типа *любют*, *терпют* и т. д. (кроме них, как указывалось, всегда два других случая). Вытеснение этой массы форм, мощно представлявших сильную позицию для губных перед [у], было значительным шагом к полному вытеснению у губных противопоставленности по твердости — мягкости.

С другой стороны, появилось множество форм с сочетанием «мягкий губной + гласный [ъ]». После мягких этот гласный возможен в одном лишь случае: если он начинает собой флексию. Поэтому было бы правильно считать, что мягкие губные в словоформах *любят*, *терпят*, *кормят* и т. д. находятся в позиции перед диэремой (сочетание «мягкий губной + + [ъ]» сигнализирует о наличии границы между двумя сегментными языковыми единицами, т. е. о наличии диэремы)[17]. Вывод таков: противопостав-

[14] Подсчеты здесь и дальше произведены по обратному словарю Г. Г. Бильфельдта; при этом учитывались, конечно, не только приведенные там начальные формы слов, но все парадигматически возможные от приведенных форм.

[15] Пока существуют (или возможны) такие формы, как *червю*, *голубю*, разумеется, сохраняется противопоставленность мягких — твердых согласных в этой позиции. Но было бы неверно не учитывать количество единиц, в которых налицо исследуемые сочетания (в данном случае «мягкий губной + [у]» и «твердый губной + [у]»). Предположим, в каком-то языке существуют фонемы с такими частотностями:

$g = 0{,}018$; $k = 0{,}096$; $k' = 0{,}039$; $x = 0{,}047$;
$g^{\circ} = 0{,}000$; $k^{\circ} = 0{,}236$; $k'^{\circ} = 0{,}002$; $x^{\circ} = 0{,}043$.

Ч. Хоккет, анализируя эту схему заднеязычных взрывных (таосского языка), справедливо отмечает, что без указания частотностей пришлось бы констатировать, что фонема g° отсутствует в этом языке, а фонема k'° существует. Но на самом деле, как показывает подсчет частотностей фонем, они предельно близки друг другу, и «существование» в языке одной фонемы почти не отличается от «несуществования» другой (см. Ch. F. Hockett, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 143). Если бы мы подсчитали частотность сочетания «мягкий губной + [у]», то она неизбежно оказалась бы исключительно малой (так как это сочетание налицо лишь в словах *червю*, *голубю* и в нескольких заимствованиях). Наличие этого сочетания предельно близко к его отсутствию в языке и речи. А следовательно, и противопоставленность мягких и твердых губных перед [у] предельно близка к их непротивопоставленности (в этой статье всюду берется только синтагматический план фонологии).

[16] Мягкие губные перед [о], как говорилось, достаточно редки. Число мягких губных перед [и] огромно; зато ограничены случаи твердых губных перед [ы]. Это понятно: [ы] — зависимый позиционный вариант фонемы /и/. Общее правило можно сформулировать так: перед каждым гласным сравнительно реже представлены в словоформах или мягкие, или твердые, но всегда — те согласные, которые сочетаются с позиционно-зависимой вариацией гласного. Иначе: сравнительно ограничено число случаев, когда с гласным сочетается губной, изменяющий качество гласного.

[17] Очевидно, позиция, описанная таким образом, охватывает и случаи *червю*, *голубю*. При использовании форм *любют*, *терпют* не вставал вопрос о наличии диэремы после корня, так как сочетание «мягкий согласный + [у]» возможно не только на стыке морфем.

ленность твердых и мягких губных внутри морфемных единств резко упала, но она укрепила свое значение в качестве сигнала синтагматических границ.

Как видно, изменение в морфологическом составе ряда слов, вызванное новыми условиями существования русского языка, отозвалось и на некоторых фонетических соотношениях, немаловажных для языка. Влияние буквенного воспроизведения глагольных форм неожиданно оказало поддержку двум тенденциям в русском языке: 1) постепенной утрате различительной силы по твердости — мягкости у губных согласных, 2) усилению фузионности в послекорневой части глагольного слова.

Характер предкорневых и послекорневых аффиксов у русского глагола контрастен. Предкорневые морфемы стремятся к агглютинации, послекорневые — высоко фузионны[18]. Фузионность их двустороннего типа: фонемный состав аффиксов (при тождественном грамматическом значении) очень вариативен; значение аффиксов (даже при тождественном фонемном составе слова) крайне текуче, зыбко, распадается на ряд неопределенных оттенков. Только два факта противоречат этому: а) четкая агглютинация аффикса *-те* после повелительной формы; б) безударные флексии *-ут*, взаимооднозначно связанные с определенным комплексом значений[19]. Эта вторая черта была «затерта» в ходе языковой эволюции. Контраст предкорневой агглютинации и послекорневой фузии выступил после этого ярче, последовательнее. Таким образом, облегчено было дальнейшее действие эволюции в том же направлении. Именно: все шире распространяется сейчас (в речи людей, говорящих литературно) такая реализация повелительных форм: *пригото*[ф]*те*, *оста*[ф]*те*, *познако*[м]*тесь*, *рассы*[п]*те* и т. д. [20]. У дикторов московского радио и телевидения это произношение встречается достаточно часто.

Причины этого процесса ясны. Здесь повелительное наклонение выражено и меной конечных согласных основы (парные твердые заменяются мягкими перед всеми флексиями этого наклонения, в том числе и перед нулевой), и аффиксом *-те*. Дублирование показателей устраняется без ущерба для грамматической выразительности этих форм (ср. отсутствие такого процесса в формах *подготовься*, *познакомься*, где нет подчеркивающего дублирующего повелительного аффикса, подобного *-те*).

Итак, действуют две тенденции: усиление фузии в глагольных постфиксах; ослабление противопоставленности губных по твердости и мягкости внутри диэремно не разграниченных, фузионно-сплавленных единиц. Обе эти тенденции и приводят к появлению таких языковых фактов, как *пригото*[ф]*те*, *познако*[м]*тесь* и т. д.[21] Исходное явление было точечным, касалось ограниченного числа языковых фактов, но отзвуки этого явления были значительными, потому что оно вошло в сеть многих фонетических и морфологических отношений, было сцеплено со многими другими фактами; оно поддерживало определенные тенденции в языке и было поддержано ими.

---

[18] Русский глагол характеризуют «с одной стороны, спаянность всех морфологических элементов, примыкающих к глагольной основе „сзади“, а с другой стороны, неразрывная слитность с ними самой основы» (В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 441). Послекорневую часть глагола характеризует «спаянность всех морфологических элементов, „фузионность“ морфем в структуре глагольного слова» (там же). Напротив, «господство префиксов придает системе русского глагола отпечаток агглютинативного строя» (там же, стр. 55).

[19] Может показаться, что флексия первого лица *-у* также высоко агглютинативна (в том смысле, как указано выше). Но это не так: перед флексией *-у* обычны чередования в корне глагола; следовательно, эта флексия вызывает морфонемную вариативность корня и тем нарушает принцип взаимооднозначного соответствия между значением и выражением.

[20] Здесь идет речь не о признании форм типа *пригото*[ф]*те*, *познако*[м]*тесь* и пр. литературными, а лишь о тенденциях, пробивающих себе путь в литературный язык.

[21] Напомним, что сочетания [ф'т'], [м'т'] невозможны внутри современного русского слова, если отсутствуют диэремные разграничения.

Можно привести еще немало примеров такой «цепной реакции» в языке, возникшей под воздействием новой социальной действительности. Еще А. М. Пешковский отметил распространение синтаксических конструкций типа *врач пришла* (когда имеется в виду женщина). Сейчас не только в бытовой речи, но и в газетах, журналах постоянно встречаются сочетания *кондуктор объявила*, *инспектор сказала нам*, *прораб разъяснила* и т. д. Этот тип синтаксических конструкций широко распространился после Октябрьской революции. Такие конструкции возможны не со всеми существительными мужского рода. Не встречаются сочетания *ткач сказала*, *поэт написала*, *учитель спросила* и т. д., потому что у этих существительных есть соотносительные слова женского рода: *ткачиха*, *поэтесса*, *учительница*. Распространение сочетаний *председатель*, *директор*, *кондуктор спросила* привело к тому, что соотносительные существительные *председательница*, *директриса*, *кондукторша* и др. ушли в пассивный словарь говорящих, и сейчас вряд ли было бы возможно встретить эти слова в стилистически нейтральной речи. Синтаксическое явление в данном случае оказалось связанным с падением морфологических противопоставлений у словесных пар определенного типа.

В народных говорах, в профессиональных арго особенно многочисленны отглагольные существительные с суффиксом *-к(а)*. В 20—30-е годы, когда диалектная речь оказывала особенно сильное давление на литературный язык, многие из этих слов стали обычными и в литературной речи; большое число таких лексем было заимствовано из диалектов. Этот лексический факт был существен и для морфологии. Под влиянием большого наплыва таких существительных модель «основа префиксального переходного глагола + *к(а)*» стала регулярной. Иначе говоря, теперь такие образования возможны от любого глагола указанного типа; существительное с суффиксом *-к(а)* уже потенциально существует, если есть соответствующий глагол. Образование форм *прокрутка*, *отмерка*, *подсыпка*, *разливка* и т. д. принципиально ничем не отличается от образования какой-нибудь парадигматической формы глагола, например 1-го лица, если известны формы инфинитива или 3-го лица мн. числа. Различие же между регулярными и нерегулярными формами для морфологии исключительно важно[22].

Итак, изучение развития русского языка в советском обществе требует, чтобы различные ярусы языка изучались в их диалектическом единстве. Необходимо, изучая морфологические явления, выйти за рамки морфологии; и так во всех других ярусах. Это нередко противоречит нашим исследовательским привычкам. Нужно преодолеть барьеры узкой специализации и идти по пути комплексных поисков и решений.

4

Один из центральных вопросов современного языкознания — соотношение внутренних и внешних факторов развития языка. Русский язык советской эпохи дает особенно яркий и богатый материал для изучения взаимодействия этих двух типов закономерностей.

Нельзя всякое новшество в языке, появившееся или распространившееся после 1917 г., приписывать воздействию новой социальной действительности. Есть общие тенденции в развитии языка, проявляющиеся на протяжении длительного времени, которые обусловлены внутренни-

[22] А. И. Смирницкий выделял в языке, с одной стороны, слова, фразеологические комплексы и т. д., с другой — формулы предложений (см. А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 37). Регулярная словообразовательная модель подобна формуле предложения: она существует как абстрактный закон образования массы речевых конкретных единиц. Превращение нерегулярной модели в регулярную — это, строго говоря, введение в язык новой абстрактной словообразовательной единицы и превращение массы конкретных словесных образований, соответствующих этой модели, в единицы чисто речевые.

ми соотношениями в системе. Только изучив и выделив эти внутренне обусловленные тенденции, мы сможем найти и такие черты в эволюции языка, которые нельзя объяснить изнутри системы; ясно, что необходимо их истолковать как результаты влияния на язык новых социальных условий его существования. Воздействие социальной действительности на язык не может быть деструктивным, не может разрушать языковую систему. Внешние факторы никогда не отменяют действия внутренних законов языка, они способны только ускорить или замедлить действие отдельных тенденций развития языковой системы или же предоставить новый материал, подлежащий воздействию этих законов. Если остановиться на этой точке зрения, то можно предположить, что социальные воздействия вносят только внешне-количественные изменения в языковую систему, а не порождают новые внутренние тенденции ее развития. На самом деле это не так: взаимодействие внутренних и внешних факторов сложнее.

Изучение русского языка советской эпохи помогает яснее определить самую «технику» взаимодействия внутренних и внешних языковых изменений, принципы сотрудничества и взаимозависимости социально стимулированного и системно обусловленного в языке. Для изучения этих взаимодействий необходимо обратиться к опыту историков языка. Им приходится давать толкование такой, например, исторической ситуации: единый язык распадается на несколько самостоятельных языков; исходная система одна и та же, но развитие обособившихся языков пошло по разным путям. Появились, следовательно, совершенно новые тенденции в их развитии; но они возникли из естественного развертывания одной и той же системы и не были ей искусственно навязаны. Такое изменение пережил, например, восточнославянский праязык, распадаясь на три отдельных языка.

Н. С. Трубецкой так объясняет появление новых тенденций развития в подобных случаях[23]. Предположим, существуют на одном направлении («на одной прямой») 4 географические точки: *A*, *B*, *C*, *D*. Из точки *A* идет волна какого-то языкового новшества (волна *a*). Распространяясь, она достигает сначала *B*, потом *C*. Из *D* идет навстречу другая волна, т. е. какое-то другое языковое новшество (волна *d*). Она сначала достигает *C*, потом *B*. Если обе волны начали распространяться более или менее одновременно, то языковой материал в точке *B* сначала будет преобразован волной *a*, а потом на него будет наложено влияние другого языкового новшества, волны *d*. Напротив, в точке *C* сначала языковой материал преобразует новшество *d* и уже на этот преобразованный материал воздействует *a*. Н. С. Трубецкой показал, что подобная интерпретация фактов способна объяснить возникновение новых исторических тенденций в развитии языков[24].

Схема Н. С. Трубецкого предполагает, что обе волны, *a* и *d*, распространяются примерно с одинаковой скоростью. Предположим, однако, что скорость волны *a* значительно меньше, чем скорость *d*. Тогда возможно, что волна *d* все же первой затронет *B*, и только потом докатится до той же точки волна *a*. Иными словами, введя понятие быстроты распространения языковых новшеств, можно так упростить схему: есть точки *A*, *B*, *C*; из точки *A* идет волна *a*, из точки *C* — волна *c*. В зависи-

[23] Взгляды Н. С. Трубецкого по данному вопросу наиболее полно изложены им в статье «Einiges über die russische Lautgeschichte und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit» (ZfslPh, I, 1925).

[24] Вот пример такой интерпретации. Общеслав. **sebdmъ* испытало действие таких процессов: *a* — ассимиляция первого взрывного вторым взрывным; *b* — сокращение долгих взрывных; *c* — утрата краткого *d* перед *m*. Языковой материал в восточнославянской области испытал наплывы этих волн в таком порядке: *a* — *b* — *c*, т. е. **sebdmъ* > *a* — **seddmъ* > *b* — **sedmъ* > *c* — **semъ*. В западных и южных славянских областях порядок воздействия этих волн был иной: *a*—*c*—*b*, т. е. **sebdmъ* > *a* — **seddmъ* > *c* — **seddmъ* > *b* — **sedmъ*. Здесь процесс *c* не воздействовал на сочетание *-ddm-* с долгим *dd* (см. N. Trubetzkoy, Russ. *семь* «sieben» als gemeinostslavisches Merkmal, ZfslPh, IV, 3/4, 1927, стр. 376).

мости от скорости распространения волн возможны два случая: или языковой материал в точке *B* окажется сначала преобразованным более быстрой волной *a* и лишь потом волной *c*; или же, напротив: сначала более быстрой волной *c*, а потом волной *a*. Таким образом, из схемы может быть полностью исключен пространственный момент: точка *B* может пониматься не географически, а лишь как определенное состояние языкового материала до его преобразования; волны же *a* и *c* — не пространственные, а временные: быстро развивающаяся тенденция *a* преобразует материал *B*, и лишь потом он подвергается воздействию медленно развивающейся тенденции *c* или же, наоборот, воздействует на материал *B* после *c*.

Эта схема принципиально важна для объяснения того, как убыстрение или замедление в развитии языка определенных тенденций, вызванное социальным воздействием, может порождать новые языковые тенденции. Пример пояснит это. В русском языке начала XX в. действовали две очень разные тенденции; обозначим их, в соответствии с ранее приведенной схемой, буквами *a* и *c*. Тенденция *a* — усиление редукции заударных гласных — выражалась в первую очередь в двух фонетических изменениях: α) заударный гласный [ъ] после мягких согласных (*вишня*, *о вишнях*, *вишням*, *время*, *принят*, *занят*, *видя* и т. д.) стал редуцироваться до степени [ь][25]; β) заударный гласный [у] между мягкими согласными редуцировался до [ь] (в аллегровой речи: *зреющий*, *челюсть* и т. д. могут произноситься с [ь] на месте [у]; особенно характерно для разговорного стиля). Тенденция *c* — сближение устной и книжной речи, в частности «буквенное» произношение ряда грамматических форм. Дан определенный языковой материал (*B* в нашей схеме; это точка приложения разных временных волн, накладывающихся друг на друга): грамматические формы с гласным [ъ] после мягких согласных во флексии. Возможны два случая: 1) языковой материал подвергнется сначала воздействию тенденции *a*, стремительно развивающейся в языке, и уже потом — тенденции *c*; 2) напротив, он сначала попадет под влияние *c* и лишь потом будет изменен тенденцией *a*[26].

Разберем первый случай. Многочисленные глагольные формы типа *любют*, *терпют*, *видют* и т. д. подвергаются все усиливающейся редукции заударных гласных; в безударных флексиях глаголов 3-го лица мн. числа произносится [ь]. Это обусловит омоморфность образований *любит — любят*, *терпит — терпят*, *ходит — ходят* и т. д. (что, в свою очередь, изменит законы употребления местоимений при этих формах). Вследствие усилившейся редукции звук [ъ] в формах *вишням*, *вишнях*, *принят*, *занят* и т. д. также будет превращен в [ь]. Более медленно действующая тенденция к сближению письменной и произносительной реализации языка в таком случае не найдет для себя в глаголах никакого приложения.

Разберем второй случай. Стремительно распространяется буквенное воспроизведение грамматических форм, в том числе глагольных. Формы *любят*, *ходят* теперь произносятся с [ъ] в заударной части (образец: *вишням*, *принят* и т. д.). Более медленно и вяло действующая тенденция нивелировать все заударные гласные, превратив их в [ь], встречается

---

[25] По словам Р. Кошутича, младшее поколение москвичей в значительной своей части произносило эти формы с гласным [ь] во флексиях (см. Р. Кошутиħ, Граматика руског језика. Гласови, Пг., 1919, стр. 167—168).

[26] Эти тенденции могут быть двух типов: 1) глаголы непродуктивного класса *мижет*, *лачет*, *тычет* заменяются формами первого продуктивного класса: *мигает*, *лакает*, *тыкает*; процесс не захватил глаголы *машет*, *скачет*, но, возможно, со временем очередь дойдет и до них. Здесь тенденция вовлекать все новые и новые единицы, двигаясь «вдоль» материала; 2) усиливается фузионность какой-то грамматической единицы или редуцированность фонетической. Здесь тенденция движется «поперек» материала, все глубже преобразуя каждую единицу данного типа. Следовательно, эти языковые волны, подобно физическим, могут быть продольными и поперечными.

в этом случае с серьезным препятствием: число противостоящих ей форм сильно пополнилось; притом это особенно устойчивые формы, так как действует фонематическое отталкивание между *любят* и *любит*, *ходят* и *ходит* и т. д. Все это изменит движение в языке.

Именно этот второй случай и произошел в русском послереволюционном языке. Ранее была несомненна тенденция во многих формах типа *вишня*, *вишням*, *принят* и т. д. [ъ] редуцировать до [ь]; теперь, как показывают массовые наблюдения, напротив, произношение этих форм с гласным [ъ] — упрочившаяся традиция. Редукция, по-прежнему усиливаясь в заударной части слова, обходит гласные во флексии, стоящие после диэремы. Таким образом, развитие тенденции изменилось, пошло по иному, чем раньше, пути.

Итак, последовательность воздействия на языковой материал двух волн в значительной степени определяется социальными факторами, замедляющими и убыстряющими действие отдельных языковых процессов. Соотношения между этими процессами (их силой, их всеобщностью) могут быть различны в разных социальных условиях; будут качественно различны и результаты их взаимодействия.

*

Новая эпоха в развитии русского языка создала условия для появления новых тенденций развития в лексике, грамматике, фонетике; изучение этих тенденций совершенно необходимо.

Социальные факторы, действовавшие на русский язык нашей эпохи, многообразны. Вот важнейшие из них: расширение социальной базы русского литературного языка; изменение путей передачи и распространения навыков литературной речи; расширение социальных функций литературного языка; убыстрение темпа общественной жизни; преодоление территориальной разрозненности, лоскутности старой России; энергичные перемещения людских масс в эпохи больших исторических переломов (Октябрьская революция и гражданская война, промышленное строительство на востоке страны, Великая Отечественная война); рост общей культуры населения. Эти социальные факторы по-разному влияли на язык, вызывали изменения в разных языковых ярусах, то глубокие, то более внешние. Необходима классификация этих факторов, их лингвистическая оценка. Целостное изучение развития русского литературного языка в советском обществе — важнейшая задача советского языковедения. Это поможет глубже и вернее понять законы развития языков других народов Советского Союза, законы развития языков в социалистическом обществе.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. КРЖИЖКОВА

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1.1. Вся человеческая деятельность и в том числе мышление тесно связана с категориями реального времени. Представления о времени находят отражение в языке. Однако восприятие времени нельзя отождествлять с выражением его языковыми средствами как грамматической категории времени. Грамматическая категория времени позволяет при помощи грамматических средств выражать представления о времени как отражении объективной действительности. Нельзя согласиться с теми лингвистами, которые утверждают, будто грамматическое значение времени глагольного действия определяется непосредственным отражением действительности в языке как общественном явлении.

2.1. Значительный интерес для лингвистики представляет выяснение отношений, существующих между членами грамматических категорий, и значений, на которых данные отношения базируются. В имеющейся литературе проблема отношений между членами категории времени (или формами, выражающими отдельные временные значения) либо совсем не затрагивается и заменяется лишь перечнем формальных средств и их первичных и вторичных функций[1], либо при ее решении все отношения временных форм сводятся к системе бинарных отношений, причем авторы работ приходят к разным результатам, и системные отношения, вскрытые в рамках категории времени, оказываются во многом различными. Достаточно сослаться, например, на схему временных отношений, предложенную А. В. Исаченко[2], по которой все видо-временные формы русского глагола составляют цепь бинарных оппозиций. Основной среди них является оппозиция прошедших и непрошедших времен, которые в свою очередь подразделяются на члены, выражающие или не выражающие разобщенность с моментом речи; в рамках непрошедших времен член, не выражающий разобщенности с моментом речи, распадается на перфективный презенс со значением неактуального действия и имперфективный презенс, не выражающий этой неактуальности. С другой стороны, можно привести схему временных отношений Дж. Феррела или А. Г. Ф. ван Холка[3]. Дж. Феррел исключил из системы видо-временных форм аналитическое будущее типа *Я буду писать*, остальные 4 формы (*решаю*, *решу*, *решал*, *решил*) образуют, по его мнению, два вида оппозиций: время ненастоящее (маркированное) — настоящее (немаркированное) (*решал*, *решил*: *решаю*, *решу*) и вид совершенный — несовершенный (*решу*, *решил*: *решаю*, *решал*).

[1] В качестве примера можно привести академическую «Грамматику русского языка» (I, М., 1952), пособие «Příruční mluvnice ruštiny», I, Praha, 1961 и др.

[2] Ср. А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, 2, Братислава, 1960, стр. 469.

[3] J. Ferrel, On the aspects of *byt'* and on the position of the periphrastic imperfective future in contemporary literary Russian, «Slavic word», 2, 1953, стр. 376; A. G. F. van Holk, On the semantic mechanism of the Russian tenses, 's-Gravenhage, 1958.

Аналогичные попытки свести все личные формы глагола (формы времени и наклонения) к единой системе бинарных оппозиций имеют место и в словацкой лингвистике — ср. схему времен, предложенную Э. Паулини, которая основана на противопоставлении фактического времени нефактическому и реального времени нереальному[4]. Несколько видоизмененную схему предлагает Г. Горак, выделяющий по отношению к моменту речи действия фактические и нефактические, а в рамках фактических — актуальные и неактуальные; по отношению к действительности — действия самопроизвольные и несамопроизвольные, а в рамках самопроизвольных — реальные и потенциальные; в зависимости от реализации действия — зависимые и независимые, а среди зависимых — действия, зависящие или от воли адресата, или от выполнения условия[5]. И. Польдауф приходит к заключению, что в чешском языке категория времени распадается на две категории с противоположными членами: включение момента речи — разобщенность с моментом речи, прошедшее — будущее[6].

Даже этот далеко не полный перечень разных концепций категории времени может послужить ярким доказательством того, что авторы оценивают одно и то же явление с разных сторон; интерпретация одних и тех же фактов обусловлена подходом автора к данному явлению. Вряд ли какая-нибудь другая грамматическая категория (может быть, за исключением категории вида) подвергалась столь внимательному изучению, как категория времени, однако определить суть этой категории и прийти к единому решению основных проблем пока не удалось. В настоящей статье хотелось бы обратить внимание на некоторые наиболее важные, на наш взгляд, теоретические проблемы и наметить возможное их решение.

2.2. В первую очередь представляется необходимым проверить, насколько применим к категории времени один из основных тезисов структурной лингвистики, утверждающий наличие во всем грамматическом ярусе языка бинарных оппозиций и возможность сведения всех членов грамматических категорий к бинарным отношениям, выстроенным в иерархический ряд. Такое понимание грамматических категорий характерно для целого ряда лингвистов и в их числе, например, для А. В. Исаченко и Д. А. Штелинга[7]. Нам кажется вполне правомерной критика абсолютной применимости системы бинарных отношений в том смысле, как она была проведена М. Докулилом на материале чешского языка. Можно в полной мере согласиться с утверждением, что «предположение наличия исключительно бинарных оппозиций не необходимо; хотя многочисленную систему всегда можно в той или иной мере свести к бинарным оппозициям, не всегда... они отражают функционирование этой системы»[8].

2.3. Параллельно с проверкой возможности применения к категории времени теории бинарных оппозиций необходимо определить инвариантные значения всех временных форм, т. е. значения, не обусловленные конкретным контекстом, отграничив их от значений, связанных с контекстом, иными словами — разграничить значения общие и частные, первичные и вторичные.

В лингвистической литературе принято говорить о прямом и относительном употреблении временных форм — о так называемом синтакси-

---

[4] E. Pauliny, Slovesný čas v slovenčine, «Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi», Brno, 1948, стр. 343 и сл.

[5] G. Horák, K využívaniu slovesného času a spôsobu v slovenčine, «Studie ze slovanské jazykovědy», Praha, 1958, стр. 221 и сл.

[6] I. Poldauf, Atemporálnost jako gramatická kategorie českého slovesa?, SaS, XI, 3, 1949, стр. 123.

[7] А. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1, стр. 30; Д. А. Штелинг, О неоднородности грамматических категорий, ВЯ, 1959, 1, стр. 63.

[8] M. Dokulil, K otázce morfologických protikladů, SaS, XIX, 2, 1958, стр. 98.

ческом индикативе и релятиве[9], о первичных функциях или о прямом употреблении временных форм (настоящее, прошедшее, будущее) и о вневременности и вторичных функциях или относительном употреблении временных форм (одновременность, преждевременность, послевременность)[10]. Обычно, с одной стороны, описываются и перечисляются формальные средства, выражающие приведенные выше временные значения, а с другой стороны, устанавливаются разные функции отдельных временных форм, их полисемия.

А. Г. Ф. ван Холк, А. В. Исаченко и другие исходят из инвентаря видо-временных форм русского глагола и стараются на основании употребления их в разных контекстах установить общие значения этих форм в системе бинарных оппозиций. Однако для установления инвариантного значения временной формы необходимо учитывать все ее контекстуальные употребления (все позиции), не ограничиваясь, как правило, одной только областью прямого или индикативного употребления, как это делается, например, в академической «Грамматике русского языка», в «Příruční mluvnice ruštiny» (I), а также Холком и др. Общее, или инвариантное, значение формы претерита, презенса или футурума остается одним и тем же независимо от того, выступает ли данная форма в значении прямом или относительном, в функции первичной или вторичной. Как раз инвариантное значение и позволяет употреблять данные формы в разных контекстах. Формы презенса, претерита или футурума, употребленные в значении как индикативном, так и релятивном, представляют собой лишь позиционные разновидности единого общего значения; инвариантное значение всегда реализуется в виде конкретного позиционного варианта.

3.1. Временные формы образуют систему форм, определенным образом организованную и упорядоченную. Необходимо выяснить, что является в этой системе центральным организующим звеном, подчиняющим себе все остальные звенья, где нужно искать точку отсчета, необходимую для установления временной последовательности.

Центральной точкой отсчета у синтаксического индикатива считается обычно момент речи, у синтаксического релятива, или соотносительно употребляемого времени,— какое-либо из первичных времен (т. е. прошедшее, настоящее и будущее определяются по отношению к моменту речи, временная последовательность — преждевременность, одновременность и послевременность — по отношению к какому-нибудь из основных времен). Однако для установления инвариантных значений временных форм необходимо выяснить, чем создается возможность использовать формы презенса в одном случае в значении действия, соответствующего объективному настоящему, в другом — в значении действия одновременного, но соответствующего объективному прошлому или будущему; почему в некоторых случаях та же одновременность передается, например, формами претерита или футурума. Почему, далее, претерит способен выступать и в значении действия, отнесенного к объективному прошлому, и в значении действия, отнесенного к объективному будущему, и т. д.

3.2. Вполне можно согласиться с теми лингвистами, которые считают основным критерием, основной точкой отсчета для определения времен-

[9] Объем синтаксического индикатива и релятива в понимании отдельных лингвистов не совпадает — ср., например, полемику Н. С. Поспелова с А. Беличем: «Учение акад. А. Белича о синтаксическом индикативе и синтаксическом релятиве», «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», 3, 1947; «О значении форм прошедшего времени на -л в современном русском литературном языке», «Уч. зап. [МГУ]», 128. Труды кафедры русского языка, 1, 1948; «Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке», сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955 и др.

[10] Ср., например: Fr. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny, II, Praha, 1951, стр. 1374 и сл.; Vl. Šmilauer, Novočeská skladba, Praha, 1947, стр. 122 и сл.

ного значения у так называемого синтаксического индикатива или прямого употребления времен момент речи. Момент речи — объективный критерий, общий как для говорящего, так и для адресата высказывания. Вообще говоря, момент речи является не чем иным, как условным термином для обозначения настоящего в собственном смысле слова, по отношению к которому все события определяются как относящиеся к плану настоящего, прошедшего или будущего. План прошедшего и будущего всегда относителен к плану настоящего. Временные формы, употребленные в прямом значении, выражают объективное время в его отношении к моменту речи, с точки зрения главного участника высказывания — говорящего. Такова же, по существу, роль говорящего в категории лица, когда с точки зрения говорящего определяется отношение участников рассказываемого события к участникам высказывания[11].

3.3. Однако в сравнении с категорией лица значение категории времени представляется более сложным. Значение временных форм четко дифференцируется в зависимости от того, идет ли речь об одном рассказываемом событии или внутри сообщения временной план рассказываемого события перекрещивается с временным планом другого события, о котором мы узнаем посредством первого. Это в широком смысле слова случай сообщения о сообщении, органически включенного в основное сообщение[12]. В синтаксисе сообщение о сообщении образует особый тип сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, причем придаточное изъяснительное по отношению к главному предложению может выполнять функцию придаточного подлежащего, придаточного объектного или придаточного определительного (сравнительно редко). Косвенная и полупрямая речь является частным случаем изъяснительных предложений[13].

3.4. Как известно, предложения типа *Было ясно, что они над нами смеются*; *Я знал, что ты вернешься*; *Он вернулся с ответом что отец согласен*; *Он обещал, что будет помнить о нашей встрече* и т. д. и т. п. представляют собою сложные структуры, возникшие в результате преобразования простых синтаксических структур. Их легко можно разложить, выделяя исходные компоненты: *Было ясно.— Они над нами смеются*; *Я знал.— Ты вернешься*; *Он вернулся с ответом.— Отец согласен*; *Он обещал.— Я буду помнить о нашей встрече.*

Временное значение первой элементарной структуры во всех приведенных примерах определяется с точки зрения говорящего по отношению к моменту речи. Временное значение второй элементарной структуры также определяется с точки зрения говорящего по отношению к моменту речи, только говорящим в данном случае является не говорящий — участник высказывания обо всем событии как целом, а участник первого рассказываемого события. При объединении элементарных структур в структуру сложную происходит, как известно, определенный сдвиг. Если у самостоятельных структур грамматическое лицо определяется в первом случае по отношению к говорящему — участнику всего высказывания, во втором случае по отношению к участнику первого рассказываемого события, то у структуры сложной, в сложном синтаксическом целом, в котором вторая часть становится сообщением о сообщении и приобретает характер придаточного изъяснительного, грамматическое значение лица определяется в обоих случаях отношением к говорящему — участнику высказывания. Ср.: *Он обещал.— Я буду помнить о нашей*

---

[11] Ср. R. Jakobson, Shifters, verbal categories, and the Russian verb, Harvard University, 1957, стр. 4.

[12] Сообщение о сообщении нельзя отождествлять с прямой, полупрямой и косвенной речью, как это, можно предполагать, делает Р. Якобсон (ср. «Shifters», стр. 1).

[13] Известный параллелизм между косвенной речью и изъяснительными предложениями был отмечен А. М. Пешковским (ср. «Русский синтаксис в научном освещении», М., 1956, стр. 485—486 и др.).

встрече → *Он обещал, что будет помнить о нашей встрече*; *Петя спросил.— Кто мне поможет?* → *Петя спросил, кто ему поможет* и т. д. Сдвиг в грамматической категории лица детально изучен — достаточно назвать, например, академическую «Грамматику русского языка» и другие пособия по синтаксису русского и других языков.

В отличие от категории лица, подвергающейся сдвигу, временные отношения отдельных самостоятельных компонентов в сложной структуре сохраняются. Академическая грамматика не уделяет особого внимания временным отношениям в рамках сложного синтаксического целого (за исключением придаточных временных предложений), лишь на стр. 419 (II, ч. 2-я) сказано: «При переводе прямой речи в косвенную в сказуемом сохраняется та же форма времени, которая была в прямой речи, так как форма времени глагола в косвенной речи соотносительна с формой времени глагола в предложении, являющемся вводящими словами автора». Это же самое относится к косвенному вопросу. Временные отношения у придаточных изъяснительных специально не исследуются.

Несомненный интерес представляет тот факт, что изъяснительные предложения (и в том числе косвенная речь) являются единственным случаем так называемого consecutio temporum в русском языке. Правильную, на наш взгляд, интерпретацию соотносительного употребления временных форм дал еще А. Добиаш, который тонко подметил, что «современность, преждевременность и послевременность... представляют собою... времена, измеряемые не говорящим, а тем, от имени кого говорящий передает мысль»[14]. Такие временные отношения и характерны для придаточных изъяснительных (дополнительных), поясняющих главное предложение, обозначающее, по АГ: 1) сообщение, высказывание, взаимообщение, 2) восприятие, 3) мыслительную деятельность, чувство, внутреннее состояние. Время главного предложения определяется отношением к моменту речи с точки зрения говорящего — участника высказывания, время второй части — придаточного изъяснительного — отношением к моменту речи с точки зрения участника первого рассказываемого события. Ср. возможные вариации первой части с точки зрения участника высказывания: *Я знал, что ты вернешься*; *Я знаю, что ты вернешься*; *Я буду знать, что ты вернешься*. Вторая часть также может заменяться вариантами другого временного плана, но определяющим является участник первого события. Ср.: *Я знал, что ты вернешься*; *Я знал, что ты возвращаешься*; *Я знал, что ты вернулся*.

3.5. Остальные типы сложных структур, предложения сложносочиненные и сложноподчиненные, в отличие от сложных предложений с придаточными изъяснительными, характеризуются тем, что временные значения их компонентов определяются по отношению к моменту речи всегда с точки зрения говорящего — участника высказывания. Ср., например: *Он получил книгу, которая ему нравилась* = *Ему нравилась книга. Он получил книгу*; *Он получит книгу, которая ему нравилась* = *Ему нравилась книга. Он получит книгу*; *Он получит книгу, которая ему нравится* = *Ему нравится книга. Он получит книгу*; *Он получил книгу, которая ему понравилась* = *Он получил книгу. Книга ему понравилась*; *Он получил книгу, которая ему нравится* = *Он получил книгу. Книга ему нравится* и т. д.

И в таких структурах отдельные действия могут быть друг по отношению к другу одновременными, преждевременными или послевременными; эти отношения, однако, не играют решающей роли при употреблении данной временной формы — решающим является момент речи с точки зрения говорящего. Им они одинаково определены, ему одинаково подчиняются. Рассказываемое событие представляется говорящим как однородное, в то время как в случае сложного целого с придаточным изъяс-

[14] А. Добиаш, Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка, Прага, 1897, стр. 152.

нительным временные формы сигнализируют о двух перекрещивающихся плоскостях. Известную роль при выражении временной соотносительности глагольных действий играют причастия и деепричастия, которые можно считать формами, специально предназначенными для выражения временной соотносительности; однако вследствие свойственной им полупредикативной функции обозначаемые ими действия отодвигаются на второй план.

3.6. Как было уже отмечено в литературе[15], иногда в русском языке вместо ожидаемой формы настоящего времени в изъяснительных предложениях встречаются формы прошедшего. Ср.: «Минуту-другую они наблюдали, как посетитель... поворачивал рукоятки установки» (Гранин, Искатели); *Слышно было, как ветер трепал кусты.* В русском языке такой тип выражения временной соотносительности встречается чаще, чем, например, в чешском, как было отмечено Б. Илеком. Он, как и В. Бек, склонен объяснять проникновение прошедшего на место настоящего влиянием западноевропейских языков, в частности французского и английского (прошедшее вместо ожидаемого настоящего чаще всего встречается у писателей XVIII и XIX вв.). Эти языки, по мнению Бека, по крайней мере послужили импульсом для распространения явления, предпосылки для зарождения которого имелись в самой структуре русского языка.

В принципе, конечно, отвергать возможность влияния со стороны других языков на русский литературный язык не приходится. Однако, видимо, в данном случае мы имеем дело с явлением, вызванным прежде всего структурными свойствами и отношениями самого русского языка и возникшим в результате выравнивания временных отношений в рамках сложной структуры, определяемых с точки зрения говорящего, и временных отношений сложной структуры с придаточным изъяснительным, сохраняющей внутреннюю членимость во временном плане. В современном чешском языке оба эти типа сложных структур сохраняют большую самостоятельность и выравнивание встречается по сравнению с русским реже, однако оно не является исключением.

Следовало бы, конечно, подробно остановиться на всех случаях, где встречается конкурирование настоящего и прошедшего, и охарактеризовать синтаксические условия его появления, как это сделал в своих статьях В. Бек, не со всеми выводами которого можно согласиться; однако исследование этих проблем и их детальное изучение не входит в задачу нашей статьи.

3.7. Итак, позволительно сделать пока следующее заключение. Для выявления инвариантных значений отдельных временных форм нужен объективный критерий, каким всегда является момент речи. Момент речи определяется говорящим — участником высказывания или участником рассказываемого события. В обоих случаях отношение к моменту речи выражается одними и теми же временными формами. Это дает возможность говорить для обоих случаев о прямом употреблении временных форм, отграничивая его от переносного употребления или от так называемой замены времен, и позволяет попытаться установить инвариантные значения временных форм.

4.1. К проблемам, решение которых назрело, относится отношение категорий времени и вида и число временных форм. В первую очередь необходимо определить место в системе видо-временных форм презенса совершенного вида и аналитического будущего несовершенного вида (дальше сокращенно СВ и НСВ) типа *буду писать*, которое некоторыми

[15] См.: W. Boeck, Zum Tempusgebrauch des Russischen in Objekt- und Subjektsätzen, ZfS, II, 2, 1957, стр. 206 и сл.; его же, Der Tempusgebrauch in den russischen Objekt- und Subjektsätzen, seine historische Entwicklung und sein stilistischer Wert, ZfS, III, 2—4, 1958, стр. 209 и сл.; B. Ilek, Vyjadřování současných dějů v ruštině a češtině, «Časopis pro moderní filologii», XXXIV, 1951, стр. 102 и сл.

лингвистами выводится за пределы системы времен русского языка. Обратимся здесь к предложенным в последнее время схемам временных отношений в русском языке.

4.2. В русской лингвистике еще с первой половины XIX в. закрепилось мнение, согласно которому в рамках системы времен наиболее отчетливо противопоставляются прошедшие и непрошедшие времена, причем прошедшие времена представляют собой временные формы, наиболее ярко очерченные семантически. Эту точку зрения поддержал В. В. Виноградов[16], она же проводится в вузовском учебнике современного русского языка[17], на нее же опирается и А. В. Исаченко, который считает противопоставление прошедших и непрошедших времен основной бинарной оппозицией системы времен русского языка, маркированным членом которой выступают прошедшие времена. В рамках прошедших времен обычно выделяются прошедшие СВ и НСВ (*Он бросил — Он бросал*), представляющие, по Исаченко, бинарную оппозицию в рамках прошедшего. Маркированным членом является форма НСВ, выражающая разобщенность с моментом речи, в то время как форма СВ разобщенности с моментом речи не выражает.

В рамках непрошедших времен выделяется форма аналитического будущего (некоторые лингвисты не признают аналитическое будущее особой временной формой русского глагола), форма презенса СВ и презенса НСВ. Таким образом, считается, что видовая пара образует формы одного слова; тем самым глагол в современном русском языке имеет в своем распоряжении 5 (или 4 в случае выведения аналитического будущего из состава временных форм) временных форм, причем каждая из них наделена особым значением и занимает особое место в системе форм времени.

4.3. Можно согласиться с тем, что формы прошедшего времени являются маркированными; за ними закрепилось общее значение предшествования моменту речи. Не так ясен вопрос, насколько четко в рамках прошедшего выделяется оппозиция: НСВ = разобщенность с моментом речи, СВ = член немаркированный. Если стать на эту точку зрения, то следует принять, что прошедшее НСВ (*Он бросал*) представляет собой член с двойной маркированностью по отношению к значениям временным и немаркированный в отношении категории вида, а прошедшее СВ (*Он бросил*) — член, маркированный однажды в отношении категории времени и однажды в отношении категории вида. Нам кажется, что по отношению к категории времени уместно говорить лишь об общем значении прошедшего времени (действие предшествует моменту речи); значение прошедшего является основным, инвариантным значением форм *Я бросал*, *Я бросил*. Остальные значения представляют собой лишь позиционные варианты. Нетрудно показать, что форма прошедшего НСВ не всегда выражает действие в прошлом, полностью разобщенное с моментом речи, хотя такая трактовка принимается уже несколько десятилетий подряд. Это связано с немаркированным употреблением формы НСВ вместо СВ при так называемой конкуренции видов. Пример *Кто строил этот дом?/Кто построил этот дом?* можно интерпретировать, согласно А. Исаченко, так, что «форма нс/в *строил* создает общую временную перспективу разобщенности действия с моментом речи, в то время как у формы с/в *построил* признак „разобщенности" остается невыраженным», поэтому форму *построил* можно интерпретировать как перфект[18]. Однако в таких случаях, как, например, *Ты уже обедал? Вы уже пили чай?* и т. п., где *обедал*, *пили* и т. д. находятся в такой же позиции, как глагол СВ, не исключено перфектное значение и у прошедшего НСВ, при котором прошедшее НСВ

[16] В. Виноградов, Русский язык, М., 1947, стр. 543 и сл.

[17] «Современный русский язык. Морфология», М., Изд-во МГУ, 1952, стр. 293, 301.

[18] А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, 2, стр. 440.

не выражает разобщенность с моментом речи. *Ты уже обедал?* = *Ты уже пообедал?* (= *Ты уже готов с обедом?*); *Вы уже пили чай?* = чеш. *Už máte vypito?* и т. д.

4.4. В некоторых коррективах нуждается также трактовка «непрошедших времен», плана «настоящего—будущего». Считаем неправомерным исключение аналитического будущего из системы временных форм в русском языке Дж. Феррелом лишь на основании того, что *буду* вне сочетания с инфинитивом НСВ может выполнять самые разнообразные функции, в том числе может выступать с видовым значением СВ[19]; равным образом преуменьшенной нам кажется роль, отведенная аналитическому будущему в системе времен А. В. Исаченко и др. Аналитическое будущее представляет собой член маркированный в той же степени, как прошедшее. Будущее типа *Я буду писать* выражает по отношению к моменту речи действие всегда будущее, точно так же как претерит — действие всегда прошедшее. По отношению к презенсу аналитическое будущее является таким же маркированным членом, как и претерит. Представляется, что к категории времени в русском языке (а также в чешском) вполне применимо трехстороннее отношение, аналогичное установленному М. Докулилом для категории лица в чешском языке. Подобную схему категории времени принимает для чешского языка И. Польдауф, выделивший в рамках категории времени основную оппозицию: немаркированный презенс, включающий момент речи, и прошедшее и будущее, исключающие его[20].

Не следует искать бинарные отношения между формами прошедшего и аналитического будущего — они представляют собой члены в равной мере маркированные, вполне самостоятельные. О выраженной оппозиции прошедших и непрошедших времен можно говорить лишь в применении к древнерусскому языку, где формы, обозначающие настоящее и будущее времена, не были дифференцированы и действие в будущем выражалось посредством форм презенса так же, как и действие в настоящем, когда сосуществовали различные описательные средства, сигнализирующие, обычно своим лексическим значением, об отнесенности действия к плану будущего. Постепенно в русском языке формируется будущее в собственном смысле слова; к XVIII в. развитие категории времени в основном завершается. Первоначальная основная двучленная система после органического вчленения будущего сменяется системой трехчленной. Подобная же трехчленная система образовалась, например, в сербскохорватском, где будущее создалось на основе старой описательной конструкции *choću* + инфинитив, в немецком (*Ich werde* + инфинитив) и в ряде других языков. В большинстве случаев будущее представляет собой новообразование исторического периода[21].

4.5. Большие трудности возникают при решении вопроса о месте презенса СВ в системе времен русского глагола, при определении того, одна ли это форма с одним инвариантным значением или две формы — настоящее СВ и будущее СВ; в последнем случае так называемый презенс СВ представлял бы собой 2 омонимичные формы. В русских грамматиках презенс СВ называют формой будущего времени, иногда принято говорить о форме настоящего — будущего[22]. А. В. Исаченко характеризует презенс СВ как форму, которая «никогда не обозначает процесс, реально совпадающий с моментом речи», и имеет инвариантное значение неактуальности действия[23]; однако несколькими страницами дальше сказано, что презенс в отличие от аналитического будущего не выражает

---

[19] Ср. J. Ferrel, указ. соч., стр. 367 и сл.

[20] См. I. Poldauf, указ. соч., стр. 123.

[21] См. H. Křížková, Vývoj opisného futura v jazycích slovanských, zvláště v ruštině, Praha, 1960.

[22] См. В. Виноградов, указ. соч., стр. 573.

[23] А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка..., стр. 447.

разобщенность с моментом речи, поэтому возможно его употребление и в тех случаях, когда процесс, завершение которого сигнализируется презенсом СВ, уже совершается в момент речи: *Я оденусь* не исключает, что я уже одеваюсь (стр. 450)[24].

Однако и форма будущего НСВ также не исключает того, что действие начало реализовываться в момент речи (или еще до него): высказывания *Как долго ты будешь заниматься? Как долго ты будешь еще сидеть?* и т. п. относятся к действиям, реализация которых в момент речи уже началась и будет продолжаться после момента речи. Именно продолжение действия после момента речи и сигнализируется будущим НСВ. Точно так же и презенс СВ со значением будущего ориентирует наше внимание на реализацию действия в будущем; однако здесь важен комплексный характер такой реализации, при котором отношение действия к моменту речи особой роли не играет; начавшаяся к моменту речи реализация действия не исключена, но и ничем не сигнализируется.

Нам кажется, что презенс СВ представляет собой две формы: настоящее СВ, сигнализирующее неактуальность и соответствующее не сигнализирующему неактуальность (вневременность) настоящему НСВ, и будущее СВ, соответствующее аналитическому будущему НСВ и сигнализирующее комплексную реализацию действия в плане будущего в отличие от будущего НСВ, не сигнализирующего о такой реализации[25].

Таким образом, мы вправе говорить об омонимии форм, т. е. об омонимии десигнаторов (не десигнатов)[26]. Об этом свидетельствует тот факт, что они встречаются в разных контекстах. (Аналогичным образом омонимия форм устанавливается и в других случаях — ср., например, установление количества падежных форм у существительных типа *тетрадь* и т. п., где позиция является решающей.)

4.6. Итак, русский глагол, представленный двумя рядами видовых форм, располагает тремя парами временных форм, внутренние различия между которыми определяются различиями видового значения и зависящими от них различиями временных позиционных значений. В рамках немаркированного плана настоящего разница между СВ и НСВ вызвана невозможностью употреблять настоящее СВ в значении актуального настоящего, в то время как у настоящего НСВ таких ограничений нет; в рамках маркированного плана прошедшего и будущего разница между СВ и НСВ вызвана маркированным комплексным значением форм СВ и связанной с ним возможностью употребления их в разных контекстах, при видовой конкуренции в одном и том же контексте. Все инвариантные значения временных форм определяются в русском языке по отношению к моменту речи как с точки зрения говорящего, так и с точки зрения участника рассказываемого события.

Настоящее. НСВ: *Брат выкуривает 10 папирос в день*; *Я знал, что брат выкуривает 10 папирос в день*; *Мать над чем-то смеется*; *Я спросила, почему мать смеется.* СВ: *Подъемный кран поднимает и автомашину*; *Он утверждал, что подъемный кран поднимает и автомашину.*

Прошедшее. НСВ: *Год тому назад он работал на строительстве ГЭС*; *Мне сообщили, что год тому назад он работал на строительстве*

[24] Ср. В. В. Виноградов, Русский язык, стр. 569; ср. также стр. 574: «В отличие от описательной формы будущего времени несовершенного вида форма будущего времени совершенного вида не противопоставляет будущего действия плану настоящего. Выражаемое ею действие как бы исходит из настоящего времени, простираясь в будущее в завершительных моментах процесса, в его результате, между тем как начало действия может относиться и к настоящему времени». См. также: S. Karcevskij, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 153 и др.

[25] Предложенная интерпретация формы презенса СВ нам кажется более приемлемой, чем трактовка презенса СВ в цитированных выше и других работах, в том числе у автора настоящей статьи. См. H. Křížková, K problematice aktuálního a neaktuálního užití časových a vidových forem v češtině a v ruštině, «Československá rusistika», 4, 1958, стр. 196.

[26] См. А. Исаченко, О грамматическом значении, стр. 29.

ГЭС. СВ: *Он вернулся два года тому назад*; *Мы знали, что он вернулся два года тому назад*.

Будущее. НСВ: *Я буду хорошо учиться*; *Он обещал, что будет хорошо учиться*. СВ: *Я вернусь скоро*; *Я знал, что ты вернешься скоро*.

5.1. Во всех приведенных примерах временные формы употреблены в своем прямом значении. Эти случаи следует отличать от так называемого переносного употребления временных форм, транспозиции или замены времен, под которой, согласно А. М. Пешковскому, понимаем «противоречие между значением формы и реальными условиями речи»; оно объясняется тем, что «реальные условия часто гарантируют верное понимание и у говорящего является желание воспользоваться формальным значением как чистой формой, сознательно наложить определенный оттенок на неподходящее для него содержание»[27]. Сюда относятся все известные случаи употребления настоящего вместо реального прошедшего (praesens historicum) и будущего (praesens propheticum), относительно редкие случаи употребления прошедшего СВ вместо реального будущего и лишь в виде исключения встречающиеся случаи употребления будущего вместо реального прошедшего.

5.2. Замена времен (транспозиция) происходит в первую очередь при употреблении временных форм, определяемых с точки зрения говорящего; это область наиболее широкого употребления временных форм в так называемом переносном значении. Гораздо реже встречается транспозиция времен, когда временной план определяется с точки зрения участника рассказываемого события. Почти не известна она придаточным изъяснительным — здесь по существу единственной областью ее применения является область косвенной речи, когда говорящий старается сохранить как можно больше характерных черт авторской речи. Вполне обычно для косвенной речи употребление настоящего в значении praesens propheticum (*Он сообщил нам, что завтра уезжает*), прошедшего вместо будущего (*Он сказал, что если не выручат его, он пропал*). В конструкциях косвенной речи не встречается настоящее повествовательное, нуждающееся, как правило, в более обширном контексте и употребляющееся при переходе от временного плана с точки зрения участника рассказываемого события к временному плану с точки зрения говорящего.

6.1. Итак, оказывается необходимым отграничить область прямого употребления времен, в которой временные значения определяются по отношению к моменту речи независимо от того, представлен ли он с точки зрения говорящего или участника рассказываемого события, от области переносного употребления времен, их замены, когда временные формы со свойственным им значением выступают в контексте, требующем другой временной формы. Соотносительное употребление времен является употреблением прямым; его не следует относить, как это иногда делается, к так называемому синтаксическому релятиву. Система времен в русском языке, таким образом, представлена следующими формами:

Время		Вид	
		НСВ	СВ
Немаркированный член	Настоящее	*решаю*	*решу*
Маркированные члены	Прошедшее	*решал*	*решил*
	Будущее	*буду решать*	*решу*

[27] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, стр. 208.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

А. В. БОНДАРКО

СИСТЕМА ГЛАГОЛЬНЫХ ВРЕМЕН В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ *

Традиционная схема времен глагола в современном русском языке может быть представлена следующим образом:

Прошедшее несовершенное *(решал)*	:	Прошедшее совершенное *(решил)*
Настоящее несовершенное *(решаю)*	:	—
Будущее несовершенное *(буду решать)*	:	Будущее совершенное *(решу)*

В этой схеме изолированное положение занимает настоящее несовершенное, у которого нет соответствия в совершенном виде. Связано это с тем, что формы совершенного вида не могут выступать в значении конкретного настоящего времени момента речи (настоящего актуального). Однако уже давно была отмечена способность форм типа *решу* выражать другие разновидности настоящего времени (настоящего неактуального). Ср., например, настоящее время обычного действия: «Жить своею жизнью в среде неприязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной могут очень немногие: иной раз дух не вынесет, иной раз тело сломится» (Герцен, Былое и думы) — или (в сочетании с *не*) неповторяющегося действия с модальным оттенком невозможности: «Что-то я тебя, старичок, никак не разберу» (Герман, Один год). В подобных контекстах рассматриваемые формы не выражают будущего времени или какого-либо оттенка, связанного с будущим. Следовательно, значение настоящего неактуального не может быть выведено из значения будущего как одно из частных значений — вариантов общего.

Значение неактуального настоящего не может рассматриваться и как переносное употребление формы будущего времени. При транспозиции значение, исходящее от контекста, расходится с грамматическим значением формы, однако при этом сохраняется связь данного употребления формы с ее грамматическим значением. Последнее так или иначе выявляется как значение переносное. Так, при употреблении форм прошедшего совершенного в контексте со значением настоящего времени обычного или обобщенного действия грамматическое значение отнесенности к прошлому сохраняется как переносный, фигуральный оттенок. Например: «В отряде для экипажей заведен такой порядок: командир осмотрел площадку, бросил дымовую шашку, чтобы узнать ветер, сел. Дальше: разбить палатку, приготовить горячую пищу. Занимается этим экипаж» (А. Анфиногенов, Край света)[1]. Ничего подобного не наблюдается в рас-

* В этой статье излагаются некоторые общие соображения, носящие предварительный характер. Статья является откликом на чрезвычайно интересный, заслуживающий пристального внимания и вместе с тем во многом спорный анализ системы глагольных времен, который дан в книге проф. А. В. Исаченко «Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким», II (Братислава, 1960).

[1] Ср. другие примеры транспозиции. В таких случаях, как «...украдут что-нибудь у нас — пропал я!» (Тургенев, Безденежье), контекстуально обусловленное значение будущего времени сочетается с «субъективной пережитостью факта как прошлого» [см. В. В. Виноградов, Русский язык (Грамматическое учение о слове), М.—Л., 1947, стр. 544]. В случаях типа *Как мы поживаем?* при обращении

смотренных выше типах употребления интересующих нас форм в значении настоящего неактуального. Здесь нет никакой связи со значением будущего, нет никаких признаков транспозиции «формы будущего совершенного».

Употребление форм типа *решу* может быть переносным. Однако при этом в качестве переносного выступает значение не будущего, а настоящего времени. Например, настоящее (не будущее) историческое повторяющегося действия глаголов обоих видов: «Бывало, рассказывал крестник, ... ранним осенним утром выстроятся возы с овсом. Возов триста — четыреста соберется. Кирилл Аристархович, встав поутру, идет в собор, а народ огрудит его, спрашивает, какая нынче будет цена» (Дорош, Сухое лето). Ср. также настоящее историческое единичного действия типа *Вдруг как крикнет.*

Если значение неактуального настоящего не может быть выведено из значения будущего ни как одно из частных значений — вариантов, ни как транспозиция, то отсюда следует, что значение будущего времени не может быть признано общим инвариантным значением форм типа *решу*.

Нельзя ли считать общим значением этих форм значение неактуального настоящего? В таком случае их следовало бы рассматривать как формы настоящего времени глаголов совершенного вида (настоящего совершенного). Тогда схема видо-временных форм могла бы быть представлена следующим образом:

Прошедшее несовершенное *(решал)*	:	Прошедшее совершенное *(решил)*
Настоящее несовершенное *(решаю)*	:	Настоящее совершенное *(решу)*
Будущее несовершенное *(буду решать)*[2]	:	—

Если признанию формы только будущего совершенного противоречит значение неактуального настоящего, то определение форм типа *решу* как форм настоящего совершенного оказывается несовместимым со значением будущего. Последнее нельзя вывести из значения настоящего неактуального как его разновидность, вариант: неактуальное настоящее не менее четко противопоставлено будущему, чем актуальное. О транспозиции, понятно, не может быть и речи.

Рассматриваемые значения могут быть объединены. Результатом такого объединения является совокупность обеих функций — значение настоящего неактуального — будущего времени. Это значение хорошо передает известный в грамматической традиции термин «форма настоящего — будущего времени» (настоящее — будущее совершенное)[3].

к собеседнику сохраняется и значение 1-го лица мн. числа в переносной модификации как обозначение участливой совокупности (см. там же, стр. 331, 458). При употреблении повелительного наклонения в условных и уступительных конструкциях связь с императивным значением не устраняется. «Другие модальные значения рассматриваемых форм представляются (или изображаются) их повелительным значением» (А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, IV, М.—Л., 1941, стр. 178). Подобные примеры можно было бы легко умножить.

[2] Дж. Феррелл, исключив будущее совершенное из системы времен, по существу исключает из этой системы и будущее несовершенное, так как он считает, что форма типа *буду решать* стоит вне основных временных оппозиций (J. Ferrell, On the aspects of *byt'* and on the position of the periphrastic imperfective future in contemporary literary Russian, «Slavic word», 2, 1953). См. критику этой концепции: A. Isačenko, La structure sémantique des temps en russe, BSLP, 55, 1, 1960, стр. 78; его же, Грамматический строй..., стр. 443, 468—469.

[3] Ср.: A. Mazon, Emplois des aspects du verbe russe, Paris, 1914, стр. 129—159; В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 573; «Грамматика русского языка», I, М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 484—487 (здесь, как и в книге В. В. Виноградова, этот термин используется лишь в заголовке соответствующего раздела, тогда как при анализе языкового материала отдается предпочтение термину «будущее совершенное», что соответствует трактовке материала).

Форма настоящего — будущего совершенного семантически двойственна. В контексте реализуется то значение будущего, то настоящего. Распадение семантики этой формы на два временных значения подчеркивается и усиливается наличием в несовершенном виде двух различных форм для выражения настоящего и будущего времени: *решу* противопоставляется, с одной стороны, *решаю*, а с другой — *буду решать*. Это позволяет различать формы (варианты) настоящего совершенного и будущего совершенного[4]. Однако необходимо считаться с тем, что форма настоящего — будущего совершенного характеризуется не только двойственностью, но и относительным единством, основанным на единстве формального выражения обоих значений. Важно и то, что в некоторых контекстах значения настоящего и будущего времени сближаются и совмещаются. Например:

« — Вы посмотрите-ка,— вдохновился Шелихов,— леса еще без листочков и лесного шума еще нет, а если приложить ухо к стволу березы или тополя, то движение соков услышишь» (Лидин, По дорогам весны). Форма *услышишь* представляет собой настоящее неактуальное с модальным оттенком возможности (*движение соков можно услышать*), но вместе с тем здесь налицо модальный оттенок уверенности, связанный с представлением о будущем времени: при определенном условии (*если приложить ухо...*) действие непременно, обязательно осуществится.

Все сказанное заставляет, с одной стороны, различать формы настоящего и будущего совершенного (формы-варианты), а с другой — признать единую общую форму настоящего — будущего времени. Отсюда следует также, что формы настоящего и будущего совершенного нельзя считать омонимами[5]. Значения подлинных омонимов не только различаются, но и не соотносятся, никогда не сближаются и не могут быть объединены; соотношение значений настоящего неактуального и будущего времени носит иной характер.

Из двух вариантов значения формы настоящего — будущего совершенного главным, основным следует признать значение будущего. Это основная, первичная функция рассматриваемой формы. Выражение же настоящего неактуального следует признать функцией вторичной (но такой, которая не является производной от первичной). Для проявления значения настоящего требуются некоторые особые условия контекста. Так, для понимания действия, выражаемого формой типа *решу*, как настоящего необходимо, чтобы была обозначена или подразумевалась его повторяемость, обычность. Как правило, при этом обязательно наличие хотя бы двух соотносительных действий (ср.: *Если уж он решит что-нибудь, то решений своих никогда не меняет*). Могут быть и другие специальные условия, например наличие отрицания и модального оттенка невозможности (*Никак не решу эту задачу*). Напротив, для понимания действия *решу* как будущего достаточно отсутствие тех особых условий, которые необходимы для выражения настоящего неактуального (*Я решу эту задачу* и т. п.).

Итак, систему видо-временных форм русского глагола целесообразно представить следующим образом:

Прошедшее несовершенное *(решал)*	:	Прошедшее совершенное *(решил)*	
Настоящее несовершенное *(решаю)*	:	Настоящее совершенное *(решу)*	Настоящее — будущее совершенное
Будущее несовершенное *(буду решать)*	:	Будущее совершенное *(решу)*	

[4] Уже Л. П. Размусен различал в схеме глагольных времен *напишу* как настоящее время и *напишу* как будущее («О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках», ЖМНП, 1891, июнь, стр. 403).

[5] Такое решение было предложено в моей статье «Опыт общей характеристики видового противопоставления русского глагола», «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», 23, 1962.

Эта система состоит из трех «рядов форм» или «временных рядов». Члены ряда противопоставлены друг другу по виду. Однако видовые различия обусловливают и различия с точки зрения категории времени. Поэтому мы и говорим о «видо-временных формах».

Рассмотрим характер противопоставления членов этой системы. Обычно прошедшее время противопоставляется «непрошедшему»[6]. Эта оппозиция четко выявляется по морфологическому, структурному и семантическому признакам (форма прошедшего времени характеризуется различием по роду в ед. числе и отсутствием личных окончаний; в совершенном виде она соотносится с формой настоящего — будущего времени; в отличие от форм настоящего и будущего она выражает действие, предшествующее моменту речи). Все это, однако, не исключает возможности других оппозиций. Будущее время, обозначающее потенциальные, «нефактические» процессы, может быть противопоставлено настоящему и прошедшему — временам «фактическим»[7]. Настоящее несовершенное и совершенное, выражающее «современность» в широком смысле слова, можно противопоставить другим временам[8].

Тот факт, что противопоставление прошедшего времени «непрошедшим» временам основано не только на семантическом, но и на структурном признаке (прошедшее совершенное соотносится с настоящим — будущим совершенным), заставляет выделить это противопоставление как основное. Такая градация может быть схематически представлена следующим образом:

Прошедшее время		«Непрошедшие» времена			
		Настоящее	Будущее		
Прошедшее несовершенное *(решал)*	Прошедшее совершенное *(решил)*	Настоящее несовершенное *(решаю)*	Настоящее — будущее совершенное		Будущее несовершенное *(буду решать)*
			Настоящее совершенное *(решу)*	Будущее совершенное *(решу)*	

Эта схема не противоречит предыдущей, а лишь дополняет ее. Следует подчеркнуть, что противопоставление прошедшего времени «непрошедшим» временам существует внутри трехчленной системы времен, в рамках трехчленного противопоставления. Оно не исключает двух других оппозиций в рамках этой системы, не устраняет четкого семантического различия между настоящим и будущим временами.

Сказанное выше вплотную подводит нас к схеме времен, предложенной А. В. Исаченко. В предшествующем изложении уже наметились некоторые пункты схождения и расхождения с этой схемой. Теперь необходимо подчеркнуть то и другое.

Схема А. В. Исаченко представляет собой многоступенчатую систему бинарных противопоставлений. Каждое из них трактуется как приватив-

[6] Ср.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 543—545; А. В. Исаченко, Грамматический строй..., стр. 423—426.

[7] E. Pauliny, Slovesný čas v slovenčine, сб. «Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wolfmanovi», Brno, 1948, стр. 345—346 (к «нефактическим» временам в словацком языке помимо будущего времени автор относит также сослагательное наклонение; по другому признаку автор противопоставляет прошедшее время и сослагательное наклонение настоящему и будущему временам).

[8] И. Польдауф противопоставляет настоящее время в чешском языке прошедшему и будущему по признаку «включенности» и «невключенности» момента речи (I. Poldauf, Atemporálnost jako gramatická kategorie českého slovesa?, SaS, XI, 3, 1949, стр. 122—123). См. критику этой концепции в указанной выше книге А. В. Исаченко (стр. 468).

ное, т. е. содержащее маркированный член, который обладает определенным семантическим признаком, и немаркированный, который оставляет этот признак невыраженным (не указывая на его отсутствие).

Наиболее общим является противопоставление прошедших времен (отнесенность к объективному прошлому выражена) «непрошедшим», не обладающим этим признаком. Внутри прошедших времен отмечается противопоставление прошедшего несовершенного (разобщенность с моментом речи выражена) прошедшему совершенному (как немаркированному члену). В рамках «непрошедших» времен аналитическая форма будущего противопоставляется презенсу по признаку разобщенности с моментом речи. Перфективный презенс (неактуальность действия в плане «непрошедшего» времени выражена) противопоставляется имперфективному (данный признак остается невыраженным)[9].

Особый интерес в этой схеме представляет принцип определения значения, охватывающего временные формы обоих видов (типа *он бросал* и *он бросил*), с последующим определением семантических различий между этими формами. Трактовка этих различий как противопоставлений, содержащих маркированный и немаркированный члены, оправдана. Следует согласиться и с тем, что противопоставление прошедших времен «непрошедшим» является основным.

Однако в концепции А. В. Исаченко есть и такие моменты, с которыми согласиться нельзя. Это прежде всего абсолютизация бинарной оппозиции «прошедшие : непрошедшие времена» и трактовка этой оппозиции как привативной. Абсолютизация указанного противопоставления приводит к схеме, в которой отсутствует четкое различие между настоящим и будущим временами. Примечательно, что это различие фактически не поддается исключению из системы видо-временных форм. Отчасти оно «скрывается» под иной терминологией, отчасти дает о себе знать в некоторых противоречивых пунктах схемы.

Форму *он будет бросать*, по мнению А. В. Исаченко, лишь «для удобства» можно традиционно называть «формой аналитического будущего». Основным семантическим признаком этой формы («не каким-либо дополнительным „оттенком значения“») является значение «разобщенности процесса с моментом речи»[10]. Однако без указания на временную отнесенность действия данное значение лишается всякой определенности: признаком разобщенности с моментом речи характеризуется и форма прошедшего несовершенного. Поэтому оказывается необходимым уточнить это значение в том смысле, что речь идет о плане «непрошедших» времен. «Разобщенность „непрошедшего“ действия с моментом речи и толкуется как „будущее время“»[11]. Итак, фактически значение отнесенности к будущему «пробивает себе дорогу».

А. В. Исаченко противопоставляет «форму аналитического будущего» не будущему совершенному (такая форма в его системе отсутствует), а перфективному и имперфективному презенсу. Таким образом, коррелятами оказываются формы, различные по временной отнесенности, но связанные, по мнению автора, отношением выраженной и невыраженной разобщенности с моментом речи. Однако трактовка презенса как немаркированного члена противопоставления, основанного на указанном признаке, приводит к ряду противоречий.

«...отрицательная семантика форм презенса дает возможность представить действие либо как неразобщенное с моментом речи (т. е. как „актуальное“), либо как разобщенное с моментом речи (т. е. как „неактуальное“)». Если неразобщенность с моментом речи сводится к актуальности, а разобщенность — к неактуальности, то получается, что между

[9] См.: А. В. Исаченко, Грамматический строй..., стр. 425—427, 433—435, 441—448, 466—469; его же, La structure..., стр. 80—88.

[10] См. А. В. Исаченко, Грамматический строй..., стр. 445.

[11] Там же, стр. 444.

формами типа *он будет бросать* и *он бросит* нет никакого семантического различия: *он будет бросать* «выражает разобщенность процесса с моментом речи... в плане „непрошедших“ времен»[12] — *он бросит* выражает неактуальность, т. е., судя по приведенному выше высказыванию А. В. Исаченко, ту же самую разобщенность.

Противоречат друг другу и следующие положения: «Значение „непрошедшей“ временной формы, не разобщенной с моментом речевого акта, может быть истолковано только в том смысле, что процесс, выражаемый глагольной формой, совпадает с речевым актом, синхронен ему. Такое грамматическое значение презенса мы будем называть „актуальным“» и «...в формах презенса (в отличие от форм аналитического будущего) разобщенность процесса с моментом речи не выражена; поэтому данную форму можно употребить и в том случае, если процесс, завершение которого сигнализируется формой перфективного презенса, фактически уже протекает в момент речи: форма *я оденусь* не исключает, что в момент речи я уже „одеваюсь“»[13]. Получается, что неразобщенным с моментом речи может быть как актуальное действие, так и неактуальное.

Из всего сказанного выше вытекает, что фактически неразобщенность с моментом речи не сводится к актуальности, а разобщенность не совпадает с неактуальностью. Но тогда противопоставленные друг другу формы аналитического будущего и формы презенса оказываются семантически несоотносительными. Формы типа *будет бросать* могли бы быть противопоставлены только формам типа *бросит* в значении будущего, но это значение не выделено в рассматриваемой схеме (оно «скрывается» под общей скобкой перфективного презенса как одно из частных проявлений неактуальности). Нетрудно заметить, что все эти противоречия в конечном счете связаны с тем, что в схеме А. В. Исаченко не учитывается различие временной отнесенности действия к настоящему и будущему.

Нельзя согласиться, как уже говорилось, и с трактовкой противопоставления «прошедшие : непрошедшие времена» как противопоставления привативного. Признание «непрошедших» времен немаркированным членом оппозиции означает, что эти времена не сигнализируют отсутствие отнесенности к объективному прошлому, т. е. могут употребляться для обозначения процессов, предшествующих моменту речи. Значит, использование форм типа *бросает*, *бросит* и *будет бросать* в контекстах со значением отнесенности к прошлому должно рассматриваться как проявление собственного немаркированного значения этих форм, а не как транспозиция. В таком случае настоящее историческое (*В 1848 году Маркс приезжает в Париж*) не должно расцениваться как переносное употребление настоящего несовершенного, хотя все признаки транспозиции здесь налицо. А. В. Исаченко обнаруживает непоследовательность, характеризуя настоящее историческое глаголов совершенного вида как транспозицию[14]. Форма аналитического будущего также может быть употреблена в контексте со значением отнесенности к объективному прошлому. Например: *Он, бывало, не поленится забраться под машину, битый час будет возиться с каждым винтиком.* И здесь налицо транспозиция: значение объективного прошлого исходит от контекста, а форма *будет возиться* сама по себе выражает модальный оттенок готовности, являющийся модификацией значения будущего времени.

Трактуя систему времен русского глагола как бинарное привативное противопоставление, А. В. Исаченко исходит из некоторых общих положений: 1) Грамматическая категория — это «единство двух (и не более!) взаимоисключающих друг друга по значению рядов форм» («Системы грамматических оппозиций с тремя (или более) членами неизбежно распа-

---

[12] См. А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 446—447 и 444.
[13] Там же, стр. 447, 449—450.
[14] Там же, стр. 428—429, 458—459.

даются на цепь бинарных оппозиций»)[15]; 2) «В каждой грамматической оппозиции следует различать сильный и слабый член»[16]. Эти принципы, безусловно справедливые по отношению к некоторым грамматическим категориям, нам кажется, нельзя рассматривать как единственно существующие в грамматике, универсальные и всеобъемлющие.

Противопоставления многообразны по своему составу и характеру. Грамматическая категория может представлять собой единство не только двух, но трех и более членов. Таковы, например, категории времени, наклонения, лица, рода (трехчленные противопоставления), падежа (противопоставление, содержащее большее число членов) в современном русском языке. Внутри каждой из этих категорий можно вскрыть бинарные противопоставления. Однако какие бы бинарные комбинации ни намечались в рамках, скажем, трехчленной системы, они не могут заменить собою эту систему и поставить под сомнение наличие трех противопоставленных друг другу членов.

Было бы ошибочным также преувеличивать роль привативных противопоставлений, игнорируя оппозиции эквиполентные (равнозначные), члены которых логически равноправны[17]. Ср. равнозначные противопоставления частных видовых значений, например конкретно-фактического и конкретно-процессного, конкретно-фактического и обобщенно-фактического, наглядно-примерного и неограниченно-кратного, суммарного и ограниченно-кратного[18]. Важно учитывать, в частности, антонимичные оппозиции, у которых один член сигнализирует наличие данного признака, а другой — его отсутствие. Именно таков (как мы пытались показать выше) характер противопоставления прошедших и непрошедших времен русского глагола. Все многообразие грамматических категорий и соотношений внутри этих категорий не может быть сведено к важному, но все же частному и отнюдь не всеобъемлющему принципу асимметричности соотносительных грамматических форм.

Переходя к анализу семантики времен, следует прежде всего поставить вопрос: можно ли охватить единым определением и абсолютное, и относительное значение временных форм? В системе личных форм глагола в современном русском литературном языке нет специальных формальных средств для выражения относительного временного значения: одни и те же формы выступают то в абсолютном, то в относительном употреблении. Поэтому при определении семантики видо-временных форм нельзя не учитывать их относительное употребление.

Следует различать два типа относительного употребления времен:

1. Время данного действия непосредственно определяется исключительно с точки зрения времени другого действия (какого-либо момента вне времени речи). Иначе говоря, время действия имеет лишь одну точку отсчета, которая не есть момент речи. Ср. употребление временных форм в таких придаточных дополнительных и подлежащных предложениях, как *Мы знали, что он придет*; *Ему казалось, что его не понимают*. Ср. также «будущее в прошедшем» типа «Погодин мутил нас обоих своим ропотом, осуждением и негодованием. Он был ужасно раздражен против Гоголя. Впоследствии докажет это его письмо к нему и ответ Гоголя» (Аксаков, История моего знакомства с Гоголем).

---

[15] А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1, стр. 42, 39 (примеч. 37).

[16] A. Isačenko, La structure sémantique..., стр. 79; его же, О грамматическом значении, стр. 35—36, 39—40. Ср. R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, сб. «Charisteria Gvilelmo Mathesio...oblata», Prague, 1932, стр. 75 и сл.

[17] См. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 83 (перевод с немецкого).

[18] См. Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (Значение и употребление), сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 258, 267—268, 312. Аналогичные отношения наблюдаются и в русском языке.

2. Время данного действия непосредственно определяется как с точки зрения времени другого действия (какого-либо момента вне времени речи), так и по отношению к моменту речи. Иначе говоря, время действия имеет две точки отсчета (включая момент речи). Например: «На том самом лужке с пахучими рядами сена, по которому он [Пьер] проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером» (Л. Толстой, Война и мир). Форма *проезжал* обозначает действие, предшествующее по отношению к *лежал*, но вместе с тем время этого действия непосредственно определяется как прошедшее по отношению к моменту речи[19].

Во втором типе относительного употребления глагольная форма участвует в выражении одновременности, предшествования или следования по отношению ко времени другого действия, но все эти значения исходят из контекста. Так, в только что приведенном примере значение предшествования возникает лишь благодаря обстоятельству *вчера*. Именно потому, что источником относительного значения является не форма, а контекст, одно и то же относительное значение может быть выражено различными формами. Например, в следующем предложении предшествование по отношению к другому действию обозначает форма настоящего совершенного: «Губернатор этот не выносит молодых людей с длинными волосами. Сейчас же, как увидит, кличет полицейского...» (Морозов, Повести моей жизни). В рассматриваемом типе употребления времен глагольная форма сохраняет свое грамматическое значение, определяемое с точки зрения момента речи. Поэтому такое употребление охватывается определением временного значения глагольной формы, основанным на отношении к моменту речи[20].

Относительное употребление первого типа, напротив, не может быть охвачено определением, основанным на отношении к моменту речи, так как в этом случае форма лишена абсолютной временной ориентации. Однако очевидно, что и при таком употреблении форма проявляет свойственное ей грамматическое временное значение. Отсюда следует, что определение общего грамматического значения формы не должно быть связано исключительно с моментом речи. Оно должно обобщить и абсолютное, и относительное употребление времен. Такое определение возможно, так как, несмотря на различие точек отсчета, у каждой временной формы остается неизменным свойственное ей отношение к точке отсчета, «направление» временной ориентации (ср. предложения: *Собрание состоится в среду* и *Мы узнали, что собрание состоится в среду* — в обоих случаях речь идет об отношении следования). Это общее отношение к исходному пункту временной ориентации, каким бы он ни был, и должно лечь в основу определения инвариантного временного значения глагольной формы, реализующегося в абсолютном и относительном вариантах.

Рассмотрим значения видо-временных рядов и входящих в их состав форм.

1. Прошедшее время. Значение временного ряда (*решал решил*) заключается в выражении отнесенности действия к прошлому, т. е. к временному плану, предшествующему моменту речи или времени другого действия (какому-либо моменту вне времени речи). Общее значение прошедшего несовершенного состоит в значении временного ряда,

[19] Подробнее о двух типах относительного употребления времен см. в моей статье «По поводу теории синтаксического индикатива и релятива», «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 225. Кафедра русского языка, 1962.

[20] В том, что речь идет об относительном употреблении, которое вместе с тем охватывается определением абсолютного временного значения, нет противоречия. Рассматриваемое употребление совмещает в себе элементы и абсолютного и относительного значения. Если подходить к такому употреблению с точки зрения контекста, то оно должно расцениваться как относительное (не лишенное вместе с тем непосредственной ориентации на момент речи). Если же исходить из грамматического значения глагольных форм, то следует говорить об абсолютном временном значении (осложненном контекстуально обусловленными относительными оттенками).

ограниченном признаком выражения действия, всецело отнесенного к прошлому. Прошедшее совершенное не обладает этим дополнительным признаком. Общее значение этой формы совпадает с семантикой временного ряда[21].

Частичные значения прошедшего несовершенного — различные оттенки «имперфектного» значения, в частности, выражение процесса протекания единичного действия и обозначение повторяющегося действия, «аористическое» значение (обозначение самого факта осуществления действия), качественно-описательное значение — изучены очень хорошо. Определено в научной литературе и главное из этих частных значений — «имперфектное»[22]. Это значение следует признать главным потому, что оно, в отличие от «аористического», характерно именно для данной формы (прошедшее совершенное им не обладает) и, в отличие от качественно-описательного значения, не требует специальных сложных условий контекста.

Частные значения прошедшего совершенного сводятся к различным оттенкам «перфектного» и «аористического» значений. Трудно решить, какое из них является главным, поскольку они оба так или иначе обусловлены контекстом, оба характерны для прошедшего совершенного, но могут быть выражены (при известном различии в оттенках) и прошедшим несовершенным. Скорее всего мы имеем здесь дело с двумя «равноправными» первичными значениями, которым противостоят значения переносные (вторичные).

2. Будущее время. Значение временного ряда (*буду решать — решу*) заключается в выражении отнесенности действия к будущему, т.е. к временному плану, последующему по отношению к моменту речи или по отношению ко времени другого действия (какому-либо моменту вне времени речи). Общее значение будущего несовершенного сводится к семантике временного ряда, ограниченной признаком выражения действия, всецело отнесенного к будущему. Общее значение будущего совершенного, не обладающего этим дополнительным признаком, совпадает с семантикой временного ряда[23].

Нередко будущее совершенное наделяется признаком, противоположным тому, которым характеризуется будущее несовершенное. Так, В. В. Виноградов пишет: «В отличие от описательной формы будущего времени несовершенного вида форма будущего времени совершенного вида не противопоставляет будущего действия плану настоящего. Выражаемое ею действие как бы исходит из настоящего времени, простираясь в будущее в завершительных моментах процесса, в его результате, между тем как начало действия может относиться и к настоящему времени»[24]. С таким определением согласиться нельзя. Уже С. Карцевский отмечал, что «предложение *Она сейчас оденется к обеду* может обозначать [следовательно, не должно обозначать обязательно.— *А. Б.*], что это лицо сейчас окончит свой туалет, уже начатый раньше»[25]. Возможность выражения указанного оттенка зависит от ситуации, от контекста. Чаще всего контекст допускает лишь значение действия, целиком отнесенного к плану будущего. Ср. пример совместного употребления форм будущего времени обоих видов в этом значении: «Лучше соберемся здесь, дядя Сергей не будет нас тревожить, а у тебя твой отец, наверное, будет все время сидеть с нами» (Морозов, Повести моей жизни). Нет необходимости умножать подобные примеры (в сочетании с формами сложного будущего или без них), так как они обычны. Напротив, контексты типа *Она сейчас оденется к обеду* редки.

[22] Ср. А. В. Исаченко, Грамматический строй, стр. 425—426, 434.
[21] См. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 557—562.
[23] Ср. S. Karcevski, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 153.
[24] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 574. Ср. также «Грамматика русского языка», I, стр. 484.
[25] S. Karcevski, указ. соч., стр. 153.

Возможность выражения действия, заканчивающегося в будущем, но начатого в настоящем, ограничена и лексически. Уже то, что речь идет о «завершительных моментах процесса», «его результате», показывает, что такое значение могут выражать только те глаголы, семантика которых позволяет выделить завершительный момент действия. Это глаголы результативного способа действия. Например: *Она сейчас допишет письмо*; *...забинтует руку*; *...закончит работу*; *...перейдет через дорогу*; *...сложит книги*; *...успокоится* и т. п. Глаголы других способов действия не могут выражать отнесенный к будущему результат ранее начатого действия. Например: *Она сейчас закричит*, *...засмеется*, *...запоет*; *...побежит*, *...полетит*, *...поплывет*; *...разговорится*, *...раскричится*, *...расшумится*: *...погрустит*, *...полежит*, *...посидит*; *...кольнет*, *...крикнет*, *...махнет* и т. п.

Контекстуальная и лексическая ограниченность употребления форм типа *решу* в указанном значении, противоположном значению форм типа *буду решать*, ослабляет различительную функцию признака отнесенности действия во всей его полноте к плану будущего. Поэтому особенно важным становится семантическое различие между этими формами, вытекающее из противопоставления их общих и частных видовых значений. Будущее несовершенное выступает главным образом в конкретно-процессном (ср. в приведенном выше примере: «Твой отец... будет все время сидеть с нами») и неопределенно-кратном значении [«Отца ты будешь видеть теперь каждый день много недель...» (Морозов, Повести моей жизни)]. Будущее совершенное употребляется главным образом в конкретно-фактическом (*Я сейчас вернусь*) и наглядно-примерном значении (*Будем видеться иногда, когда удастся вырваться*). Для форм будущего несовершенного главным следует признать конкретно-процессное значение, для форм будущего совершенного — конкретно-фактическое. Эти значения в меньшей мере обусловлены контекстом; значение же многократности исходит от обстоятельств типа *часто*, *обычно*, *иногда* или других элементов контекста, а не от самого глагола.

3. Настоящее время. Определение значения этого временного ряда связано с серьезными трудностями. Начнем с частных значений форм настоящего несовершенного. Очень удачное, хотя и не полное описание этих значений дается в книге А. В. Исаченко. Здесь выделяются: настоящее актуальное (*Смотри: он поднимает камень и бросает его в пруд*) и настоящее неактуальное, представленное в следующих разновидностях: 1) настоящее узуальное (*Он встает в шесть часов утра*); 2) настоящее квалифицирующее (*Отец работает на заводе*); 3) настоящее определения (*Параллели пересекаются в бесконечности*); 4) настоящее потенциальное (*Он говорит на трех языках*); 5) настоящее историческое (*В 1848 году Маркс приезжает в Париж*); 6) настоящее предвосхищенного действия (*В июне я сдаю экзамены и уезжаю домой*)[26].

Из этих значений главным следует признать значение настоящего актуального, так как оно является наиболее характерным для данной формы (форма настоящего совершенного не может выражать конкретное действие, протекающее в момент речи). Примечательно, что именно это значение выступает в качестве переносного при транспозиции рассматриваемой формы. Если сформулировать главное значение таким образом, чтобы оно охватило не только абсолютное, но и относительное употребление данной формы, то следует говорить о выражении одновременности (по отношению к моменту речи или времени другого действия).

Несмотря на то, что это значение соотносительно с общим значением форм прошедшего и будущего времени, выражающих (соответственно) отношения предшествования и следования, его нельзя признать общим

[26] А. В. Исаченко, Грамматический строй..., стр. 460—461. Два последних значения представляют собой переносное употребление настоящего несовершенного.

не только для рассматриваемого временного ряда, но и для форм настоящего несовершенного. Другие значения этих форм не могут быть выведены из значения одновременности, в частности по отношению к моменту речи. Так, настоящее узуальное и квалифицирующее могут исключать отнесенность действия к моменту речи (*Он встает в шесть часов утра*, но не сейчас, не в данный момент; *Отец работает на заводе*, но в момент речи он может отдыхать). То же можно сказать о настоящем определения и настоящем потенциальном. Значение одновременности не является инвариантным грамматическим значением формы уже потому, что оно контекстуально обусловлено. Вопреки мнению многих исследователей, нам представляется возможным положительное определение общего значения рассматриваемых форм. Все указанные выше частные значения имеют то общее, что в них содержится понятие настоящего.

Что касается настоящего совершенного, то его частные значения заключаются в выражении настоящего времени повторяющегося, обычного, потенциального и обобщенного действия, а также настоящего исторического единичного и повторяющегося действия (последнее значение является переносным). Из этих значений трудно выделить какое-либо одно в качестве главного, так как все они, за исключением переносных, являются «равноправными» разновидностями значения настоящего неактуального. Главным значением формы настоящего совершенного следует признать всю совокупность прямых употреблений этой формы.

Таким образом, общее значение формы настоящего несовершенного является вместе с тем и значением временного ряда, так как оно охватывает и семантику настоящего совершенного. Однако, в отличие от настоящего несовершенного, настоящее совершенное обладает дополнительным признаком неактуальности. Итак, если учесть не только состав форм, но и их значения, система видо-временных форм русского глагола может быть представлена следующей схемой:

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Прошедшее время
Выражает отнесенность действия к прошлому (с точки зрения момента речи или какого-либо иного момента)</td><td colspan="3">«Непрошедшие» времена
Выражают отсутствие отнесенности действия к прошлому, т.е. отнесенность действия к плану настоящего — будущего времени</td></tr>
<tr><td colspan="2">Настоящее
Выражает отнесенность действия к плану настоящего, к «современности» в широком смысле (с точки зрения момента речи или какого-либо иного момента)</td><td>Будущее
Выражает отнесенность действия к будущему (с точки зрения момента речи или какого-либо иного момента)</td></tr>
<tr><td>Прошедшее несовершенное
(решал)
Выражает действие, всецело отнесенное к прошлому</td><td>Прошедшее совершенное
(решил)
Значение совпадает с семантикой временного ряда</td><td>Настоящее несовершенное
(решаю)
Значение совпадает с семантикой временного ряда</td><td colspan="2">Настоящее — будущее совершенное
Выражает отнесенность действия к плану будущего времени (первичная функция) — настоящего неактуального (вторичная функция)</td><td rowspan="2">Будущее несовершенное
(буду решать)
Выражает действие, всецело отнесенное к будущему</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Настоящее совершенное
(решу)
Выражает неактуальное действие</td><td>Будущее совершенное
(решу)
Значение совпадает с семантикой временного ряда</td></tr>
</table>

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

Ю. Д. АПРЕСЯН

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ *

1.1. В данной работе излагается один из возможных путей построения структурной лексикологии. Структурная лексикология, наряду с грамматикой, мыслится как дисциплина, изучающая структуру плана содержания. В этом смысле между грамматикой и лексикологией нет принципиального различия. Принципиальное различие фиксируется между грамматикой и лексикологией, с одной стороны, и семантикой, с другой. Предметом грамматики и лексикологии является структура содержания, т. е. дифференциальные значения или значимости. Предметом семантики является субстанция содержания, т. е. сигнификативные и денотативные значения[1].

В принципе необходимо построение трех теорий: теории дифференциальных значений, теории сигнификативных значений и теории денотативных значений. Между множествами дифференциальных, сигнификативных и денотативных значений можно, видимо, установить некоторые отношения, которые не обязательно должны быть изоморфными. Исследование отношений между тремя множествами значений является задачей особой дисциплины, которую, может быть, имеет смысл назвать структурной семантикой.

1.2. Структурная лексикология в изложенном понимании имеет, в частности, следующие задачи: 1) установление всех лексических инвариантов, т. е. элементов значимых противопоставлений в области лексики (соссюровских значимостей); 2) построение классов эквивалентных лексических элементов; 3) исследование возможностей компонентного анализа лексических элементов. По всей видимости, помимо этих аналитических задач структурная лексикология должна решать ряд задач синтеза (вопрос о порождающих моделях в области лексикологии выходит за рамки настоящей работы).

Для выполнения трех сформулированных выше задач предлагается использовать методы структурной лингвистики, особенно дистрибутивный и трансформационный анализ. Ниже излагается разработанный с этой целью аппарат и даются чисто иллюстративные примеры.

2.1. Зафиксируем исходные данные и допущения, положенные в основу нашей работы.

Считается заданным конечное множество лексических морфем. Они выступают в качестве лексических инвариантов на морфологическом уровне анализа. Однако на этом уровне нельзя описать всех различий лексических значений, релевантных в данном языке. Так, можно устано-

---

* В данной статье кратко излагается аппарат, который представляется автору необходимым для решения ряда вопросов структурной лексикологии. Возможные методики исследования, основанные на этом аппарате, подробно рассмотрены автором в работе «О понятиях и методах структурной лексикологии» (в печати).

[1] Термин «сигнификативное значение» приблизительно соответствует традиционному термину «содержание понятия» и терминам «смысл», «интенсионал», которые употребляются в современной символической логике. Термин «денотативное значение» приблизительно соответствует традиционному термину «объем понятия» и терминам «денотат», «референция», «экстенсионал», которые употребляются в современной символической логике.

вить значимое противопоставление лексических значений слов *бегать* и *идти* на том основании, что имеется противопоставление двух разных лексических морфем *-бег-* и *-ид-*. Но различия между такими употреблениями второй морфемы, как *он идет по улице* и *время идет*, интуитивно вполне очевидные, на морфологическом уровне не могут быть описаны.

Предполагается, что различие между любыми двумя лексическими значениями, если оно релевантно в данном языке и не выражается на морфологическом уровне, выражается структурно в различиях, фиксируемых на синтаксическом уровне анализа. Понятие синтаксического уровня разъясняется в 2.3.1.

2.2. *Предполагается далее, что исследователь может отличить отмеченную фразу от неотмеченной и установить синтаксическую структуру отмеченной фразы.* Разберем обе части этого утверждения.

2.2.1. Понятие «отмеченности» применительно к естественным языкам еще не формализовано. Поэтому и в настоящей работе используется интуитивное понятие отмеченности, которое поясняется содержательно.

Содержательно отмеченную фразу вообще можно описать как такую фразу, в которой соблюдены предписываемые данным уровнем анализа ограничения. Ограничения могут быть чисто грамматическими, грамматическими и лексическими, грамматическими, лексическими и стилистическими и т. д. В соответствии с этим в современной лингвистике используются различные понимания отмеченности.

Многие исследователи (например, Н. Хомский) считают отмеченной всякую фразу, которая построена с учетом хотя бы грамматических ограничений. С этой точки зрения фразы *бесцветные зеленые идеи бешено спят* и *я обедаю о тебе* должны быть признаны отмеченными (вторая фраза законна потому, что в принципе русскому глаголу как грамматическому классу свойственно предложное управление). Другие исследователи (например, З. Харрис) развивают более узкое понимание отмеченности, в силу которого допустимой считается фраза, построенная с учетом и грамматических, и лексических ограничений (последнее обозначает типичную для данного языка лексическую сочетаемость). С этой точки зрения фразы *бесцветные зеленые идеи бешено спят* и *я обедаю о тебе* должны быть признаны недопустимыми.

Мы полагаем, что помимо грамматических, лексических и стилистических ограничений при построении фраз учитывается по крайней мере еще один тип ограничений, которые можно назвать лексико-грамматическими. Ограничения, связанные, например, с управлением, являются ограничениями именно такого рода, поскольку они зависят одновременно и от грамматической природы того или иного элемента, и от его лексической природы (ср. разницу в управлении в таких случаях, как *взять крепость — взятие крепости*; *взять крепость — овладеть крепостью*).

В соответствии с этим мы будем считать отмеченной любую фразу, которая построена с учетом грамматических и лексико-грамматических ограничений. Поэтому такие фразы, как *я обедаю о тебе*, *он ввергает*, *хороший он*, *две мили идутся им* и т. п. считаются неотмеченными, а такие фразы, как *Изба жует пахучий мякиш тишины*, *зеленые идеи*, *любить аксиоматично* и т. п. считаются отмеченными.

2.2.2. Перейдем к вопросу об установлении структуры отмеченной фразы. Для того чтобы установить структуру отмеченной фразы, необходимо: 1) знать грамматические классы эквивалентных элементов, 2) уметь относить каждое слово фразы к тому или иному грамматическому классу, 3) уметь устанавливать синтаксические связи между словами.

Предполагается, таким образом, что, приступая к анализу лексики, исследователь должен иметь в своем распоряжении элементарную грамматическую модель. Для нашей работы предполагается заданной модель типа фризовской, т. е. грамматические классы N (существительное),

A (прилагательное), *V* (глагол), *D* (наречие) и список служебных элементов (как слов, так и морфем).

2.3.1. Следующий шаг состоит в том, что вводится понятие синтаксического уровня анализа, который складывается из дистрибутивного и трансформационного уровней. Трансформационный уровень считается более высоким, чем дистрибутивный, а синтаксический уровень в целом — более высоким, чем морфологический.

2.3.2. Дистрибутивный уровень анализа задается понятиями ориентированной фразы (в дальнейшем сокращенно «фразы»), дистрибутивной формулы и конструкции, а также операциями свертывания и развертывания фраз, дистрибутивных формул и конструкций.

В силу допущения (3) в любом предложении (отмеченной фразе) можно выделить некоторое слово и, задав его в качестве ядра, построить вокруг этого слова цепочку слов, каждое из которых синтаксически непосредственно связано с ядром (из однородных связей удерживается только одна). Такая цепочка слов называется фразой, ориентированной относительно данного ядра. Например, в предложении *Громадная толпа народа приветствовала на площади великого писателя* относительно ядра *приветствовала* строится фраза *Толпа приветствовала на площади писателя.*

В силу допущений (1) и (2) мы можем отнести каждое слово фразы к определенному грамматическому классу. Отобразив все элементы ориентированной фразы, за исключением ядра, в соответствующие классы, мы получим дистрибутивную формулу N^1_n *приветствовала на* $N^2_p N^3_a$ [2]. Отобразив все элементы фразы в соответствующие классы, получим конструкцию: $N^1_n V$ *на* $N^2_p N^3_a$. Дистрибутивные формулы и конструкции считаются отмеченными, если им отвечает хотя бы одна отмеченная фраза.

Фраза, дистрибутивная формула и конструкция могут быть представлены как цепочки позиций. Если та или иная позиция может быть замещена или опущена без нарушения отмеченности данной фразы, она называется факультативной. Так, во фразе *Толпа приветствовала на площади писателя* позиция на N^2_p (*на площади*) является факультативной; ср. *Толпа приветствовала писателя.* От факультативных позиций отличаются мнимые и обязательные позиции. Мнимые позиции не могут быть замещены без нарушения отмеченности фразы, т. е. мнимые позиции — это те, которых во фразе нет. Так, во фразе *Никто не пришел* перед *N* нет позиции *A*. Обязательные позиции не могут быть опущены без нарушения отмеченности фразы. Примером обязательной позиции является позиция N^3_a (*писателя*) во фразе *Толпа приветствовала на площади писателя* (ср. недопустимость фразы *толпа приветствовала на площади*).

Замещенная факультативная позиция называется развернутой. Незамещенная факультативная позиция называется свернутой. Фраза, дистрибутивная формула или конструкция, в которой замещены все факультативные позиции, называется развернутой. Фраза, дистрибутивная формула или конструкция, в которой замещена часть факультативных позиций, называется частично развернутой. Фраза, дистрибутивная формула и конструкция, в которой не замещена ни одна факультативная позиция или конструкция, называется свернутой.

2.3.3. Трансформационный уровень анализа задается списком трансформаций и понятиями трансформационного комплекса фраз, дистрибутивных формул и конструкций. В соответствии с общепринятой методикой считается, что фраза допускает трансформацию, если трансформ этой фразы обладает отмеченностью; фраза не допускает трансформации, если ее трансформ не обладает отмеченностью.

[2] Подстрочные маленькие латинские буквы обозначают падежи, надстрочные цифры — разные элементы одного и того же грамматического класса. $\overline{V}$ — инфинитив, $V_{\emptyset}$ — безличная форма глагола; *pV* — глагол с приставкой; $\frac{N}{vn}$ — отглагольное существительное. Предлоги и некоторые окончания не шифр ются.

Если фразы Φ_1 и Φ_2, ориентированные относительно одного и того же элемента, допускают трансформацию T, они образуют со своими трансформами Φ_1^T и Φ_2^T единый трансформационный комплекс фраз: $\Phi_1 \rightarrow \Phi_1^T$, $\Phi_2 \rightarrow \Phi_2^T$. Фраза Φ_3, не допускающая этой трансформации, не входит в данный трансформационный комплекс. Отобразив все элементы трансформационного комплекса фраз, за исключением ядра, в соответствующие классы, получим трансформационный комплекс дистрибутивных формул. Отобразив все элементы трансформационного комплекса фраз в соответствующие классы, получим трансформационный комплекс конструкций.

Пример. Пусть у нас имеется фраза *Письмо содержит намек* и предложная трансформация, преобразующая ее в трансформ *В письме содержится намек*. Рассмотрим еще следующие две фразы: *Руда содержит железо* и *Отец содержит семью*. Первая из них допускает предложную трансформацию; ср. *В руде содержится железо*; вторая фраза этой трансформации не допускает (ср. недопустимость *в отце содержится семья*). Из этого следует, что фразы *Письмо содержит намек* и *Руда содержит железо* образуют единый трансформационный комплекс, в который фраза *Отец содержит семью* не входит. Трансформационные комплексы дистрибутивных формул и конструкций для первых двух фраз имеют следующий вид:

$$N_n^1 \textit{ содержит } N_a^2 \rightarrow \textit{в } N_p^1 \textit{ содержится } N_n^2$$

$$N_n^1 V N_a^2 \rightarrow \textit{в } N_p^1 V \textit{ ся } N_n^2$$

2.4. При символической записи дистрибутивных формул и конструкций возникает одна существенная трудность: символы N, A, V, D естественно воспринимать как обозначающие любой элемент соответствующего класса. Однако фактически, в условиях принятого нами понимания отмеченности, они обозначают не любой, но лишь некоторые элементы классов. Так, в конструкции $N_n^1 V N_g^2$ позицию V могут замещать глаголы *хотеть*, *желать*, *жаждать*, *просить*, *добиваться*, *искать*, *домогаться* и т. д., но не глаголы *читать*, *любить*, *сидеть*, *ехать*, *вмещать* и т. д. Дело в том, что любая конструкция жестко ограничивает выбор элементов, т. е. возможные значения символов, причем ограничения распространяются не только на ядерную, но и на другие позиции. Символы как будто теряют ясный смысл. Положение нельзя поправить введением более дробных символов, потому что их у нас нет. Задача заключается именно в том, чтобы их получить.

Эту трудность можно преодолеть, если каждый раз при использовании символов четко указывать, в каком смысле они употреблены. Это достигается постановкой кванторов всеобщности и экзистенциальности перед дистрибутивными формулами и конструкциями или комплексами дистрибутивных формул и конструкций. Кванторы снимают двусмысленность символов. Так, трансформационный комплекс $N_n^1 V N_a^2 \rightarrow$ *в* $N_p^1 V$ *ся* N_n^2 принимает с кванторами всеобщности и экзистенциальности следующий вид:

$$(N, V)\colon (N_n^1 V N_a^2) \rightarrow (\textit{в } N_p^1 V \textit{ ся } N_n^2)$$

$$(\exists N, V)\colon (N_n^1 V N_a^2) \rightarrow (\textit{в } N_p^1 V \textit{ ся } N_n^2)^3$$

Трудно сказать, имеет ли смысл связывать с этими двумя формулами какие-либо существенные лингвистические понятия, например различие между грамматикой и лексикой. Можно, однако, определенно сказать, что

[3] Знак квантора всеобщности (N, V) эквивалентен выражению «для всякого N, V»; знак квантора экзистенциальности $(\exists, N, V)$ эквивалентен выражению «существуют N, V, такие, что».

вторая формула дает возможность изучать факты лексики. В данной работе используется только эта формула.

Хотя в дальнейшем квантор экзистенциальности не ставится перед символической записью конструкций и операций, символическая запись в данной работе понимается исключительно в «экзистенциальном» смысле.

3.1. Выше было сказано, что анализ лексических инвариантов не заканчивается на морфологическом уровне. То, что считается элементарной единицей на низшем уровне анализа, обнаруживает сложность своего строения на синтаксическом уровне анализа. На синтаксическом уровне каждая лексическая морфема рассматривается как множество инвариантов. Элементы этого множества, т. е. лексические инварианты, получаемые на синтаксическом уровне анализа, именуются для удобства лексемами. Ниже излагается дистрибутивная и трансформационная методика разграничения лексем.

3.2. Рассмотрим следующие ориентированные фразы: *Он идет в столовую*, *Дети идут в школу* и *Дорога идет в Лондон*. Первая фраза может быть развернута следующим образом: *Он идет в столовую обедать*. Она может быть свернута (ср. *Он идет*). Если факультативные позиции обозначить круглыми скобками, то дистрибутивная формула, соответствующая этой фразе, примет следующий вид: N_n^1 *идет* (*в* N_a^2) $(\overline{V})$. Вторая фраза может быть развернута и свернута аналогичным образом; ср. *Дети идут в школу учиться* и *Дети идут*. Ей соответствует та же дистрибутивная формула. Третья фраза не допускает ни такого свертывания, ни такого развертывания. Ей соответствует дистрибутивная формула N_n^1 *идет в* N_a^2.

Тождество развернутых дистрибутивных формул является признаком тождества лексем, замещающих в них ядерную позицию. Различие дистрибутивных формул является признаком различия лексем, замещающих в них ядерную позицию. В соответствии с этим для рассмотренных фраз устанавливаются два лексических инварианта морфемы *-ид-*.

3.3. Все различия лексем, установленные на дистрибутивном уровне, считаются релевантными в данном языке, и эти случаи далее не анализируются. Случаи дистрибутивного тождества лексем рассматриваются на трансформационном уровне, так как анализ лексемы трансформационными методами может обнаружить различия, которые на дистрибутивном уровне не выражены.

Рассмотрим следующие ориентированные фразы: *Волны гнали корабль*, *Ветер гнал облака*, *Пастух гнал овец*. Пробуя различные развертывания для этих фраз, мы убеждаемся, что они не отличаются существенным образом друг от друга. Все они удовлетворяют развернутым дистрибутивным формулам N_n^1 *гнал*(*и*) N_a^2 (*на* N_a^3); N_n^1 *гнал*(*и*) N_a^2 (*из* N_g^3) (*в* N_a^4) и ряду других. Ср.: *Волны гнали корабль на рифы*, *Пастух гнал овец на пастбище*, *Ветер гнал облака на север*; *Волны гнали корабль из бухты в море*, *Пастух гнал овец из аула в горы*, *Ветер гнал облака из Норвегии в Швецию*. На первый взгляд во всех трех фразах имеется один лексический инвариант морфемы *-гон-* и, следовательно, все три фразы можно отождествить относительно этой морфемы.

Однако на трансформационном уровне анализа между ними вскрываются существенные различия. Фразы *Волны гнали корабль* и *Ветер гнал облака* допускают безлично-пассивную трансформацию (ср. *Корабль гнало волнами*, *Облака гнало ветром*) и поэтому могут быть представлены единым трансформационным комплексом дистрибутивных формул: N_n^1 *гнал*(*и*) $N_a^2 \rightarrow N_a^2$ *гнало* N_i^1. Фраза *Пастух гнал овец* не допускает этой трансформации (ср. **овец гнало пастухом*) и, следовательно, не входит в данный трансформационный комплекс.

Тождество трансформационных комплексов дистрибутивных формул

указывает на тождество лексем, занимающих в них ядерную позицию. Различие трансформационных комплексов дистрибутивных формул указывает на различие лексем, занимающих в них ядерную позицию. В соответствии с этим для рассмотренных фраз устанавливается два лексических инварианта лексемы *-гон-*.

3.4. Таким образом, на первом этапе работы в результате дистрибутивного и трансформационного анализа множества лексических морфем мы получаем множество лексем, т. е. множество лексических инвариантов. Основным инструментом установления лексем является свертывание, развертывание и трансформирование дистрибутивных формул.

4.1. На втором этапе работы множество лексем разбивается на классы эквивалентностей. Основным инструментом установления классов эквивалентных лексем является свертывание, развертывание и трансформирование конструкций. Признаком, на основе которого устанавливается принадлежность лексемы данному классу, является ее способность замещать ядерную позицию в определенной конструкции или комплексе конструкций. Можно сказать, что конструкции обладают известной диагностической силой, т. е. предсказывают тот или иной класс эквивалентных лексем. Так, конструкция $N_n^1 V N_d^2 \overline{V}$ диагностирует для позиции V небольшой класс лексем с каузативным значением; ср. *Я велел* (*предложил*, *предписал*, *посоветовал*, *приказал*) *ему уйти*. Конструкция $N_d^1 V \emptyset$ *от* N_g^2 диагностирует еще более узкий класс эквивалентных лексем; ср. *Мне попало* (*влетело*, *досталось*) *от отца*. Рассмотрим более подробно методику построения классов эквивалентных лексем.

4.2. Для получения классов эквивалентных лексем выбирается некоторая исходная конструкция, ядром которой является подлежащий разбиению грамматический класс, например класс V в конструкции $N_n^1 V N_a^2$. Исходная конструкция подвергается дистрибутивным и трансформационным преобразованиям, или операциям (свертываниям, развертываниям и трансформациям). Очевидно, что в нашем распоряжении будут лишь те операции, которые уже были использованы в ходе анализа лексических морфем. Все они будут обладать следующим свойством: для всякой операции найдется по крайней мере одна лексема, которая ее допускает, и по крайней мере одна лексема, которая ее не допускает. Пользуясь кванторами и логическими функциями, это свойство можно выразить следующим образом: $(R)\ (\exists x, y)$: (xRx'): $\wedge \sim (yRy')$, где R — операция x и y — произвольные фразы, ориентированные относительно интересующей нас ядерной позиции, а x' и y' — образы этих фраз, $\wedge$ — знак логической конъюнкции, эквивалентный выражению «и», а $\sim$ — знак логического отрицания, эквивалентный выражению «неверно, что». Это — очень важное свойство операций, поскольку оно обеспечивает нетривиальное разбиение исходного множества лексем на непустые подмножества.

4.3. На каждом этапе анализа применяется только одна операция. Класс лексем, занимающих в исходной конструкции ядерную позицию, разбивается на два новых класса эквивалентных лексем: класс K_1, члены которого допускают данную операцию, и класс K_2, члены которого ее не допускают.

Возникает вопрос о том, можно ли автоматически определить порядок применения различных операций к материалу. В принципе, видимо, это можно сделать. Для автоматического определения порядка применения операций используется следующее правило: любая операция разбивает исходное множество из n лексем на два непустых подмножества, одно из которых содержит m элементов, а другое — $(n - m)$ элементов. Номер операции в списке определяется значением p, вычисляемым по формуле

$$p = \frac{m\,(n - m)}{(n : 2)^2}.$$

Чем ближе значение p к единице, тем меньше номер операции в списке. Иными словами, список возглавляет та операция, которая разбивает исходное множество лексем на два подмножества, с равным или близким к равному числом членов в каждом. Список замыкает операция, разбивающая исходное множество на два таких подмножества, одно из которых содержит n — 1 или близкое к этому число лексем, а другое — одну лексему или близкое к единице число лексем. Между этими двумя крайними операциями располагаются в соответствии со сформулированным правилом все остальные операции. Высказанное здесь соображение является лишь гипотезой, которая пока не была проверена.

4.4. Рассмотрим пример. Пусть отправной точкой нашего анализа будет конструкция $N_n^1 V N_a^2$. Она диагностирует весьма широкий класс лексем; ср. *Профессор читает лекцию*, *Пастух гонит овец*, *Охотник убивает волка*, *Я люблю отца*, *Он перешел поле*, *Отец думал минуту*, *Гусар скачет вторую версту*, *Туша весила тонну*, *Письмо содержит намек*, *Лодка вмещает 10 человек* и т. д.

Пассивная трансформация разбивает этот класс на два новых класса: K 1 (со значением транзитивности) и K 0 (со значением нетранзитивности). Мы проанализируем K 0 и некоторые его подклассы. Каждый подкласс будет определен формально через набор единиц и нулей и описан перечислением некоторых входящих в него элементов.

K 01: $N_n^1 V N_a^2 \rightarrow N_n^1 V$ *в* $N_a^3 \bar{V}$, например: *бежать*, *идти*, *плыть*, *брести*, *скакать* и т. д.

K 00 : $\sim (N_n^1 V N_a^2 \rightarrow N_n^1 V$ *в* $N_a^3 \bar{V})$, например: *стоять*, *сидеть*, *лежать*, *болеть*, *думать*, *шутить*, *мечтать*, *дрожать*, *страдать*, *скучать*, *жить*, *содержать*, *насчитывать*, *иметь*, *стоить* и т. д.

K 001 : $N_n^1 V N_a^2 \rightarrow N_n^1 V$, например: *думать*, *скучать*, *шутить*, *мечтать*, *сидеть*, *лежать*, *стоять*, *жить*, *дрожать*, *болеть* и т. д.

K 000 : $\sim (N_n^1 V N_a^2 \rightarrow N_n^1 V)$, например: *содержать*, *заключать*, *насчитывать*, *стоить*, *весить*, *иметь* и т. д.

K 0001 : $N_n^1 V N_a^2 \rightarrow$ *в* $N_p^1 V$ *ся* N_n^2, например: *вмещать*, *содержать*, *заключать*, *насчитывать*, *иметь* и т. д.

K 0000: $\sim (N_n^1 V N_a^2 \rightarrow$ *в* $N_p^1 V$ *ся* $N_n^2)$, например: *стоить*, *весить*.

Легко заметить, что на каждом новом этапе получаются классы все более однородных семантически лексем.

4.5. Анализ небольшого материала позволил построить 24 класса эквивалентных лексем, причем некоторые из них были получены лишь на шестой ступени анализа. Вероятно, эту классификацию можно интерпретировать геометрически в виде n-мерного пространства, где измерения задаются операциями. Мы предпочитаем, однако, интерпретировать классификацию в виде дерева с классом эквивалентных лексем в каждом его узле (см. схему). Предложенная модель позволяет: 1) формально определить каждый класс, 2) формально определить отношения между классами, 3) разработать формальную методику для определения расстояний между классами. Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов.

4.5.1. Класс эквивалентных лексем определяется формально через набор операций, которые последовательно порождают его из некоторого исходного класса. Формальным определением класса может служить как набор операций, так и изоморфная ему запись вида 0, 1, 10, 01, 101, 010 и т. д. Отметим, что значение каждого элемента в этой записи меняется в зависимости от того: 1) является ли он 1 или 0, 2) какое место он занимает в определении (значение 1 в определениях 01 и 001 различно), 3) какая последовательность цифр ему предшествует (в определениях 110 и 100 последний 0 имеет разные значения).

4.5.2. Отношения между классами могут быть определены в терминах глоссематической модели Л. Ельмслева, т. е. в терминах зависимостей

трех видов: взаимозависимости, односторонней зависимости и свободной зависимости. Два класса эквивалентных лексем, порождаемых из предшествующего класса посредством одной и той же операции, находятся в отношении взаимозависимости друг к другу. Каждый из них находится в отношении односторонней зависимости с непосредственно предшествующим классом. Все другие отношения между классами являются отношениями свободной зависимости. Отметим, что формальные определения любой пары классов вполне точно выражают отношения между ними.

4.5.3. Расстояния между классами также можно определить на основе их формальных определений. Структурная близость классов вычисляется по простой формуле $S\ (K_i/K_j) = C - D$, где $S\ (K_i/K_j)$ — расстояние между произвольно выбранной парой классов, C — количество общих для них операций, а D — количество различных операций. Напомним, что одни и те же операции выражаются одним и тем же элементом (1 или 0), занимающим в определении одно и то же место после одной и той же последовательности элементов. Если отсутствует хотя бы одно из перечисленных условий, то операции являются различными.

5. Изложенная модель дает возможность проводить компонентный анализ лексем. Основой компонентного анализа лексемы на составляющие ее «семы» является формальное определение класса, к которому она принадлежит. Формальное определение класса задается набором порождающих его операций. Но любая операция может быть рассмотрена как сема, или семантический множитель (фактор); только определена эта сема структурно, т. е. рассматривается как значимость. Набор операций или сем, характеризующих класс, характеризует и любой из его элементов; все семы такого набора могут быть приписаны элементу в качестве его компонентов. Но содержание многих лексем не будет исчерпано этими компонентами. Можно, конечно, довести описание до конца, связав различие лексем внутри одного класса с их морфологическими различиями. Однако лучше попытаться найти менее тривиальный путь решения этой задачи.

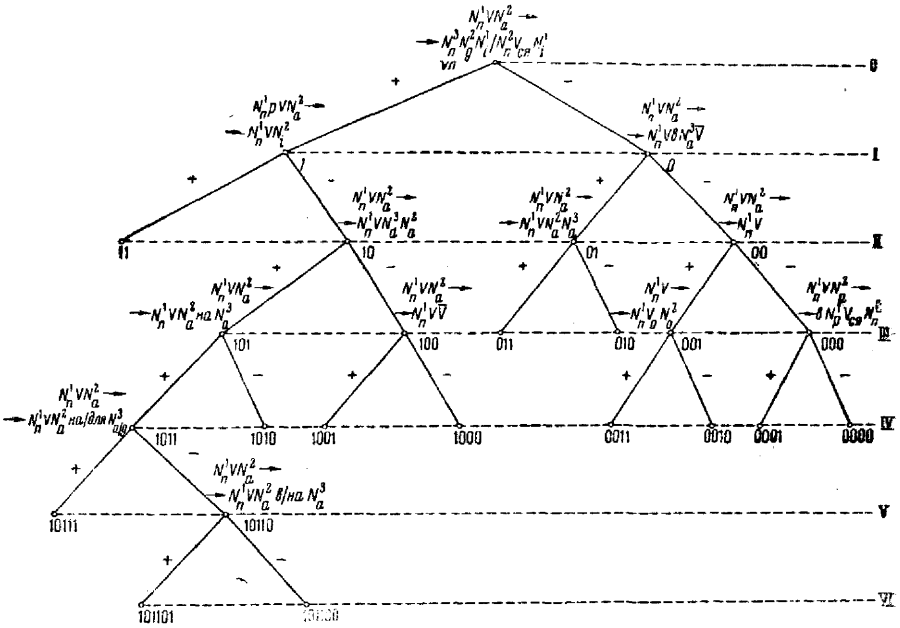
*

Ниже дается схема членения классов. В каждом узле дерева проставлена операция, порождающая из данного класса лексем два новых класса. Левая ветвь каждого куста ведет к классу, члены которого допускают данную операцию, а правая ветвь — к классу, члены которого не допускают данной операции. Эти свойства классов обозначены соответственно знаками + и —. Рядом с каждым узлом (за исключением исходного) стоит формальное определение класса, т. е. запись вида 1, 0, 10, 01 и т. д. Римскими цифрами, стоящими справа, обозначено число ступеней в процессе ветвления дерева.

Перед этой схемой приводятся краткие иллюстрации, дающие представление о составе полученных классов эквивалентных лексем:

1: *читать, переходить, любить, говорить, гнать, узнавать...*
0: *бежать, лежать, думать, болеть, шутить, дрожать, расти...*
11: *перебежать, переехать, перейти, обойти, проехать...*
10: *ловить, открывать, резать, вбивать, чувствовать, читать, тянуть, калечить, любить, видеть, дрожать...*
01: *бежать, идти, плыть, бегать, ходить, плавать, летать...*
00: *стоять, болеть, думать, шутить, дрожать, жить...*
101: *ловить, заряжать, открывать, читать, красить...*
100: *ощущать, видеть, обожать, уважать, помнить, знать, понимать, чувствовать, обонять, воспринимать...*
011: *бежать, плыть, идти, ползти, лететь, брести, ехать...*
010: *бегать, ходить, плавать, ползать, летать, бродить...*
001: *думать, скучать, шутить, мечтать, сидеть, жить, болеть...*
000: *вмещать, содержать, насчитывать, иметь, стоить...*

1011: *везти, косить, шить, пилить, нести, учить, вести...*
1010: *держать, гасить, поднимать, улучшать, чистить...*
1001: *любить, предпочитать, обожать, ненавидеть...*
1000: *видеть, слышать, обонять, осязать, слушать, нюхать, ощущать, чувствовать, знать, понимать, помнить...*
0011: *думать, скучать, мечтать...*
0010: *сидеть, лежать, стоять, дрожать, болеть...*
0001: *вмещать, содержать, заключать, насчитывать, иметь...*
0000: *стоить, весить...*
10111: *шить, учить...*
10110: *везти, ловить, открывать, резать, рубить, убирать, класть, гнать, гнуть, тереть, пускать, бить, рвать...*
101101: *резать, рубить, молоть, тереть, косить, рвать...*
101100: *тащить, вести, везти, нести, слать, гнать...*



Формулу в узле 001 на уровне III следует читать так:

$$N_n^1\ V \rightarrow N_n^1\ V_0 N_p^2$$

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

Е. И. ШЕНДЕЛЬС

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ПОЛИСЕМИИ

В основе полисемии — как лексической, так и грамматической — лежит положение о том, что, несмотря на единство означаемого и означающего как двух сторон языкового знака, между ними нет прямолинейного соотношения. Один знак (одна единица выражения) может соответствовать нескольким элементам содержания и, наоборот, один элемент содержания может быть выражен разными знаками. Отсюда вытекает закономерная связь между полисемией и синонимией как явлениями одного порядка.

Наиболее четко эту закономерность сформулировал С. Карцевский, назвав ее «асимметрическим дуализмом языкового знака»[1]. По его мнению, омонимия и синонимия — не что иное, как две стороны одного всеобщего принципа, который заключается в том, что каждый знак входит одновременно в ряд значений того же самого знака и в ряд аналогичных значений, выраженных другими знаками. Определить значение знака можно только, зная его место на двух координатах. Оба ряда подвижны и открыты, так как в языке постоянно происходит перемещение, или транспозиция, знаков и их значений. Эти положения относятся ко всем значащим единицам языка. Правда, С. Карцевский называет любую многозначность омонимией, но в данном случае это — вопрос терминологии (очевидно, ради сохранения чисто внешней гармонии терминов «омонимы — синонимы»). Важно, что какой-то знак соответствует не одной точке в структуре содержания, а нескольким. Между ними можно установить смысловые связи, иногда мотивированные с точки зрения современного состояния языка, иногда лишь генетически воспроизводимые, иногда вовсе не связанные ни синхронно, ни диахронно. Можно условиться называть это явление во всех случаях полисемией или омонимией для того, чтобы элиминировать в случае необходимости очень сложную проблему разграничения омонимии и полисемии. В данной статье условно используется термин «полисемия», хотя не подлежит сомнению, что полисемия некоторых падежных форм, например датива в немецком языке, иного происхождения, чем полисемия перфекта или футурума.

Полисемия в высокой степени присуща словоформам. Любая словоформа обычно передает пучок грамматических отношений. При этом в смысловом поле одной формы нередко оказываются объединенными внешне взаимоисключающие отношения. Так, в немецком языке перфект может относиться к прошедшему и будущему: *Hast du dich ausgeweint?*, *Hast du dich bald ausgeweint?* Даже претерит в несобственно прямой речи может передавать план будущего[2]: «Hochzeit würden sie dann im November feiern mit Pfeifen und Flöten — draußen in der Griesheimer Siedlung putzten sie ihre zwei Zimmerchen aus. Wenn er dann morgens zur Arbeit ging, wußte er über den ganzen Tag weg, daß die Elli abends daheim war... Sie bekamen einen Sohn, sie freuten sich» (A. Seghers, Das siebte Kreuz). Футурум относится к будущему и настоящему: *Das wird stimmen — Das*

[1] S. Karcevskij, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, I, 1929.

[2] См. «Der Große Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», Mannheim, 1959, стр. 112.

wird wohl stimmen. Пассив может иметь пассивное и активное залоговое значение: *Er wird angesprochen — Hier wird Deutsch gesprochen. Kinder, jetzt wird geschlafen.* Плюсквамперфект может выражать не только предшествование в прошлом, но и следование одного действия за другим: «Sie atmete tief aus und war Sekunden später eingeschlafen (L. Frank, Mathilde); «Kaum drei Minuten vergingen, bis alle... den Blick zu ihr erhoben hatten» (H. Mann, Die Göttinnen)[3].

Все эти факты давно уже привлекли внимание лингвистов и вызвали различные толкования. Многозначность форм заставила Л. Вейсгербера отказаться от традиционной терминологии[4]. Под его влиянием в грамматиках ФРГ все названия временных форм заменены описательными выражениями, ориентирующими лишь на формальную сторону: die erste Stammform (Präsens); die zweite Stammform (Präterit); die mit *habe/bin* + 2. Partizip umschriebene Form (Perfekt); die mit *werde* + Infinitiv umschriebene Form (Futurum); Umschreibung mit *würde* + Infinitiv (Konditionalis). Эта «реформа» почему-то не коснулась других грамматических терминов: названий падежей, наклонений, залогов и др. Не говоря уже о неудобстве замены старых кратких терминов громоздкими описаниями, этот поход против традиционной терминологии не оправдывает себя, так как старые обозначения давно уже стали условными.

Высокая степень полисемии многих словоформ побудила некоторых исследователей сделать вывод, что подобные словоформы вообще лишены грамматического значения. Это относится прежде всего к падежам. По мнению одних, все падежи лишены признаков грамматической категории: они представляют собой лишь изменения по функциональной линии[5]; по мнению других, только некоторые из падежей не обладают грамматическим значением[6]. Презенс иногда трактуют как форму, выражающую нулевую временную перспективу[7], индикатив — как форму, выражающую нулевую модальность. Подобные негативные решения скорее снимают проблему, чем намечают пути к ее разрешению. Многозначность превращается в доказательство отсутствия значения. В сущности других доказательств нет, так как данные формы, подобно всем другим, снабжены категориальными показателями и участвуют в системе корреляций.

Несравненно плодотворнее попытки найти ключ к объяснению грамматической полисемии. В этом плане большой интерес представляет путь, предлагаемый А. В. Исаченко,— путь нахождения смыслового инварианта[8].

Все частные значения формы рассматриваются как реализация некоего общего инвариантного значения, лежащего в их основе[9]. Анализ проводится на материале категории числа, которая, по мнению автора,

---

[3] Во всех этих случаях проявляются основное и второстепенные значения формы («примарные» и «секундарные функции», по терминологии Е. Куриловича, «Hauptbedeutung» и «Sonderbedeutungen», по терминологии Р. Якобсона).

[4] L. Weisgerber, Von den Kräften der deutschen Sprache, II — Vom Weltbild der deutschen Sprache, Düsseldorf, 1954.

[5] См.: В. Мигирин, К вопросу об определении категории падежа, «Р. яз. в шк.», 1953, 5; Д. А. Штелинг, О неоднородности грамматических категорий, ВЯ, 1959, 1.

[6] Ср. J. Kuryłowicz, Le problème du classement des cas, в его кн. «Esquisses linguistiques», Wrocław—Kraków, 1960. Е. Курилович различает «грамматические падежи» без семантической функции — И, В и Р и «конкретные падежи» с семантической функцией.

[7] См. H. Weber, Das Tempussystem des Deutschen und des Französischen, Bern, 1954.

[8] А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1.

[9] О нахождении инварианта падежных форм см. работы Р. Якобсона, который различает «Gesamtbedeutung» «spezifische Bedeutung» и «Grundbedeutung»: R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936; его же, Морфологические наблюдения над славянским склонением (состав русских падежных форм) [«American contributions to the Fourth international congress of slavists»], 's-Gravenhage, 1958.

не выражает численных отношений реальной действительности. Инвариантное значение числа — значение выраженной/невыраженной расчлененности. Все случаи мнимого противоречия, когда множественное число выступает в значении единственного (*брюки*, *трусы* и др.) или наоборот (*ловить рыбу* и др.), раскрываются как своеобразная языковая реакция на внеязыковую реальность: «...объективная расчлененность реального предмета в одних языках эксплицитно выражается, в других оставляется невыраженной»[10] (ср. *брюки* и *la culotte*). Вообще же и внутри одного языка представлены обе возможности (*весы*, но *безмен*; *качели*, но *качалка*). Анализ проводится с большим остроумием и тонкостью. А. В. Исаченко пришлось преодолеть немалые трудности для сведéния к инварианту разнообразных и подчас трудно поддающихся логической интерпретации случаев Pluralia tantum, а также для объяснения единичности (*моя*, *одна книга*) как «невыраженной расчлененности».

Признавая вполне возможным и плодотворным сведéние всех частных значений к инварианту, мы считаем весьма спорными некоторые другие положения, связанные с идеей инварианта, а именно: а) признание обязательной бинарности противопоставленных форм; б) признание обязательного соотношения маркированного и немаркированного членов оппозиции; в) признание того, что только маркированный (сильный) член связан с внеязыковой реальностью.

На обязательной бинарности всех элементов языковой структуры настаивает Р. Якобсон, считая, что дихотомическое деление органически присуще языковой структуре как таковой. В доказательство приводится три довода: а) бинарные оппозиции составляют наилучший код; б) дети воспринимают объекты попарно, а языком человек овладевает в детстве; в) фонологический анализ установил почти безупречную дихотомическую структуру[11]. Два первых довода носят чисто умозрительный характер, а третий не является доказательством в пользу дихотомической структуры всех аспектов языка[12]. Поэтому следует остановиться несколько подробнее на понятии бинарности.

Бинарность может быть понята по-разному. Можно понимать бинарность как бинарность формальную, как наличие только двух соотносительных форм или двух рядов форм. Именно такое понимание лежит в основе определения грамматической категории Д. А. Штелингом: «Грамматическая категория есть наиболее общее значение, данное в грамматическом строе языка как отношения путем противопоставления двух (и не более) взаимоисключающих друг друга по значению рядов (групп) форм. Это — единство взаимоисключающих противоположностей»[13]. Грамматическая категория действительно образуется минимум двумя рядами форм. Но в языках существует не меньше категорий, образованных тремя и более рядами, например, категории времени, лица, рода, наклонения, степеней сравнения, падежа, числа (в тех языках, где имеется двойственное число). Можно искусственно построить бинарные ряды такого рода: первое лицо и непервое лицо, мужской род и немужской род, настоящее время и ненастоящее время и пр., но это будет искусственной дихотомией, не отражающей реальной языковой картины. Синтез неминуемо приведет к восстановлению объективно существующих многочленных формальных рядов. Прав А. А. Реформатский, призывая различать «бинаризм подлинный», коренящийся онтологически

[10] А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 37.

[11] См. R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.

[12] А. А. Реформатский превосходно показал, что нельзя подгонять явления языка под «железную пяту дихотомии», что даже в фонологии дихотомия — не единственный принцип организации. См.: А. А. Реформатский, Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961.

[13] Д. А. Штелинг, указ. соч., стр. 63.

в самих явлениях системы языка, и «бинаризм эвристический», привнесенный путем применения логического приема дихотомии[14]. Оппозиции типа «ед. число/мн. число», «определенность/неопределенность» можно считать подлинно бинарными, но оппозиции «настоящее время / ненастоящее время» — это бинаризм эвристический.

Статья Д. А. Штелинга — яркий пример того затруднительного положения, в которое попадает исследователь, a priori ограничивший себя «шорами бинаризма». Обращаясь к конкретному грамматическому материалу английского языка, он вынужден оперировать многочленными временными, падежными и другими рядами и либо исключить их из разряда грамматических категорий, либо каким-нибудь способом свести их к бинарным противопоставлениям. Чтобы «спасти репутацию» такой грамматической категории, как время, которая состоит из трех рядов present, past, future, Д. А. Штелинг включает категорию времени в категорию наклонения, признавая только два истинных наклонения: изъявительное и сослагательное. Императив же совершенно произвольно выводится вообще из системы глагола. Также объявляются неполноценными грамматическими категориями падежи, род, степени сравнения и др. Разве не естественнее было бы, ориентируясь на языковую реальность, признать бинарность форм не единственным и обязательным критерием категории!

Иное, гораздо более тонкое понимание бинарности заключается в бинарности смысловых оппозиций. Смысловые взаимоотношения любого многочленного ряда форм можно свести к бинарным признакам, а именно — к наличию или отсутствию данного значения (признака) у членов оппозиции. Именно такое понимание бинарности лежит в основе исследований Р. Якобсона, посвященных глагольным и падежным корреляциям в славянских языках: «Если категория I сигнализирует о наличии А, то категория II не сигнализирует о наличии А; это значит, что она не указывает на то, имеется или не имеется А. Общее значение категории II по отношению к категории I ограничивается отсутствием сигнализации А»[15].

Все значения падежей Р. Якобсон свел к трем основным признакам: направленность, объемность, периферийность. В зависимости от того, выражается или не выражается данный признак падежными формами, образуются различные группировки. При этом один падеж попадает в разные оппозиции, а одна оппозиция может охватывать несколько падежей. Например, В противопоставлен И по признаку выраженной/невыраженной направленности; он же противопоставлен Р по признаку объемности и Т — по признаку периферийности. В то же время один признак может быть присущ или неприсущ разным формам; например, направленность выражают В и Д, периферийность — Д и Т, объемность свойственна только Р и не свойственна всем другим падежам.

Р. Якобсон проиллюстрировал возможность применения дихотомического метода к анализу грамматических форм и их значений, но не бинарность как свойство самой системы. Наоборот, он показал, что каждая падежная форма представляет собой пучок смысловых оппозиций, а один и тот же признак может проявляться у разных форм[16]. Дихотомический метод анализа — это метод сегментирования значений, но не имманентное свойство языка. Как метод он может быть весьма эффективным, но нельзя настаивать на том, чтобы он был единственным. Можно изучать грамматические значения, и не прибегая к дихотомии.

---

[14] А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 113.

[15] См. R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, сб. «Charisteria Gvivelmo Mathesio... oblata», Pragae, 1932, стр. 74.

[16] Иную систему противопоставлений намечает И. И. Ревзин, но и в его системе каждый падеж можно представить как пучок противопоставлений (см. И. И. Ревзин, О сильных и слабых противопоставлениях в системе падежей современного немецкого языка, ВЯ, 1960, 3, стр. 85).

Второе спорное положение в теории инвариантов — это признание обязательного соотношения членов оппозиции как маркированного (сильного) и немаркированного (слабого). Можно говорить о внешней и внутренней маркированности. Что касается внешней маркированности, то, учитывая нулевые показатели, следует признать все формы маркированными. Но даже без «нулевого знака»[17] имеется множество оппозиций, в которых все члены маркированы, например определенность/неопределенность, выраженная двумя артиклями, личные формы глагола в русском и немецком языках, формы косвенных падежей, формы прошедшего и будущего времен и др. Поэтому нельзя утверждать, что в каждую оппозицию входит внешне немаркированный член.

Что касается внутренней или смысловой маркированности (наличие или отсутствие признака-значения), то, поскольку грамматические формы многозначны и представляют собой пучок оппозиций, ни одну из них нельзя квалифицировать как немаркированный, или слабый член вообще, так как в одной оппозиции он будет слабым членом, зато в другой — сильным. Нет такой формы, единственное назначение которой состояло бы в сигнализации отсутствия чего-то. Например, В — слабый член по отношению к Т и Д по признаку периферийности, слабый член по отношению к Р по признаку объемности, но зато сильный член по отношению к И и Т по признаку направленности; Р — слабый член по признаку направленности, но сильный член по признаку периферийности. Весьма условный характер носит само определение внутренней маркированности. Оно в значительной мере зависит от термина, избранного исследователем (особенно от употребления негативных аффиксов и антонимов), и от приложения этого термина к тому или иному члену оппозиции. Можно с таким же успехом изменить соотношение маркированного и немаркированного членов, если изменить термины и исходить из того, что́ выражает одна форма и чего не выражает другая (ведь каждая форма что-то выражает и чего-то не выражает). Например, если исходить из формы И, который выражает активность и тесную связь с действием [18], то все остальные падежи окажутся на другом полюсе в качестве слабых членов. Если же отправляться от В, выражающего пассивность, то И окажется слабым членом.

А. В. Исаченко считает ед. число слабым членом, а мн. число сильным, пользуясь терминами «выраженная/невыраженная расчлененность». А если использовать термин «цельность»? Тогда можно считать ед. число сильным членом, а мн. число слабым и говорить о выраженной/невыраженной цельности. Нам кажется, что нельзя слабые члены квалифицировать как беспризнаковые, т. е. характеризовать их лишь негативно; значение каждой формы может быть позитивно сформулировано[19].

«Обеднение» слабых членов становится еще более очевидным, если признать вместе с А. В. Исаченко, что «с л а б ы й член грамматической оппозиции своим значением (десигнатом) непосредственно никак не связан с внеязыковой действительностью, не „отражает“ и не „стилизует“ ее. Грамматическое значение с л а б о г о члена оппозиции и следует признать „чисто реляционным“, или „внутриязыковым“. Грамматическая значимость (valeur) слабого члена оппозиции определяется исключительно только местом данного члена оппозиции в системе»[20].

---

[17] См. G. F. M e i e r, Das Zéro-Problem in der Linguistik, Berlin, 1960. В этой работе после детальнейшего анализа автор приходит к выводу о несуществовании нулевых знаков.

[18] См. Е. В. Ч е ш к о, К вопросу о падежных корреляциях, ВЯ, 1960, 2. Позитивную формулировку Е. В. Чешко в отношении И можно, по нашему мнению, распространить на все слабые члены.

[19] В отношении фонологической системы А. А. Реформатский убедительно показал неэффективность формулы *а—не-а*. Сопоставление «глухость — звонкость» не есть сопоставление некоего качества и его отсутствия (см. А. А. Р е ф о р м а т с к и й, указ. соч.).

[20] А. В. И с а ч е н к о, указ. соч., стр. 40.

Если один член оппозиции (например мн. число) связан с реальной действительностью, а другой нет (ед. число), то где же tertium comparationis, благодаря которому возможна корреляция противопоставленных форм? Ведь оба члена оппозиции связаны общими свойствами, кроме одного, на основе которого происходит их дифференциация. Иначе окажется неправомерным само их сопоставление. А если учесть, что каждая форма представляет собой пучок оппозиций, что она может входить в разные ряды, где она выступает то как сильный, то как слабый член, что само определение сильного и слабого членов условно, то в плане соотнесения с реальной действительностью оба члена оказываются равноценными.

Все высказанные сомнения отнюдь не направлены против самой идеи нахождения инварианта. Однако эта идея не обязательно сопряжена с признанием закона бинарности и негативной характеристикой слабых членов оппозиции[21]. Одной из задач лингвистического исследования является раскрытие общего значения грамматических форм.

Каков же должен быть метод отыскания инварианта? Очевидно, инвариант выводится после установления всех частных значений формы, так как практически невозможно постигнуть инвариант до выявления всех его реализаций. В данной статье мы остановимся лишь на этом первом этапе исследования.

Значение большинства грамматических форм бывает сложным, комплексным. Любая личная форма передает значения процесса, времени, лица, числа, наклонения и т. д. Любая падежная форма в русском языке передает значение предметности, падежа, числа, рода; в немецком языке, кроме того,— значение определенности/неопределенности и пр.[22]. Все созначения слиты воедино. В целях анализа требуется вычленить отдельные созначения, для чего мы используем термин «сема». Под семой понимается каждый дискретный элемент грамматического значения, поддающийся вычленению в семантическом плане. Сема — это минимальный выделяемый элемент грамматического значения, она неделима[23].

Значение большинства форм состоит из нескольких сем. Например, значение словоформы перфекта в контексте *Ich habe dich nicht verstanden*, включает семь сем: процесс, прошедшее время, законченность действия, активная направленность на объект, достоверность, 1-е лицо, ед. число. Семы могут быть релевантными и нерелевантными для данной формы. Например, семы: «1-е лицо, ед. число, активная направленность, достоверность» нерелевантны для формы «перфект», так как, заменяя их другими коррелятивными, мы не нарушим категориальной сущности перфекта. Ср.: *Du hast mich nicht verstanden*, *Ihr habt mich nicht verstanden*. *Ich bin nicht verstanden worden*, *Als ob er mich verstanden habe!* Релевантными семами перфекта будут, очевидно, сема «завершенность» и сема «прошедшее время», ибо именно они передают категориальную специфику

[21] Гораздо полнее отражает действительность классификация оппозиций Н. Трубецкого, который, кроме привативных оппозиций, выделял еще градуальные (ступенчатые) и эквиполентные (равнозначные), причем считал эквиполентные оппозиции самыми частыми оппозициями в любом языке (см. Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 82—83). Из этих трех видов оппозиций в учении Р. Якобсона возведен в абсолют только один вид — привативные оппозиции. На многообразие отношений между членами оппозиции указывал неоднократно и В. Брёндаль (см. V. Brøndal, Essais de linguistique générale, Copenhague, 1943).

[22] В. Г. Адмони насчитывает 11 значений формы *Hunde* в предложении *Die Hunde bellen* (см. В. Г. Адмони, О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю, ВЯ, 1961, 2, стр. 44).

[23] Приводя примеры комплексных значений таких форм, как *ел*, *звал*, *брал*, *дал*, О. С. Ахманова, автор первой главы книги «О точных методах исследования языка», совершенно правильно замечает: «Теоретически рассуждая, каждое из отдельных значений, содержащихся в сложных комплексах, подобных только что приведенным, может быть абстрагировано, умственно выделено в качестве „минимальной единицы значения“, и вполне естественно предположить, что пользующиеся языком и производят интуитивно подобного рода аналитические операции» (см. О. С. Ахманова, И. А. Мельчук и др., О точных методах исследования языка, М., 1961, стр. 7).

перфекта. Нерелевантность сем не означает, что они не важны, не существенны, могут быть элиминированы. Перфект без сем лица и числа невозможен. Но не эти семы отличают перфект от других временных форм.

Совокупность сем формы при употреблении ее в одном речевом отрезке составляет «синхронную многозначность» данной формы (в данном случае семь перечисленных сем в тексте *Ich habe es verstanden*). Но в другом отрезке речи (в другом тексте) набор сем может измениться, причем эти изменения коснутся не только нерелевантных сем (изменения числа, лица, модальности, направленности действия), но и релевантных, что гораздо существеннее. В тексте *Während ich geschlafen habe...* вместо семы «законченность действия» появится сема «длительность действия». А в тексте *Hast du dich bald ausgeweint?* вместо семы «прошедшее время» появится сема «будущее время» при сохранении семы «законченность действия».

Разные семы выявляются в разных условиях. Совокупность сем формы при употреблении ее в разных речевых условиях составляет «потенциальную многозначность», или «общий объем значений» данной формы. Отсюда следует важность исследования значения формы в разных речевых условиях. Перенесение формы в разные речевые условия — это есть дистрибуция формы, понимаемая, однако, шире, чем это принято в дескриптивной лингвистике. Это явление можно назвать также «транспонированием формы»[24]. Зависимость значения формы от речевых условий ее употребления предопределяет необходимость рассмотрения морфологических форм в синтагматическом плане, в процессе (а не только в плане парадигматики)[25].

Следующие элементы в речи могут влиять на грамматическое значение формы, способствуя реализации или погашению тех или иных сем.

1. Значение того лексического материала, который заполняет структуру (словоформу). Этот фактор можно назвать «внутренней лексической обусловленностью»[26]. Влияние словаря на грамматическое значение может происходить в двух направлениях. Во-первых, происходит влияние лексического значения слова на значения падежей, артикля, числа, вида, причастия и др. Во-вторых, лексика налагает ограничения на употребление формы, выполняет «ограничительную функцию»[27]. Например, причастие II в немецком языке может быть образовано от любого глагола, но причастия глаголов непереходных, непредельных *gegangen*, *geschlafen*, *gestanden*, *gelebt* употребляются не самостоятельно, а только как часть аналитических форм. Сочетание *ein geschlafener Knabe* невозможно. Предельные глаголы таких ограничений не знают. Лексически ограничены все падежи в адвербиальном употреблении. В качестве Р со значением места выступают лишь несколько слов — *Weg*, *Straße*, *Pfad*, *Ort*; также ограничен выбор глаголов — *gehen*, *ziehen*, *kommen*. Любопытное ограничение наблюдается в отношении абсолютного В в немецком языке. Он возможен лишь в том слу-

[24] Термин С. Карцевского (указ. соч.). Превосходный образец анализа транспонирования формы повелительного наклонения в русском языке дал А. В. Исаченко в статье «К вопросу об императиве в русском языке» («Р. яз. в шк.», 1957, 6).

[25] Обстоятельное обоснование этой точки зрения см. у Мейера (G. F. Meier, указ. соч.).

[26] А. В. де Гроот называет распределение грамматической формы среди лексического материала «синтагматической дистрибутивностью» в отличие от «синтаксической дистрибутивности» (см. A. W. de Groot, Classification of cases and uses of cases, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956).

[27] Интересный материал по ограничительной роли лексики в отношении синтаксических моделей содержат работы Н. Ю. Шведовой: «Проблема лексических ограничений как одна из проблем изучения истории синтаксиса русского литературного языка XVIII—XIX вв.» (ВЯ, 1960, 6); «О некоторых типах фразеологизированных конструкций в строе русской разговорной речи» (ВЯ, 1958, 2); «Очерки по синтаксису русской разговорной речи» (М., 1960); см. также статью Д. Н. Шмелева «О „связанных" синтаксических конструкциях в русском языке» (ВЯ, 1960, 5).

чае, если существительное в В или связанное с ним предлогом обозначает часть тела (или метонимически одежду, а также взгляд, выражение лица). Например: «Dort seh ich die Liebste stehen, feuchte Wehmut in den Blicken» (Heine, Gedichte); «Mit geweiteten Augen, Blässe im Gesicht, versuchte er es wieder zusammenzustellen» (E. Strittmatter, Der Ochsenkutscher).

2. Лексическое значение слов, сочетающихся с данной грамматической формой. Этот фактор можно назвать «внешней лексической обусловленностью». Обычно такими словами являются наречия времени, образа действия, модальные слова, союзы[28]. Они могут действовать как «переключатели»: включать или выключать те или иные семы. Например, наречие *bald* выключает сему «прошедшее время» в форме перфекта: «Hast du dich bald ausgeweint?». Союз *während* выключает сему «законченность действия»: *während ich gegessen habe*... Модальное слово *wohl* включает сему «предположительная модальность» в форме футурума. Предложение *Setz dich, du wirst müde sein* может быть понято двояко: «Садись, иначе ты устанешь» и «Садись, ведь ты, наверно, устал». Эта двусмысленность устраняется при помощи слова *wohl*: *Setz dich, du wirst wohl müde sein.*

3. Включение грамматической формы в определенную синтаксическую структуру, или «структурная обусловленность». Например, пассив в структуре безличного предложения приобретает значение активного действия: «Wo die blauen Hemden auftauchen, wird gelacht, gescherzt und gesungen» (Bredel, Die Enkel).

В этой необычной для нее конструкции глагольная форма пассива лишена своих синтаксических опор, в первую очередь подлежащего — предмета, который подвергается воздействию, во вторую очередь косвенного дополнения, обозначающего деятеля. Такая транспозиция формы приводит к выключению релевантной семы «пассивность» (или «направленность действия на подлежащее»). В результате в данной конструкции оказалось возможным употребить любой непереходный глагол: *Jetzt wird ins Bett gegangen*; «In Straßenbahnwagen und Cafés wurde hitzig für und gegen den Streik Stellung genommen»[29] (F. C. Weiskopf, Abschied vom Frieden).

4. Влияние грамматического значения окружающих форм, которые могут способствовать выявлению тех или иных сем данной формы. Это относится прежде всего к значению временных форм. При поддержке футурума презенс и перфект транспонируются в план будущего. Например, «Aber es wird nicht lange dauern, und der Gott erwacht und reibt sich die verschlafenen Augen und lächelt — und unsere Welt ist zerronnen in nichts, ja, sie hat nie existiert» (Heine, Ideen).

В окружении перфекта футурум II включается в план прошедшего времени, например: — *Wo bist du gestern hingekommen? — Wo werde ich hingekommen sein? Nach Hause gegangen bin ich.* Относительное временное значение форм также устанавливается лишь на общем грамматическом фоне.

5. Синтаксическая функция формы, или «синтаксическая обусловленность». Так, значения падежей определяются с учетом их синтаксической функции. Инфинитив в каче-

---

[28] Лексические значения слов, семантически аналогичные грамматическим значениям другого разряда и взаимодействующие с ним, В. Г. Адмони называет «информализованными» грамматическими значениями. См. В. Г. Адмони, Партитурное строение речевой цепи и система грамматических значений в предложении, «Научн. доклады высшей школы. Филологич. науки», 1961, 3 (15), стр. 11.

[29] Но если сохранена обычная конструкция пассивного предложения и в него включена пассивная форма непереходного глагола, то эта форма сохраняет свою релевантную сему. Ср. шутливо-ироническое: *Er ist gegangen worden* «его ушли» (в смысле «его уволили») (см. «Der Große Duden», стр. 117).

стве одночленного предложения приобретает новые семы: *Aufpassen*! *Nur nicht nachgeben*?

6. Интонация («интонационная обусловленность») может действовать также как «переключатель» в отношении сем грамматической формы. Так, сема «повелительная модальность» реализуется в форме футурума индикатива только посредством интонации, например: *Du wirst es machen!* Очень часто взаимодействуют несколько факторов, например: *Jetzt wird sich gewaschen*! «Ну, а теперь мыться!». В глагольной форме «погашается» сема «пассивность» благодаря синтаксической обусловленности (включение в безличную конструкцию) и лексической обусловленности (глагол *sich waschen* по своему значению не может обозначать пассивного действия). Сема «повелительная модальность» включается благодаря интонационной обусловленности.

Учет всех этих факторов должен помочь выявить полисемию грамматических форм. В зависимости от цели исследования раскрытие полисемии может явиться первым этапом на пути отыскания инварианта или первым этапом на пути выявления синонимических связей между словоформами.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

В. И. ПЕРЕБЕЙНОС

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ МНОГОЗНАЧНОГО ГЛАГОЛА

(На материале глагола *make*)

Отставание семасиологии от других областей науки о языке обусловлено прежде всего тем, что традиционные логико-семантические методы анализа лексического материала не могут обеспечить достаточно четких, объективных критериев для его научного описания и классификации. Определение значения при помощи этих методов не удовлетворяет основным требованиям определения, так как неизвестное определяется либо через неизвестное же (значение через значение же), что ведет к наличию круга в определениях, либо через единицы другой природы (через категории логики — понятия), что также не допускается в определении. Кроме того, эти методы базируются в основном на интуиции исследователя, а не на тщательном изучении языковых форм, использующихся для выражения каждого конкретного значения лексической единицы. Вследствие этого исследование значений носит субъективный характер, а результаты, к которым приходят исследователи, во многом не совпадают.

Особенно ярко это проявляется в лексикографии: и количество, и порядок расположения значений в словарной статье одного и того же слова никогда не совпадают в разных словарях даже одинакового объема. Очень часто словари, с одной стороны, объединяют под одной рубрикой заведомо разные значения слова, а с другой — одинаковые или близкие значения относят к разным рубрикам. Например, в статье *make* к одной и той же рубрике относятся такие случаи употребления этого глагола, как *Wealth makes man selfish* «Богатство делает человека эгоистичным» и *They made a long voyage* «Они совершили длинное путешествие» или *To make fast* «спешить» и *They made him a bishop* «Они сделали его епископом», сочетания же *to make a contribution* «сделать вклад» и *to make a proof* «доказать» или *to make a gun* «сделать винтовку» и *to make a road* «сделать дорогу» относятся к разным рубрикам.

Давно назрела необходимость найти максимально объективные формализованные методы изучения лексического материала, которые определяли бы значение через языковые элементы и отношения между ними, а не через что-то, лежащее вне языка. В работах по структурной лингвистике как в СССР (С. К. Шаумян, Ю. Д. Апресян и др.), так и за рубежом (Ч. Фриз, Дж. Керрол, З. Харрис, Н. Хомский и др.) неоднократно высказывалась мысль о возможности использования в семасиологических исследованиях структурных методов, в частности методов дистрибутивного, компонентного и трансформационного анализа и метода непосредственных составляющих[1].

---

[1] Попытки найти объективные критерии для разграничения значений многозначного глагола предпринимались и раньше в исследованиях, основанных на традиционных методах (см.: Р. С. Гинзбург, К вопросу о полисемантизме английского глагола. Канд. диссерт., М., 1948; ее же, Проблема значения слова, «Ин. яз. в шк.», 1952, 4; ее же, Смысловая структура слова, «Ин. яз. в шк.», 1957, 5; Р. С. Гинзбург, С. С. Хидекель, О работе над свободным словосочетанием, «Ин. яз. в шк.», 1958, 3; Н. Д. Артемюк, Развитие глаголов *do* и *make* в английском языке, *tun* и *machen* в немецком языке. Канд. диссерт., М., 1954).

Ниже излагается опыт применения структурных методов к разграничению значений одного из наиболее многозначных глаголов английского языка — глагола *make*. При этом мы исходили из следующих предпосылок: 1) в каждой языковой единице диалектически взаимодействуют ее форма и значение: не может быть языковой формы без значения, всякое значение обязательно облекается в языке в определенную форму; 2) всякое отношение языковых единиц является формой, используемой для выражения некоторого значения; 3) всякое высказывание — совокупность языковых форм, служащих для выражения нужного значения; 4) система формальных средств языка и система его значений представляет собою диалектическое единство. Раз значения в языке реализуются при помощи разнообразных форм, то представляется возможным изучать, разграничивать и научно описывать значения путем исследования системы языковых форм, используемых для их реализации.

Исследование проводится в синхронном плане на материале современного английского языка. Используется художественная, публицистическая и научная литература общим объемом в 2 миллиона слов[2] по 89 источникам. Основываясь на опыте в области машинного перевода и на высказываниях ряда советских и зарубежных ученых, было принято a priori, что текст объемом в одно предложение (от точки до точки) дает достаточную информацию для выявления каждого отдельного значения (или дизъюнкции значений) исследуемого глагола. Именно такой длины тексты и служили материалом исследования. Каждое предложение, содержащее исследуемый глагол, кодировалось, для чего был принят в несколько измененном виде код, предложенный Ч. Фризом[3].

1 — член первого функционального класса слов (существительные, местоимения и другие части речи, употребляющиеся как существительные)

$\overset{1}{he}$ — слово, заменяемое проморфемами[4] *he*, *she* (*man*, *lady etc*)

$\overset{1}{it}$ — слово, заменяемое проморфемой *it* (*gun*, *noise*, *steel etc*)

$\overset{1}{it/they}$ — слово, которое без изменения своей формы может заменяться как проморфемой *it*, так и проморфемой *they* (*army*, *cabinet*, *family*)

$\overset{1}{he/it}$ — слово, заменяемое проморфемами *he* и *it* (*child*, *dog etc*)

$\overset{1}{th}$ — слово, заменяемое словами *then*, *there*, *thus* без нарушения грамматичности предложения (*Next morning we went home*→*Then we went home*)

2 — член второго функционального класса слов (полнозначные глаголы)

2 — неопределенная форма глагола

2 — глагол в настоящем времени

2*d* — форма на *-ed* (и глагол в прошедшем времени, и причастие *Past Participle*)

2*ng* — форма на *-ing*

2*b* — глаголы, употребляющиеся в конструкции 1 *is* 1 (т. е. глаголы-связки)

---

[2] При подсчете количества слов в источнике за слово принималась любая буква или последовательность букв между двумя пропусками (пробелами). Такое определение слова принято в машинном переводе. Оно удобно для работы, хотя и не учитывает всех многочисленных проблем, связанных с определением слова в лексикологии.

[3] Ch. C. Fries, The structure of English. An introduction to the construction of English sentences, New York, 1952. Следует признать, что код Н. Хомского проще и экономнее. Однако, поскольку вопрос о том, какой код следует использовать, не имеет принципиального характера, нецелесообразно заново перекодировать материал.

[4] Под проморфемой понимаем (вслед за З. Харрисом) слово, являющееся заменителем какого-то другого представителя первого класса слов.

3 — третий функциональный класс слов (прилагательные и другие части речи, употребляемые как прилагательное)

4 — четвертый функциональный класс слов (наречия)

Группы функциональных слов

A — слова, которые могут стоять на месте артикля (*no*, *your*, *few*, *much*, *both*, *four*, *each*, *some*, *this* etc)

B[5] — вспомогательные и модальные глаголы

D — слова, стоящие перед словами класса 3 и 4 и определяющие их (*very*, *really*, *quite etc*)

F — предлоги.

В настоящей таблице приведены основные кодовые обозначения, часто повторяющиеся в формулах и играющие в них главную роль.

Помимо знаков кода употребляются различные индексы. Так, индексы — и + , стоящие под знаком кода, соответственно показывают единственное или множественное число. Если под знаком кода стоят сразу оба индекса, то слово без изменения формы может употребляться и в единственном, и во множественном числе. Эти индексы употребляются при знаках 1 и 2.

Большое значение имеет употребление буквенных индексов при знаках 1 и 2 (1^a, 1^b, 1^c, 1^d; 2^a, 2^b, 2^c и т. д.). Эти индексы показывают, относятся ли данные слова к одному и тому же или к разным объектам действительности. Если знак 1 несколько раз употреблен с одинаковым буквенным индексом, то он обозначает слова, относящиеся к одному и тому же объекту действительности. Например, *The student*, *my assistant*, *came into the room* кодируется $\frac{A1^a}{he}$, $\frac{A1^a}{he}$, $\frac{2^a_d}{t}$ $\frac{FA1^b}{it}$, а предложение *This practice makes the boy a swimmer* кодируется $\frac{A1^a}{it}$ $\frac{2A1^b}{he}$ $\frac{A1^b}{he}$. Формальным критерием для определения, относятся ли два слова к одному и тому же или к разным объектам действительности, служит конструкция 1 *is* 1. Если подстановка двух данных слов, обозначенных 1, в эту конструкцию возможна[6], значит они относятся к одному и тому же объекту действительности и должны иметь одинаковый индекс. Буквенный индекс при знаке 2 указывает на один и тот же или разные глаголы. Для удобства обработки материала исследуемому глаголу всегда присваивается индекс *a*.

Полученные в результате кодирования формулы предложений слишком детализированы и громоздки, что затрудняет работу с ними и почти исключает возможность классифицировать их. С целью придания формулам более компактного и более обобщенного вида проводится свертывание их по следующим правилам:

1) символом 1 обозначаются все разновидности сочетания слов класса 1 со словами классов 3 и 4 и групп *A* и *D*, как например *A*1, *A*31, *AD*31, *A*331, *AD3D*31 и т. д.; 2) все сочетания слов класса 2 со словами группы *B* свертываются следующим образом: 2, 2*d*, *B*2-, *Bd*2-, *Bnot*2-, *Bdnot*2-; *Bb*2*ng*, *Bbd*2*ng*, *BBb*- 2*ng*, *BdBb*-2*ng*; *B*2*d*, *Bd*2*d*, *BB*-2*d*; *BBbd*2*ng*, *BdBbd*2*ng* и т. д. обозначаются знаком 2. *Bb*2*d*, *Bbd*2*d*, *BBb*-2*d*, *BdBbng*2*d*, *BBbd*2*d* и т. д.— знаком 2*p* (глагол в пассиве). 2*ng*, *Bng*2*d* обозначаются через 2*ng*; *BngBbd*2*d* — как 2*png*; 3) символом 3 обозначаются последовательности из нескольких 3 или из 3 и *D*, если они не стоят перед 1 или между *A* и 1; 4) последовательности, состоящие из нескольких 4 или из *D* и 4, если они не стоят перед 3 или между *A* и 1, обозначаются символом 4.

Полученные таким образом формулы предложений подвергаются анализу с целью установления критериев для разграничения значений гла-

[5] Знак *B* может употребляться с теми же индексами, что и знак 2.

[6] Этот вопрос подробно освещен в указанной работе Ч. Фриза.

гола. Анализ проводится по следующей схеме: 1) расположение предложений в порядке нарастающей длины формул, 2) выделение конструктивных моделей[7] в кратких текстах, 3) проведение трансформаций во всех текстах с целью выявления в них установленных моделей, 4) анализ каждой из выделенных моделей.

Расположение предложений в порядке нарастающей длины формул проводится с целью определения минимального контекста, необходимого для определения значения глагола *make*. Самыми короткими оказываются следующие формулы и описываемые ими предложения:

1) 21 — *Make haste. Don't make a scene.*
2) 23 — *Make ready. Make sure.*
3) 2*F* — *Make off!*
4) 21*F* — *Make him out.*
5) 121 — *We made our alliances.*
6) 123 — *We'll make sure.*
7) 12*F* — *Albert made off.*
8) 1211 — *They made him a bishop. You made me a good offer.*
9) 1213 — *The example makes these statements clear.*
10) 1212 — *Pressure makes air contract...*
11) 12*F*1 — *She makes for the door.*
12) 121*F* — *They could literally make a man over.*
13) 1231 — *Our comrades made beautiful those palaces.*
14) 121*F*1 — *I have made a real lady of you.*
15) 12*FF*1 — *The quality makes up for quantity.*

Из данного перечня самых кратких характерных для *make* контекстов можно сделать несколько выводов: 1) минимальным контекстом, дающим достаточную информацию для раскрытия значения (или дизъюнкции значений) *make*, является контекст в одно слово; 2) значения *make* могут детерминироваться словами класса 1 и 3 или группы *F*, а также сочетаниями 11, 1*F*, *F*1, 13, 31, 12, 1*F*1, *FF*1; 3) представитель класса 1, стоящий слева от *make*, не всегда существен для раскрытия его значения и может быть опущен, в результате чего образуются варианты формул с этим элементом и без него (ср. примеры 1 и 5, 2 и 6, 3 и 7, 4 и 12). Из формул большей длины, описывающих более сложные тексты, как правило, может быть вычленена одна из указанных выше формул, для чего необходимо провести в предложениях ряд трансформаций, которые задаем тремя списками: а) трансформации сложного предложения (12 трансформаций), б) трансформации простого предложения (27 трансформаций), в) трансформации словосочетаний (14 трансформаций) [8].

Приведем примеры некоторых из них:

1) $1^a\,2pF1^b \rightarrow 1^b\,21^a$ — *A good speech was made by W.*→*W. made a good speech*
2) $12p \rightarrow 21$ — *No addition was made*→(нуль) *made no addition* (субъект в нулевой форме, так как он не существен для раскрытия значения глагола).
3) $1^a\,2^b\,1^b\,2^a\,dF1^c \rightarrow 1^a\,2^b\,1^b + 1^b\,2^a\,pF1^c$ — *I saw a car made at this plant.*→ *I saw a car.* + *A car was made at this plant.* После применения трансформации 2 получаем: /нуль/ *made a car at this plant.*
4) $1^a\,1^b\,2^a\,2^b \rightarrow 1^b\,2^a\,1^a + 1^a\,2^b$ — *The record you have made lies here.*→ *You have made the record.*+ *The record lies here.*

---

[7] В дальнейшем для краткости будем говорить просто «модель», понимая под этим синтаксическую конструкцию, которая детерминирует некоторое значение исследуемого глагола.

[8] Все эти трансформации заимствованы нами из работ З. Харриса и Н. Хомского. Они носят общий характер и могут быть с успехом использованы для преобразования любых предложений с целью вычленения любых конструкций. Выбор той или иной трансформации в каждом случае зависит от структуры трансформируемого предложения, которая определяется по Ч. Фризу.

5) $1^a 2^a 1^b 1^c \rightarrow 1^a 2^a 1^c$ *for* 1^b — *He made the boy a pipe.*→ *He made a pipe for the boy.*

6) Форма → нуль — *He made a pipe for the boy.*→ *He made a pipe.*

7) $1^a 2^a 1^b F1^b \rightarrow 1^a 2^a 1^b 1^b$ — *I have made a real lady of you* → *I have made you a real lady.*

8) $1^b F1^c \rightarrow 31^b$ — ... *a hat of wool* ... → ... *a woolen hat*...

После проведения указанных трансформаций, используя дистрибутивный анализ и метод непосредственно составляющих, выделяем следующие характерные для *make* модели: модель № 1—121 и вариант 21 (см. примеры 1 и 5 на стр. 59); модель № 2—$1^a2^a1^b1^b$ (*We must make West Berlin a free city*); модель № 3—121*F* и вариант 21*F* (см. примеры 4 и 12 на стр. 59); модель № 4—1213 (пример 9 на стр. 59); модель № 5—1212 (пример 10 на стр. 59); модель № 6—123 и вариант 23 (примеры 2 и 6 на стр. 59); модель № 7—1231 (пример 13 на стр. 59); модель № 8—12*F* и вариант 2*F* (примеры 3 и 7 на стр. 59); модель № 9—12*F*1 (пример 11 на стр. 59); модель № 10—12*FF*1 (пример 15 на стр. 59).

Указанными моделями описывается до 97% всех предложений, в которых встречается глагол *make*. Каждая из выделенных конструктивных моделей устанавливает одно-однозначные соответствия между данным типом дистрибуции, который описывается формулой модели, и некоторым значением *make*. Но оформляемое каждой моделью значение носит довольно обобщенный характер. Степень обобщенности значения, детерминируемого каждой моделью, находится в соответствии со структурным законом сферы употребления и содержания знаков: чем шире сфера употребления знака, тем менее специально (тем беднее) его содержание. В данном случае понятие сферы употребления модели можно с успехом заменить ссылкой на ее частотность.

Наиболее частотна модель № 1, представляющая 54,4% всех случаев употребления *make* в исследуемых текстах. Значение, детерминируемое моделью «глагол + существительное», близко по своему характеру к грамматическому значению переходности. Поэтому для дальнейшего разграничения значений *make*, детерминируемых этой моделью, необходимо подвергнуть ее дальнейшему анализу. Для этого надо снова развернуть формулу 121, обращая внимание на индексы знака 1 (+, —, *he*, *it*, *he/it* и др.) и на его определители и группируя тексты с одинаковой дистрибуцией внутри модели. Всего выделяется более 20 дистрибуций[9].

Рассматривая 1 после *make* как графему, группируем все тексты по алфавиту этих графем. Видим, что некоторые 121 наблюдаются не в одной, а в нескольких (иногда в большинстве) отмеченных дистрибуциях или же могут трансформироваться в несколько дистрибуций. Другие 121, наоборот, могут иметь только одну дистрибуцию. В некоторых 121 буквенные индексы знака 1 и слева и справа от *make* одинаковые, в других разные (1^a21^a и 1^a21^b). Некоторые элементы 1 справа от *make* могут употребляться с любым определителем (*a*, *the*, нулевой артикль, местоимение), другие же употребляются только с некоторыми или с одним из них. Знак 1, стоящий после *make*, может принадлежать к разным группам в зависимости от индекса под ним: а) *he*, б) *he/it*, в) *it*, г) *it/they*. Одни из них могут иметь форму и единственного и множественного числа, другие же — только одну из этих форм. Наконец, в модели 121 можно проводить различные трансформации: 1) актив↔ пассив; 2) 21 → 2_1 *to make an analysis* → *to analyse*; 3) 121 → 1 *is* 1— *He makes a good doctor.*→ *He is a good doctor.*

---

[9] Доказано, что термин «дистрибуция» употребляется в двух значениях: он обозначает либо сумму всех окружений элемента, либо употребление некоторого элемента по отношению к другим элементам. Мы пользуемся последней трактовкой этого термина (см. P. Diderichsen, The importance of distribution versus other criteria in linguistic analysis, «Reports for the Eighth international congress of linguists», I, Oslo, 1957).

Анализ сочетания *make* с 500 слов класса 1 показывает, что разграничивать значения *make* в модели № 1 следует не по одному какому-то признаку, т. е. не по одной дистрибуции или трансформации, а по совокупности формальных признаков, характерных для каждого отдельного сочетания, а именно: по совокупности возможных для данного сочетания дистрибуций, подвергающихся возможным для него трансформациям.

Выделяемые по этим критериям значения *make* (а их в модели № 1 намечается больше 20) могут быть определены, как это принято в традиционной лексикологии, путем толкования, описания или перевода. Но для настоящего исследования главное не определение значений, а разграничение их, т. е. установление их тождества и различия в зависимости от тождества и различия выражающих эти значения языковых форм.

1. В сочетании 121 буквенный индекс при обоих 1 один и тот же, оба эти слова заменяются проморфемой *he* (*she*), сочетание может быть только в активе, подвергается трансформации 121 → 1 *is* 1: *What a queen she would make*! «Какая из нее вышла бы королева!». Принятое в лексикографии определение значения *make* «выполнять роль, становиться».

2. Буквенные индексы знака 1 справа и слева от *make* разные, слово справа заменяется проморфемой *it*, слева — любой из указанных на стр. 57 или же может опускаться, знак справа имеет при себе любой определитель, сочетание употребляется в активе и пассиве, трансформациям 2 и 3 не подлежит: *He made a mat* «Он сделал циновку». Определение соответствующего значения в лексикографии—«творческая созидательная деятельность, направленная на изготовление, создание чего-то».

3. Буквенные индексы знака 1 справа и слева от *make* разные, знак слева часто опускается, слово справа заменяется проморфемой *it*, сочетание подвергается трансформациям 1 и 2: *to make an attempt* «пытаться», *to make a decision* «решать». Определение значения *make* — служить глагольным показателем при существительном в сочетании 21.

Таким образом, каждое значение многозначного слова — это функция характерных для него дистрибуций и трансформаций. Нельзя считать правильным общепринятое утверждение, что значение *make* в сочетании «глагол + существительное» определяется семантикой существительного. Глагол в сочетании с одним и тем же существительным имеет разные значения в зависимости от его полной дистрибуции: в *He made a dollar* и *Your commission makes a dollar* значения *make* разные.

Выделенные путем такого анализа значения *make* в модели № 1 охватывают до 94% всех случаев употребления глагола в этой модели. Можно предположить, что оставшиеся случаи, не поддающиеся анализу, относятся к области фразеологии. Если такое предположение верно, то можно также предположить, что изоморфизм плана выражения и плана содержания кончается там, где начинается фразеология. Делать выводы еще рано, так как этот вопрос—тема самостоятельного исследования.

Исходя из всего изложенного, можно сделать следующие выводы: 1) структурные методы, в частности методы дистрибутивного и трансформационного анализа и метод непосредственных составляющих, обеспечивают достаточно объективные критерии для разграничения значений многозначного глагола; 2) надежными критериями для разграничения значений многозначного глагола можно считать: а) выделенные путем метода непосредственных составляющих и трансформационного анализа конструктивные модели, характерные для данного глагола, б) совокупность характерных для него дистрибуций, подлежащих определенной трансформации внутри выделенной модели, 3) каждое отдельное значение многозначного слова является функцией характерных для него дистрибуций и трансформаций; 4) использованные в исследовании методы дают возможность дифференцировать значения многозначного глагола только до определенного предела. Остается примерно 7% материала, не поддающегося исследованию указанными методами и, как можно предполагать, относящегося к области фразеологии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. КОЛМОГОРОВ, А. М КОНДРАТОВ

РИТМИКА ПОЭМ МАЯКОВСКОГО

Поэма «Люблю», созданная Маяковским летом 1922 г., является единственной его поэмой, целиком написанной урегулированным четырехдольником [1] схемы 0/1–1/2–1/2–1/2–0/2. Исключение составляют лишь 6 стихов из 164. Так как метр урегулированного четырехдольника играет большую роль и в других произведениях Маяковского [2], то подробная характеристика метрики и ритмики «Люблю» является одним из необходимых первых звеньев в плановом обследовании ритма стиха Маяковского.

Метр четырехдольника является живым метром современной поэзии. С этой точки зрения отчетливое представление об особенностях четырехдольника Маяковского является весьма актуальным. Общая схема урегулированного четырехдольника, если не обращать внимания на слоги, следующие за четвертым метрически сильным (и по схеме — обязательно ударным) слогом, содержит в себе 16 основных четырехударных форм с четырьмя метрическими ударениями и без дополнительных ударений. Вот она:

Анакруза 0 (пустая)

0.1	0–2–2–2– (дактиль)	Я вот в «Бюро похоронных процессий»: . . ́–◡◡́–◡◡́–◡◡́–
0.2	0–1–2–2–	(в тексте «Люблю» не встречается) ́–◡́–◡◡́–◡◡́–
0.3	0–2–1–2–	Больше чем можно, больше чем надо . . . ́–◡◡́–◡́–◡◡́–
0.4	0–2–2–1–	Что мне тоска о Булонском лесе?! ́–◡◡́–◡◡́–◡́–
0.5	0–1–1–2–	(в тексте «Люблю» не встречается) ́–◡́–◡́–◡◡́–
0.6	0–1–2–1–	Сердце снёс бы, обратно взяв ́–◡́–◡◡́–◡́–
0.7	0–2–1–1–	Поезд — и то к вокзалу гонит ́–◡◡́–◡́–◡́–
0.8	0–1–1–1– (хорей)	Что мне вздох от видов на́ море?! ́–◡́–◡́–◡́–

Анакруза 1 (односложная)

1.1	1–2–2–2– (амфибрахий)	А я, разживясь трехрублевкой фальшивой . . . ◡́–◡◡́–◡◡́–◡◡́–

[1] Термин М. Л. Гаспарова.

[2] В частности, из «Люблю» этот метр перешел в поэму «Про это», где он переплетается с другими метрами и часто опознается только в результате анализа, учитывающего тематическую связь обеих поэм.

1.2	1´1´2´2´	Любовь любому рожденному дадена ◡´◡´◡◡´◡◡´
1.3	1´2´1´2´	Один — идиот! — манжеты наделал . . . ◡´◡◡´◡´◡◡´
1.4	1´2´2´1´	и мне, и реке, и стовёрстым скалам?! ◡´◡◡´◡◡´◡´
1.5	1´1´1´2´	но между служб, доходов и прочего . . . ◡´◡´◡´◡◡´
1.6	1´1´2´1´	и груди стал заливать крахмалом ◡´◡´◡◡´◡´
1.7	1´2´1´1´	влюбился в глазок 103 камеры ◡´◡◡´◡´◡´
1.8	1´1´1´1´ (ямб)	У прочих знаю сердца дом я ◡´◡´◡´◡´

Анакруза 2 (двусложная) в тексте «Люблю» не встречается.

Эти основные формы четырехдольника (без пропуска метрических ударений и без дополнительных метрических ударений) охватывают 149 стихов из 164, т. е. более 90%. Распределение стихов по формам таково:

№№ форм	Анакруза 0	Анакруза 1	Количество стихов	% к общему числу стихов поэмы
1) 222	7	37	44	26,8
2) 122	—	28	28	17,1
3) 212	4	27	31	18,8
4) 221	3	10	13	7,9
5) 112	—	9	9	5,5
6) 121	1	9	10	6,1
7) 211	1	8	9	5,5
8) 111	1	4	5	3,1
Всего	17	132	149	90,8

Чтобы лучше понять эту таблицу, следует сосчитать число стихов с односложными и двусложными промежутками между раличными ударными слогами (подсчет ведется по 149 рассматриваемым сейчас стихам):

Число безударных слогов	Анакруза 0		Анакруза 1		Всего, независимо от анакрузы	
	1	2	1	2	1	2
Между						
1-м и 2-м ударением	2	15	50	82	52	97
2-м и 3-м ударением	6	11	48	84	54	95
3-м и 4-м ударением	6	11	31	101	37	112

Подсчет показывает, что двухсложные промежутки встречаются вообще значительно чаще односложных. Это объясняет: а) обилие чистых амфибрахиев (схема 1222) и относительное обилие чистых дактилей (схема 0222) среди стихов с пустой анакрузой; б) перевес форм 2, 3, 4 с одним односложным промежутком над формами 5, 6, 7 с двумя односложными промежутками; в) малочисленность формы 8 (хореи и ямбы).

При анализе стихов с односложной анакрузой (они резко преобладают в поэме) бросается в глаза еще одно обстоятельство: односложные промежутки особенно редки между третьим и четвертым ударением, т. е. ближе к концу стиха. Такое з а м е д л е н и е ритма стиха к концу идет в разрез с общей традицией трехдольника и четырехдольника других поэтов того времени (например, Есенина и Багрицкого). Было бы важно выяснить, насколько такая особенность типична для дольника Маяковского за пределами поэмы «Люблю». В стихах с пустой (нулевой) анакрузой,

кажется, проявляется другая тенденция: в них особенно тщательно избегается односложный промежуток между первым и вторым ударением. Однако общее число (17) стихов с пустой анакрузой слишком мало, чтобы этот вывод обладал высокой статистической «значимостью».

Сказанным исчерпываются художественные тенденции Маяковского, которые можно подметить при анализе статистики форм. Полное отсутствие форм 0.2 и 0.5 уже нельзя, например, считать чем-либо знаменательным: стихов с пустой анакрузой и односложным первым межударным промежутком насчитывается всего лишь два; поэтому заполнить четыре соответствующие такому строению стиха формы 0.2, 0.5, 0.6 и 0.8 они не могли.

Русский урегулированный четырехдольник в принципе охотно допускает пропуск метрических ударений, что приводит к многочисленным формам стиха с наличием лишь трех и даже двух ударений. Не давая их полной классификации, отметим здесь только те, которые встречаются в поэме «Люблю». Приведем сначала таблицу 8 стихов с пропуском второго или третьего ударения [3].

Схема	Происхождение [4]		Число стихов
‿2‿4‿	3 или 4	Продумана, выверена, проверена	1
‿1‿4‿	5 или 6	пока под ложечкой не заноет	1
Всего с пропуском третьего ударения			2
‿4‿2‿	2 или 3	тем более — несгораемый шкаф	1
‿4‿1‿	6 или 7	Юношеству занятий масса жарился в кутаисском зное	2
‿3‿2‿	5	рубаха. Но и этого мало!	1
‿3‿1‿	8	От радости себя не помня . . . О, сколько их, одних только вёсен	2
Всего с пропуском второго ударения			6

Здесь тоже намечается тенденция, противоположная, скажем, Багрицкому [5], который третье ударение пропускает много чаще, чем второе.

Остается еще один стих: 3‿2‿2‿ (. . . *Очерствевает сердечная почва*) с пропуском первого ударения. Общее число трехударных стихов рассмотренного типа (т. е. пропуском одного метрического ударения в пределах следования законам урегулированного четырехдольника) невелико — их всего 9 (5,5% всех стихов поэмы). В урегулированном четырехдольнике Багрицкого их бывает более 20%. Встречаются у Багрицкого (в небольшом числе) и двухударные стихи с пропуском двух метрических ударений:

3‿3‿ На фотографиях серийных . . .
1‿6‿ Застенчивость и головокруженье . . .

Таких стихов в поэме «Люблю» нет совсем. Нет в «Люблю» и трехударных стихов, где пропуск одного метрического ударения приводит к пятисложным промежуткам, как это бывает в классических трехсложных размерах и нередко в четырехдольнике Багрицкого:

1‿1‿5‿ Они, покачиваясь, проплывали . . .
1‿1‿5‿ Кричит, сорвавшимся от напряженья . . .

Только в одном стихе из «Люблю» имеется дополнительное ударение

[3] Различение по анакрузам в таблице не производится. После схемы междударных промежутков указывается, из каких основных форм данная трехударная форма может быть получена.

[4] Пример: указание на формы 3 или 4 в графе «Происхождение» означает, что форма ‿2‿4‿ получается при замене третьего ударного слога безударным в форме 3 или в форме 4. Такая двойственность происхождения некоторых трехударных форм — одна из маленьких логических трудностей классификации форм четырехдольника.

[5] За сведения о четырехдольнике Багрицкого приносим благодарность Н. Рычковой, С. Прохорову и Л. Бассалыго.

на первом слоге:

Я,
жирных
с детства привык ненавидеть...

Дополнительным ударением здесь отягощена форма 2.

Наконец, остаются 6 стихов «Люблю», не подчиненных строго законам урегулированного дольника (всего 3,8%). Из этих 6 стихов 4 легко ассимилируются ритмом урегулированного четырехдольника, так как отличаются от него лишь растяжением одного межударного промежутка на один слог:

Реальный ритм	Соответствующая *правильная форма*	
1⏑2⏑3⏑2⏑	1⏑2⏑2⏑2⏑	Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть)
		Душой отдыхаете на женах, на вдовах
0⏑2⏑3⏑2⏑	0⏑2⏑2⏑2⏑	Как избирателей сзывают на митинг
1⏑3⏑4⏑	1⏑2⏑4⏑	*гипербола праобраза Мопассанова*

Ощутимый перебой метра (столкновение двух ударений) содержит стих: ⏑2⏑0⏑2⏑ — *я же люблю! — тянет и клонит*. Наконец, совсем выпадает из метра стих: 1⏑0⏑ *Со дня на день*.

Теперь рассмотрим окончание стиха — слоги после последнего (четвертого) метрического ударения. За исключением двух срифмованных стихов:

мыслишки звякают лбенками медненькими...
одни водокачки мне собеседниками...,

окончания стиха односложны или двусложны. Как правило, они безударны, т. е. могут рассматриваться как обычные в классическом стихе женские или дактилические. Лишь в двух случаях окончание стиха несет на себе несомненное дополнительное ударение. Один раз это происходит в одном из пары рифмующихся стихов четырехдольника:

будто поэтовым бредом во *снѐ навúс*...
громада любовь, громада *нѐнависть*.

Здесь рифмой связаны окончания стиха ритмов ⏑|⏑⏑ и ⏑⏑⏑.

Другой такой случай — в самом начале поэмы, где связаны рифмой стихи

Любовь любому рожденному *дáдена*...
и *со дня нá день*...,

т. е. окончания стиха с ритмами ⏑⏑⏑ и ⏑|⏑⏑.

Кроме того, в поэме имеется еще восемь неравносложных рифм с ритмами окончаний стиха ⏑⏑⏑ и ⏑⏑; они не выделяются особо на общем фоне неточных, но глубоких рифм, которых много в поэме.

Обратимся теперь к общей композиции поэмы, принимая во внимание наряду с метром и ритмом расположение рифм. Вся поэма написана четырехстишиями. Из них 34 рифмованы перекрестно, а 7 распадаются на двустишия со смежной рифмовкой; все эти двустишия связаны по смыслу, так что основным можно считать деление на четырехстишия. По 11 эпизодам (главкам поэмы) четырехстишия распределяются по схеме:

$$3+4+4+7+6+3+3+3+3+4+1\ (=41).$$

Вводные эпизоды (3 + 4 + 4) переходят в самые длинные: «Мой университет» (7) и «Взрослое» (6). Резкий переход к следующей серии коротких эпизодов («Что вышло», «Зову», «Ты», «Невозможно»—3 + 3 + +3 + 3) соответствует началу драматического ускорения развития сюжета. Рассмотрим эту схему последовательно.

Первое четырехстишие:

Любовь любому рожденному дадена,—
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на день
очерствевает сердечная почва [6]

содержит стих *со дня на день*— единственный стих поэмы, совсем выпадающий из метра,— и две неравносложные рифмы, причем в одном случае — с дополнительным ударением. Такое скопление отклонений от нормы в самом начале произведения характерно для Маяковского: закономерное течение стиха у него не задается вначале, а выкристаллизовывается постепенно (ср. хотя бы начало стихотворений «Юбилейное», «Сергею Есенину», поэмы «Во весь голос»).

Второе четверостишие при предлагаемом написании [7]:

На сердце тело надето,
на тело —
рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот!—
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом

оказывается нормальным урегулированным четырехдольником; хотя анакрузы сплошь женские (односложные), однако выбор форм не облегчает читателю втягивание в метр (пропуск ударения во втором стихе). Затрудняет четкое восприятие метра и перенос из первого стиха во второй. Стоит отметить шестисложную рифму: *надето, на тело — манжеты наделал*. С ритмической стороны она легко воспринимается, так как ритм шести слогов тождествен ∪ ⊥ ∪ | ∪ ⊥ ∪. Все рифмы здесь женские.

Зато последнее четырехстишие первого эпизода является чистым четырехстопным амфибрахием с дактилическими окончаниями. Восприятие дольника как «паузника», возникающего при пропуске слогов в правильных трехсложных размерах, свойственное многим русским поэтам, вероятно, присутствовало бессознательно и у Маяковского. Любопытно отметить, что в нашем случае возможное восприятие плавного амфибрахического ритма как ритма торжественного или романтически поэтического нарочито предупреждено его введением в таком ироническом и не очень «красивом» четырехстишии [8]:

Под старость спохватятся. Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно. Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет, поцветет — и скукожится.

---

[6] В поэме «Люблю» Маяковский размещает середину строки «в край» в случаях, соответствующих расположению «лесенкой», используемому во всех последующих поэмах. Такие строки мы считаем, естественно, одной строкой.

[7] Обычно печатают:

На сердце тело надето,
На тело — рубаха...

[8] Мы позволили себе ради того же эффекта набрать четверостишие традиционным образом. Другой, еще более резкий пример — из вступления в поэму «Во весь голос»:

Неважная честь, чтоб из этаких роз
Мои изваяния высились
По скверам, где харкает туберкулез,
Где б... с хулиганом да сифилис.

Среди шестнадцати стихов второго эпизода («Мальчишкой») имеется 6 амфибрахиев. Остальные стихи этого эпизода легко воспринимаются как четырехдольник на основе амфибрахия. Доминирующая во всей поэме (и естественная из-за связи с амфибрахием) односложная анакруза имеется здесь во всех стихах, кроме одного — схемы 0 ⌣ 4 ⌣ 1 ⌣ 1 (*жарился в кутаисском зное...*). Кажется не случайным, что этот стих, отличающийся и первым в нашем эпизоде появлением пропуска метрического ударения, рифмуется со вторым трехударным стихом эпизода 1 ⌣ 1 ⌣ 4 ⌣ 1 (*пока под ложечкой не заноет*), где пропуск ударения отодвинут дальше к концу стиха.

С ритма 0 ⌣ 4 ⌣ 1 ⌣ 1 начинается эпизод «Юношей», где некоторое изменение ритма создается обилием пустых анакруз (в 6 стихах из 16). Ускорение ритма особенно заметно в третьем четверостишии, содержащем, кстати, и единственный в поэме стих чистого хорея:

Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на́ море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.

Пустые анакрузы, по-видимому, и дальше сохраняют функцию сигнала приближения решительной фазы развития сюжета. Во всяком случае, ими начинается эпизод «Что вышло»:

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис — . . .

Особый характер этого начала эпизода подчеркнут также появлением уже отмеченной ритмически нетривиальной рифмы: *во сне́ навис — не́нависть.*

Здесь можно было бы пока остановиться. Тот путь, который был предложен для анализа развития ритма поэмы, разумно использовать для следующих выводов: а) предварительный статистический анализ общего запаса вариантов ритма, представленных в поэме, помогает и в конкретном разборе построения отдельных эпизодов. Более редкие варианты ритма, естественно, приобретают значение особенно значимых сигналов; колебания в доле участия часто встречающихся вариантов (например, чистого амфибрахия) создают индивидуальную окраску целых эпизодов; б) если интересоваться звуковой композицией поэмы в целом, то следовало бы еще составить статистику различных типов рифм (по их глубине, ритмическому строению и т. д.). В соответствии с традициями русского стиховедения следует продолжить изучение ритма, установив статистику словоразделов, а также переносов и пауз. Возможно, однако, что в дольнике вообще (и специально у Маяковского) обилие более сильных средств ритмической выразительности (число ударений, длина безударных промежутков, переменная анакруза, переменное ритмическое строение рифмующихся окончаний стиха) делает роль игры словоразделами менее заметной [9]. Переносы же и паузы у Маяковского являются, конечно, весьма действенным средством ритмической выразительности.

[9] В пушкинском четверостишии из «Египетских ночей»

Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом . . .
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем . . .

употреблены все четыре возможных словораздела между ударениями в пределах от четвертого до восьмого слога четвертой формы четырехстопного ямба [⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ (⌒)].

Их игра здесь очень заметна, но лишь потому, что в остальном ритм этих четырех

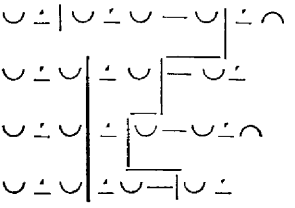
*

Урегулированный четырехдольник ясно звучит и в построении некоторых других произведений Маяковского. Приведем полностью пример чередования урегулированного четырехдольника с четко отличным от него контрастирующим метром из поэмы «Про это» (главка «Пресненские миражи»):

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками подмышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скáлы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и гóло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
Медведь,
медведь,
медведь,
медв-е-е-е-е...—

Здесь четырехстишия с перекрестными рифмами А В А В чередуются с парами рифмованных двустиший АА ВВ. Второе и третье четырехстишие с перекрестными рифмами (третье и пятое четырехстишия отрывка)

стихов почти тождествен:



написаны ямбом с чередованием 4-стопных и 3-стопных стихов

⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –
⏑ – ⏑ – ⏑ –
⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –
⏑ – ⏑ – ⏑ –

с единственной особенностью: последний сильный слог может быть и безударным (*ставенек*). Первое четырехстишие (*Бегу и вижу...*), несмотря на нарушение ямбического метра во втором стихе, очевидно, является вариантом той же схемы 4-3-4-3-стопного ямба. Между этими четырехстишиями ямба расположены три пары двустиший урегулированного дольника [10].

Оба сопоставленные в рассмотренном отрывке метра появляются в «Про это» многократно. Урегулированным четырехдольником написано, в частности, вступление поэмы («Про что — про это?»), за исключением первого четырехстишия, которое представляет собой урегулированный трехдольник с сильным тяготением к анапесту. По-видимому, можно установить тематическую и эмоциональную связь четырехдольника в «Про это» с четырехдольником поэмы «Люблю». 4-3-4-3-стопный ямб в «Про это», вероятно, иногда связан по темам и эмоциональной окраске с 4-3-4-3-стопным ямбом поэмы «Человек». Но все это пока лишь предварительные замечания.

Большое место урегулированный четырехдольник занимает в поэме «Владимир Ильич Ленин». Основных отчетливо выделяемых метров в этой поэме три: вольный хорей с тяготением к четырехударности; четырехударный стих с полной свободой вариации длины межударных промежутков; урегулированный четырехдольник. Эти метры в их взаимоотношениях существенны для построения всей поэмы как ритмического целого. Другие отчетливо слышимые метры появляются в поэме «В. И. Ленин» лишь эпизодически [11].

Вольный хорей появляется со второго стиха этой поэмы:

Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слезной лужею,—

---

[10] В стихе

Будь проклята,
опустошенная легкость!

пропущено второе метрическое ударение, но зато на первом слоге появляется не метрическое ударение:

´| – ⏑ ⏑ | — ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ | – ⏑.

[11] Например, отрывок из 20 трехударных стихов:

У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.

Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.

С точки зрения хореического метра в приведенных семи стихах 6 + 6 + 6 + 7 + 5 + 6 + 5 стоп. Число же ударений таково: 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 [12].

До проведения более полных статистических исследований выскажем следующее предварительное замечание: взятые семь стихов хорошо отражают характер вольных хореев и ямбов Маяковского во многих его произведениях — число стоп колеблется (равняясь обычно 5—7), но число ударений имеет тенденцию к доминированию четырехударности — даже более сильную, чем в каком-либо из классических хореических метров (по Тарновскому, четырехударных стихов: в четырехстопном хорее 20—30%, в пятистопном —45—55%, в шестистопном —40—60%).

Вольный хорей в поэме «В. И. Ленин» чаще всего целиком заполняет четырехстишия. Можно математически показать, что «случайное» появление целого четырехстишия 5-7-стопного хорея крайне мало вероятно. Поэтому выделение хореических отрывков поэмы не представляет затруднений. Четырехударным стихом — вторым метром, доминирующим в «В. И. Ленине»,— кончается вся поэма:

Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

˙ 4 ˙ 2 ˙ 1 ˙
1 ˙ 4 ˙ 2 ˙ 4 ˙ 2
˙ 2 ˙ 4 ˙ 3 ˙
1 ˙ 1 ˙ 1 ˙ 2 ˙ 2

Приведем еще два примера такого четырехударного стиха:

И тогда
у читающих
ленинские
веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.

2 ˙ 2 ˙ 2 ˙ 4 ˙ 2
2 ˙ 2 ˙ 4 ˙ 2 ˙
˙ 2 ˙ 1 ˙ 8 ˙ 2
1 ˙ 1 ˙ 3 ˙ 2 ˙

[12] «Но не потому» мы считаем в соответствии с однострочным написанием Маяковского за одно слово с одним ударением.

— Товарищи!—
и над головами
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.—
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!

1 ⌣ 6 ⌣ 1 ⌣ 1 ⌣ 1
1 ⌣ 1 ⌣ 2 ⌣ 1 ⌣ 2
⌣ 2 ⌣ 4 ⌣ 3 ⌣ 1
1 ⌣ 0 ⌣ 2 ⌣ 6 ⌣ 1

В этих наиболее ярких случаях полное отличие четырехударника от урегулированного четырехдольника поэмы «Люблю» не требует, как нам кажется, особых пояснений. То, что здесь совсем иной, подчиненный другим закономерностям и имеющий иную художественную целеустремленность склад стиха, можно воспринять «на слух» и без специальной теории.

Иногда само сопоставление в смежных строфах урегулированного четырехдольника и четырехударника с большим размахом колебаний длины междударных промежутков (в приведенных примерах — от 0 до 8 слогов) бывает столь контрастно, что усиливает представление о них как о двух резко отделенных друг от друга способах ритмической организации стиха. Например, последнему из приведенных четырехстиший предшествует четырехстишие урегулированного четырехдольника:

И снова
ветер
свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»

1 ⌣ 1 ⌣ 1 ⌣ 1 ⌣ 1
1 ⌣ 2 ⌣ 2 ⌣ 1 ⌣ 1
1 ⌣ 1 ⌣ 2 ⌣ 2 ⌣ 1
⌣ 1 ⌣ 2 ⌣ 2 ⌣ 1

Шестисложный безударный промежуток ***Това**-ри-щи-и-над-го-ло-**вами первых сотен**. . .* на фоне ясно воспринятой слушателем четырехударности стиха должен быть понят как эквивалентный всем другим; после «урегулированности» предшествующего четырехстишия этим создается необычайная напряженность, которая вскоре еще усиливается столкновением ударений: ***Долой власть**. . .* со следующим за ним новым шестисложным промежутком: ***Соглаша**-те-лей-и-ка-пи-та-**листов**!* (0 = 6!).

В обычной русской речи около 60% междударных промежутков односложны и двусложны [13]. Вероятность того, что последовательность из четырех ритмических слов окажется «урегулированной», т. е. вероятность

[13] Приводимые далее подсчеты приблизительны, но для наших целей вполне достаточны.

того, что все три промежутка между их ударными слогами окажутся односложными или двухсложными, равна примерно $(0{,}6)^3 \sim 0{,}2$. Вероятность того, что четырехстишие из четырехударных стихов случайно окажется «урегулированным», равна приблизительно $(0{,}2)^4 \sim 0{,}002$. Иначе говоря, если в четырехударнике отсутствует тенденция к урегулированности, то, в среднем, лишь одно из 500 четырехстиший окажется урегулированным. В поэме же «В. И. Ленин» есть отрывки, где «урегулированность» выдерживается бесперебойно на протяжении многих четырехстиший подряд. В этих случаях она несомненно является признаком строго выдержанного метра.

Но есть в поэме «В. И. Ленин» и такие отрывки, где тенденция к «урегулированности» безударных промежутков выражена слабее, например лишь в такой степени, что доля урегулированных стихов среди всех четырехударных стихов отрывка повышается от 20%, которые можно было бы ожидать в совершенно свободном четырехударнике, приблизительно до 50%. Ограничимся здесь лишь разбором заключения поэмы.

Я счастлив.
Звенящего марша вода... (1)

— 10 стихов, точно подчиненных требованиям урегулированного четырехдольника (два четырехстишия с перекрестными рифмами и первые два стиха третьего четырехстишия).

«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои» (2)

— цитата в форме трехстопного амфибрахия, заканчивающая третье четырехстишие.

Только б не упасть,
к плечу плечо... (3)

— два четырехстишия вольного хорея.

Пройдут
и на́верх
смотрят с опаской... (4)

— 23 стиха урегулированного четырехдольника: пять законченных четырехстиший и три стиха:

Но вот
издалёка,
оттуда из алого
в мороз,
в караул умолкнувший наш
чей-то голос —
как будто Муралова —
«Шагом марш». (5)

— в обоих случаях окончание отрывков урегулированного четырехдольника (1, 4) отмечено специальным сигналом (2, 5).

Этого приказа
и не нужно даже... (6)

— урегулированность сломана.

Заключительные 51 стих поэмы включает две побочные ритмические темы:

«По морям,
по морям, (6а)
нынче здесь,
завтра там» (два стиха)

трá-та-та-тá-та,
тá-та-та-тá. (6б)
«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдем на штыки»
(четыре стиха).

Из остающихся 45 стихов четырехударны 44 (трехударным мы считаем лишь стих *Не отстает — подай комсомол*). Из этих четырехударных стихов только 50% подходят под схему урегулированного четырехдольника. Распределение междударных промежутков по числу слогов в этих 44 четырехударных стихах таково:

0	1	2	3	4
3	50	52	22	5

Таким образом, односложных и двухсложных междударных промежутков 102, т. е. 77%. Это, как говорят в математической статистике, «значимо» превышает число односложных и двухсложных промежутков, которое могло бы возникнуть при отсутствии некоторой тенденции к «урегулированности» их длины. Но остающиеся 3 + 22 + 5 = 30 «неурегулированных» промежутков показывают, что тенденция к урегулированности здесь очень слаба. Ближайшее рассмотрение наводит на предположение, что эта тенденция действует волнообразно. Поэма заканчивается наименее урегулированным (в пределах рассматриваемых 44 стихов) четырехстишием, в котором сосредоточены четыре из пяти четырехсложных промежутков (оно уже было процитировано).

Вернемся к выделенным двум отрывкам (из 10 и 23 стихов) урегулированного четырехдольника. Из этих 33 стихов два несомненно трехударны:

Я знаю —
отныне
и навсегда...
Остановись,
движение и жизнь!

В первом из этих стихов пропущено третье метрическое ударение, во втором — первое.

Остающийся 31 стих можно распределить по основным восьми формам дольника (анакруза, за одним исключением,— односложная):

1.1	1 ⏑ 2 ⏑ 2 ⏑ 2 ⏑	12	(амфибрахий)
1.2	1 ⏑ 1 ⏑ 2 ⏑ 2 ⏑	3	
1.3	1 ⏑ 2 ⏑ 1 ⏑ 2 ⏑	7	
1.4	1 ⏑ 2 ⏑ 2 ⏑ 1 ⏑	2	3
0.4	0 ⏑ 2 ⏑ 2 ⏑ 1 ⏑	1	
1.5	1 ⏑ 1 ⏑ 1 ⏑ 2 ⏑	5	
1.6	1 ⏑ 1 ⏑ 2 ⏑ 1 ⏑	1	
1.7	1 ⏑ 2 ⏑ 1 ⏑ 1 ⏑	нет	
1.8	1 ⏑ 1 ⏑ 1 ⏑ 1 ⏑	нет	

Приведем еще статистику длины различных междударных промежутков по 30 стихам с односложной анакрузой:

	1	2
Между 1-м и 2-м ударением	8	22
2-м и 3-м	12	18
3-м и 4-м	4	26

Объем нашей выборки, вообще говоря, мал; тем не менее сходство статистики форм дольника и межударных промежутков в поэмах «В. И. Ленин» и «Люблю» трудно считать случайным. Общими являются редкость односложных промежутков между третьим и четвертым ударением, большое число амфибрахиев. Особенности эти выражены в поэме «В. И. Ленин» даже резче. Односложная анакруза, 40% амфибрахиев, большое преобладание двухсложных промежутков, особенно между третьим и четвертым ударением, придают метру определенность, необходимую для того, чтобы он отчетливо воспринимался на фоне других метрических построений, окружающих его в поэме.

*

Хотелось бы, чтобы эта работа, где была рассмотрена ритмика некоторых поэм Маяковского, содействовала возникновению интереса к более глубокому изучению ритмики его стиха. До недавнего времени дело ограничивалось весьма ценными, но разрозненными замечаниями (концепция «чисто ударного», по преимуществу четырехударного, стиха Маяковского, выдвинутая Якобсоном; замечание Томашевского о роли «альтернирующего ритма», т. е. вольного ямба или хорея во многих произведениях Маяковского). В статье Никонова «Ритмика Маяковского» («Вопросы литературы», 1958, 7) продемонстрирована первая попытка более систематического изучения стиха Маяковского с привлечением обширной статистики. Однако, сделав главным предметом своего изучения поэму «Владимир Ильич Ленин», Никонов не заметил, что поэма эта имеет сложную и в то же время весьма четкую метрическую структуру. Суммарная статистика по всей поэме приводит лишь к весьма обедненным выводам, так как не учитывается наличие разнородных частей, каждая из которых имеет свою, но весьма отчетливую организацию. Ближе к истине был поэт С. Кирсанов, который сказал, что поэмы Маяковского написаны «многими размерами и неразмерами».

Поиски скрытых в стихе Маяковского метрических закономерностей требуют осторожности. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не смешать реальные закономерности, в которых проявляется устремление поэта к четкой организации стиха, с кажущимися «правильностями», которые неосторожный исследователь может увидеть в выписанных им рядах межударных промежутков и т. п. Не вдаваясь в тонкости приемов математической статистики, дающих возможность оценивать «значимость» наблюдаемых в эмпирических рядах особенностей, мы пытались в этой статье наглядно продемонстрировать характер работы со сравнительно малыми статистическими совокупностями («выборками»), которая необходима при рекомендуемом нами «структурном» анализе произведений Маяковского.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

П. Г. БОГАТЫРЕВ

О ЯЗЫКЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ

Посвящается В. М. Жирмунскому к 70-летию со дня рождения

Специфика языка народной песни в его отношении к разговорной речи диалекта выявляется в сравнении с разговорной речью диалекта певца или той местности, где исполняется песня. Диалектологи (ср. работы проф. А. П. Евгеньевой) не раз отмечали ошибки в анализе художественных средств языка, когда отдельные фонетические, морфологические, синтаксические и лексические черты языка песен считались специфически песенными, хотя они были распространены в данном диалекте.

У отдельных народов и в отдельных местностях язык песни сильно отличается от диалекта в его коммуникативной функции, у других народов и в других местностях такое отличие может быть весьма незначительным. Примером резкого отличия языка песни от языка разговорного может служить исполнение некоторых песен на чужом языке. Б. А. Каррыев в своей неопубликованной работе «Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов» пишет: «Характерно, что грузинские ашуги обычно стихотворную часть эпоса (Кер-оглы) поют на тюркском языке, а прозаическое повествование о событиях, случившихся с героями, рассказывают на грузинском языке». О курдской версии Кер-оглы Каррыев замечает: «В бытность нашу в этих местах (где живут курды, а именно в пределах Армении, Азербайджана и Туркмении) нам не раз приходилось слушать отдельные рассказы и песни о Кер-оглы, исполняемые курдскими сказителями... Сюжет этих сказок излагается прозой на курдском языке, а отдельные песни, передающие лирические чувства и мысли, личные переживания, радости и печаль героя, его восторг и гнев, поются на азербайджанском языке».

У некоторых народов исполнители эпоса, пропев определенную часть эпической песни, ее же затем декламируют. Так, хакасский сказитель С. П. Кадышев сначала поет в сопровождении музыкального инструмента («чатхан») законченный отрывок сказания, потом этот же отрывок без сопровождения «чатхана» декламирует. И так до конца сказания. С. П. Кадышев такой способ пения объясняет тем, что при пении не все доходит до слушателей [1], а потому приходится прибегать к дополнительной передаче пропетого в форме декламации. Кроме того, увлеченный своим исполнением, сказитель часто начинает петь в быстром темпе, что еще более затрудняет понимание.

*

В этой статье мы остановимся лишь на некоторых отличительных фонетических особенностях русской, украинской, чешской, словацкой и болгарской песен, язык которых вообще близок к языку окружающего диалекта.

---

[1] См. И. В. Пухов, Героический эпос алтае-саянских народов и якутское олонхо (в печати).

Уже в конце XIX в. вышла работа чешского исследователя И. Гошека, посвященная языку народных песен в их отношении к местному диалекту [2]. Собирая в 1894 г. диалектологический материал в восточной и южной части Поличского района — в деревнях Витойовес и Рогозна, соседящих с Моравией, Гошек пришел к выводу, что язык почти всех народных песен, которые он слышал в этих деревнях, отличается от окружающего диалекта. Песен, не имеющих таких отличий, очень мало: «Это лишь частушки (popěvky) или краткие песенки. В селе Витойовес из 68 песен я слышал только 5 песенок, которые не отличались от местного диалекта». Эти пять песенок — в два или четыре стиха каждая. «В селе Рогозна,— продолжает Гошек,— из 36 песен только две не отличались от местного диалекта»— одна из них в три стиха, другая в четыре [3].

И. Гошек отмечает следующие фонетические различия: 1) вместо диалектного *y* в песнях представлено *e* литературного языка, например: «Jako ptáček letí do pole *širého*» (Vít.); 2) вместо диалектного ***a*** в склонении имен существительных типа *muž, meč, pole* (ср. *mám dobrýho* ***koňa***; *vítovský* ***pola*** *dou až do Študlov*; то же и в окончании существительных жен. рода типа *duše*) — *e* литературного языка, например: «*Koňe* mně vyveď'te a osedlejte»; «Měla žena *múže*, jon se smrti bál» (Vít.); 3) вместо диалектного *u* и *ou* (*juž* ***ju*** *vidím*; *vyžeň tu* ***slepicu***; *děte pořád* ***silnicou***) — *i* и *í* литературного языка, например: «a svou *práci* pokojně konám» (Vít.) (диал. *prácu*); «A já tobe koupím *sukni* zelenou» (Vít.) (диал. *sukňu*); «Ó můj drahéj *múži*» (Roh.) (диал. *múžu*). Правда, И. Гошек приводит несколько примеров, когда изредка в песне он слышал непередгласованное *u*; 4) вместо диалектного *ej, ěj* — в песнях часто можно услышать *ý* литературного языка, например: «. . . *každý* deň z večera» (Vít.) (диал. *každej*); «Ta laštovička *malý* pták» (Vít.) (диал. *maléj*); «Hory, doly, *pustý* les. . .» (Vít.) (диал. *pustéj*). Реже встречается диал. *ej* (*éj*); ср.: «Dají tobě *bíléj* kabát a šavli» (Vít.); «*Miléj* z Prahy navrací» (Roh.) [4].

Вообще при обзоре примеров, приводимых Гошеком, обращает на себя внимание тот факт, что в витойовском и рогозенском песенном языке многие фонетические черты, отличаясь от местного разговорного диалекта, являются принадлежностью литературного языка. Кроме них есть и такие, которые встречаются в других диалектах, а также формы искусственные (smyšlený tvar) [5].

Целый ряд значительных отличий песенного языка от разговорного в словацком селе Розбеги Сеницкого округа приведен в статье словацкого исследователя Яна Оравца, который, будучи диалектологом и изучив говор этого села, обследовал и весь его песенный репертуар (534 песни) [6]. Здесь разговорное *u* (соответствующее лит. *ô*) звучит в песне как *o*, разговорное *u* (соответствующее лит. *o*) — как *o*. Так, при диал. *dvúr, hnúj, stú* (*stôl*), *bý̯* (*bol*), *buu̯a, buu̯o, buli* в пении часто звучит трнавское *ó/o*; ср. в глагольной приставке: «V pondzeli na jarmak *pojdem*»; «Neboj sa, má milá, *pojdem* do špitála. . .»; в корне слов: «Lecel, lecel roj, nad méj miléj *dvór*. . .»; «Já hore nestaňem, mňa hlavička bolí; keď si taká lútoscivá, urob po *vóli*»; в притяжательных местоимениях: «Nelakaj se *moj* najmilší»; в форме прошедшего времени глагола *byť*: «ale dochtor *neból* doma . . .».

---

[2] I. Hošek, O poměru jazyka písní národních k místnímu nářečí, «Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze», Tř. III, VI, 4, 1897.

[3] Там же, стр. 20—21.

[4] Там же, стр. 4—7.

[5] Там же, стр. 22 (далее при цитировании примеров эту работу обозначаем Hošek).

[6] J. Oravec, Reč ľudových piesní a nárečová norma, «Jazykovedné štúdie», II — Dialektológia, Bratislava, 1957.

Корреляции *l'* — *l* словацкого литературного языка в диалекте села Розбеги соответствует *l* — *u̯*; ср. *hu̯ava*, *u̯opata*, *hou̯ubi*, *robiu̯*, *robiu̯a*, *robiu̯o*. Однако при пении, как утверждает Ян Оравец, *u̯* почти совсем не употребляется. В формах прошедшего времени на *-l*, *-la*, *-lo*, по данным Оравца, *u̯* неслоговое не встретилось ни разу: «Jak to majór *zbadal* dole s koňa *skočil* | a nad svojím vojskem šabličku *zatočil*», или: «Okolo Dunajka *chodzila*, krásne pacholátko *nosila*. | Ked sem *išél* prez mesto, ona v okňe *stála* | *prežalostne plakala*, jag bi banda *hrála*». В последней фразе представлены примеры на *l* также и в корне слова (*prežalostne plakala*).

Ср. еще: «Ked sem šél prez háj zelení mú milú naščívit, počul sem spívat *slávička*. . .»; «*Chlope* Janko na *oblok*, či je *mlinár* (ináč «minár») doma, a *mlinár* je ve *mliňe*, mele žitko červené». В уменьшительных образованиях: «Hej, net'ešte sa chlapci mému mad'eránku, u súsedú majú červenú *fijalku*, duša má; Jako si, Jaňíčku, prez tí hori prešél, tuším t'a slavíček pod *kridelkem* nésél». В розбеговском диалекте нет слогового *l*, но в песнях этот звук может появляться, например: «Stávaj, má Andulko, hore, čo ti tak *dlho* ležíš? | V mestečku Lublíňe velká bitka stala, *slnko* sa zatmilo, | krv sa vilévala»[7].

Ян Оравец так пишет о языковых особенностях, присущих художественному стилю: «Здесь идет речь о стирании фонетических и морфологических признаков, не свойственных соседним диалектам. Такое оттеснение узкодиалектных элементов и приспособление к соседним диалектам можно было бы, согласно современным взглядам, назвать созданием интердиалекта. Наш диалект приспосабливается в художественном стиле больше всего к трнавскому диалекту, который уже со времен трнавского университета считается в этой области самым красивым»[8]. Влиянием трнавского диалекта, который здесь, по-видимому, в некоторых отношениях заменяет литературный язык и выполняет его функции, Ян Оравец объясняет замену *u̯* > *l* и *u* > *o*, а также и другие изменения в песенном языке села Розбеги по сравнению с диалектной речью, как-то: употребление в песне *l* слогового, исчезновение дзеканья и цеканья и неупотребление непергласованных форм, свойственных местному диалекту. Подобного же мнения придерживался и И. Гошек. Главной причиной того, что создатели чешских народных песен стремились сочинять новые светские песни на языке песен церковных, было, как он полагал, то, что язык церковных песен считался более благородным, чем повседневная деревенская речь.

Трудно, однако, замену ряда звуков разговорной речи диалекта иными звуками объяснять лишь стремлением использовать в песне более высокий стиль, более «красивую» речь. Необходимо учитывать также и то, что при пении приходится выбирать, где это возможно, те звуки, которые легче можно пропеть при высокой тесситуре или на которые легче «распеть» часть музыкальной фразы[9]. Даже профессиональные певцы невольно прибегают при пении к замене одних звуков, главным образом гласных, другими. «Певцы — пишет В. Топорков,— во имя улучшения тембрового звучания своего голоса» «зачастую совсем не выговаривают согласных букв, гласные же меняют по своему усмотрению, вместо одной подставляют другую, и слова искажаются до неузнаваемости. Мне довелось однажды слышать, как певица пела на слова Пушкина: „Выпьем, добрая *подрожка* (?!) |Бедной юности моей,| Выпьем с горя, где же *крош-*

---

[7] Там же, стр. 76—77.

[8] Там же, стр. 76 (далее при цитировании примеров эту работу обозначаем Oravec).

[9] Так, в русской песне «Не велят Маше за реченьку...» на звук *е* исполняется часть музыкальной фразы, которую легко пропеть на одном звуке, например на *е*, и труднее пропеть на другом.

ка (?!), *Сэрдцу* будет веселе́й". А в „Онегине" Татьяна пела: „Что *мож* (?!) в сраженьях изувечен..."»[10].

Каким же образом крестьяне, не будучи профессиональными певцами и не пройдя вокальной школы, выходят из того положения, когда приходится заменять звук родной им речи диалекта звуком иным, более удобным для пения? Здесь следует иметь в виду, что в языке каждого говорящего наряду с активным запасом фонем, морфем, синтагм, лексем имеется запас звуков, форм и слов, которые он не употребляет, но которые пассивно воспринимает и понимает, когда их употребляет говорящий на соседнем диалекте. Так, например, украинец, который в новом закрытом слоге произносит историческое *о* как *і* (*віз*, *кінь*, *пін*), вполне понимает украинца, который произносит *вуз*, *кунь*, *пуп* или *вйз*, *кйнь*, *пйп*, и даже русского или словака, который говорит *воз*, *конь*, *поп*. Точно так же крестьянин словацкого села Розбеги, сам произнося *hqava*, тем не менее прекрасно понимает говорящего на трнавском диалекте, в речи которого это слово звучит как *hlava*, или, говоря *dvur*, он понимает жителя Трнавы, произносящего *dvor*.

Таким образом, певец из народа иногда использует звуки чужого диалекта, которым он пассивно владеет, но на котором сам не говорит. Это объясняется как стремлением петь более высоким стилем, на более красивом языке, так и стремлением использовать те звуки, которые легче, «удобнее» для певца при исполнении песни.

Иногда певцу бывает легче пропеть песню на диалекте той местности, откуда она была заимствована, или спеть ее на литературном языке, если она в таком виде была им усвоена, чем «переводить» ее на свой диалект, оставляя в то же время заимствованную мелодию без изменения. В особенности это относится к тем случаям, когда в песне имеются рифмы. Так, в словацкой песне «Lecel, lecel roj, | nad méj miléj dvór» (Oravec, стр. 77) нельзя было слово *dvór* заменить диалектным *dvur*, не нарушая при этом рифмы. С другой стороны, в чешской песне «Tvoje modré oči nejsou mně tak milý, | jak mňe bejvávaly každičkou chvíli» (Hošek, стр. 4) необходимо было оставить диалектное *milý*, хотя перед ним стоит лит. *modré*, так как, если бы певец был последовательным и рядом с лит. *modré* употребил лит. *milé*, рифма нарушилась бы. Здесь выбор того или иного гласного обусловлен словесными требованиями текста (рифмой).

При выборе той или иной огласовки слова певцу приходится считаться и с ритмической структурой стиха. Так, иногда из-за требований ритма приходится избегать стяженных гласных. При пении может меняться артикуляция гласных. В этом отношении интересно замечание А. А. Оссовецкого о том, что иногда при пении наблюдаются фонетические особенности, вообще не свойственные данному говору. Характерным примером может служить аканье в пении А. И. Дитятева, о котором Н. Е. Ончуков говорит: «Старины знает А. И. прекрасно, поет твердо и сильно акает при пении, между тем при разговоре аканья совсем незаметно, да и неоткуда ему быть»[11]. «В этих говорах,— объясняет И. А. Оссовецкий,— представлено предударное *о*, склонное к *а*; при пении *о* расширилось, утратило лабиализацию и стало звучать, как *а*, отсюда и „аканье"»[12]. Этим же объясняет Оссовецкий спорадическое аканье Кривополеновой. Этот вывод убедителен, хотя, может быть, и здесь пассивное владение аканьем певцами былин создавало дополнительное благоприятное условие для аканья в пении.

---

[10] В. Топорков, Сила ясного, точного слова, «Советская культура», 19 III 1960.

[11] Н. [Е.] Ончуков, Печорские былины, СПб., 1904, стр. 312.

[12] И. А. Оссовецкий, Язык фольклора и диалект, сб. «Основные проблемы эпоса восточных славян», М., 1958, стр. 180.

*

Отличительной чертой русских, украинских, чешских, словацких, сербских и болгарских песен является йотация начальных гласных слова. И. Гошек приводит значительное число примеров йотации гласных в чешской песне, для которых он отказывается установить какую-либо закономерность или последовательность: «Один певец ставит *j* там, где другой певец его не ставит. Мало того, один и тот же певец в той же самой песне на том же самом месте иногда ставит *j*, иногда не ставит, как ему „взбредет". О какой-либо правильности или последовательности говорить не приходится»[13]. В качестве примеров такой непоследовательности Гошек приводит отрывки из песен:

Jaj di ty miléj na horu,
od'dělej závoru
a sesleč kazaj zelenou (Vít., Hošek, стр. 9);
Počne ščebýtati
a na nás volati:
«Stávej již miléj vod miléj,
ja již je deň bíléj» (Vít., там же).

Некоторые наблюдения И. Гошек все же делает: «Йотация гласных чаще всего бывает в начале строфы, менее часто в начале стиха посреди строфы и редко посреди стиха»[14]. Как следует из приведенных И. Гошеком отрывков песен, йотация внутри стиха встречается на стыке двух гласных и может быть объяснена стремлением избавиться от зияния: «Sedlákovi šmakuj*e*, *jaž* voči vyvaluje» (Roh., Hošek, стр. 8); «Mněla žena múže, *jon* se smrti bál» (Roh., там же, стр. 9). Йотация в начале стиха посреди строфы во всех приведенных Гошеком примерах следует за словом, в предыдущем стихе оканчивающимся на гласный или *j*:

Čekala sem na teb*e*;
jaž ty nehdy z vojny domu přindeš (Roh., Hošek, стр. 8);
Ten já hodím do prudkéj voděnk*y*,
ja sám se dám na vojnu (Roh., там же);
Stávej již miléj vod miléj,
ja již je deň bíléj (Vít., там же, стр. 9).

Примерами йотации в начале строфы, по-видимому, следует считать следующие отрывки песен:

Ješče já se podívám
k tem vítovským zahradám (Vít., Hošek, стр. 8);
Ješčes mně z něj vyloup drahý kamínek (Vít., там же);
Jaj spíš-li milá nebo ne (Vít., там же, стр. 9).

При описании языка словацких народных песен Бела Барток замечает: «Когда слово оканчивается гласным, а следующее за ним слово начинается также с гласного, между этими двумя словами часто вставляется эвфоническое *j* (эту особенность можно часто наблюдать и у мадьярских крестьян)»[15]. В изданных им песнях, однако, йотированный начальный гласный употребляется и в начале песни: «Jovečki, bel'ički» (Bartók, стр. 209), и в середине стиха после согласного: «Ked' ja vajd'*em jo*rat'» (там же, стр. 601); «Koj ja pojd'*em jo*rat'i» (там же, стр. 604).

Йотация гласного *o* отмечена в словацких песнях Пуховской долины[16]. В середине стиха на стыке двух гласных: «siv*é jo*či» (I, стр. 18, 27); «šo-

[13] I. Hošek, указ. соч., стр. 9.
[14] Там же, стр. 9.
[15] Béla Bartók, Slovenské l'udové piesne, I, Bratislava, 1959, стр. 43.
[16] J. Geryk, Slovenské l'udove piesne z Púchovskej doliny, Bratislava, I, 1—1922, 2—1926. В тексте отмечаем римской цифрой выпуск (далее Geryk; в дальнейшем работы, из которых приводятся песни, при повторном цитировании также обозначаются лишь фамилией автора).

hajkov*e* *jo*či» (I, стр. 23); «Čierné *jo*čká» (II, стр. 19); «s čiernym*i* *jo*čima» (I, стр. 11, 21); «d*o* *jo*čú» (I, стр. 28); «svetl*é* *jo*kenečky» (I, стр. 7); «n*a* *jo*kianko» (I, стр. 20); «Čieže t*o* *jo*večky» (II, стр. 28); «Pásel Jank*o* *jo*vce» (II, стр. 31); «Mamk*o*, *jo*žením sa» (II, стр. 29). В начале стиха после слова, оканчивающегося в предшествующем стихе на гласный: «. . . po vod*z*e, |*jo*čká mala čierne. . .» (I, стр. 38). Йотация *о* в середине стиха после согласного: «mojim sivým *jo*čom» (I, стр. 27). В середине слова: «čiern*oj*oke» (I, стр. 19, 29); «čiern*oj*oku» (I, стр. 43).

Значительное число примеров йотации начальных гласных *у*, *о*, *а* на стыке двух гласных в середине стиха можно встретить в украинских песнях. Й о т а ц и я *у*: «*А юж* лем бив за водов...»; «*А юж* я ї рахував...»; «*А юж* ти ся налюбував...»[17]; «Умерла мі жен*а*, *юже*-м вдовец...»; «Б*о юж* м*і й*умерла моя краса» (Колесса, стр. 422). После *й*: «Боже милостивий, *юж* я ту загину» (там же, стр. 341)[18]. Й о т а ц и я *о*: «Та де-ж тот*а*, *й*овечка, что перед водила?» (там же, стр. 290[19]); «Шумна, з білов тварйов, з чорним*и й*очима» (там же, стр. 340); «З*а й*облак си ей поставте...» (там же, стр. 381).

В к о л я д к а х:
Там же ми рôля та й н*е* ёрана,
Та не ёрана, а ни не сѣяна,
Й оре мй, ей ёре вбогій седлячок;
Зедного кôнц*я* ёре з другого сѣе.
Нес*е* ёна, несе на ручках соколя. . .

Ишл*а* ёна, ишла, коли я т*у* ёрав,
Коли я т*у* ёрав, пшеничейку сѣяв. . .

Стал*а* ёна, стала хвильку спочивати. . .[20]

В исторической песне про Платова-казака, которую М. Дикарев помещает в сборнике песен как образец «перехода от одного наречия к другому»:

Только ёдного не взнал
Платового-казака[21].

Йотация начальных гласных при пении русских народных песен привлекла внимание русских диалектологов уже в XIX в. К немногим сравнительно записям, где отмечалась йотация в русских песнях, при этом не только на стыке двух гласных в середине стиха, но и в других положениях, относятся записи песен, сделанные П. И. Якушкиным в Орловской, Рязанской и Тульской губерниях. Мы приводим примеры йотации гласных в русских народных песнях по его записям [22]. Не приводя примеров частой йотации начальных *у*, *а*, *о* на стыке двух гласных в середине стиха, отметим некоторые другие, реже встречающиеся случаи йотации начальных гласных, а именно в начале песни и в начале стиха, а также в середине стиха после согласного.

Й о т а ц и я *у*

1. В начале песни: «*Юж* ты веснушка-весна...» (Якушкин); «*Йю* мине у младой нигадяй, ах, муж дурак...» (там же); «*Ю* ворот, *ю* ворот сасе-

[17] *Ф. К о л е с с а, Народні пісні з Галицької Лемківщини. Тексти й мелодії*, «Етнографіч. збірник видає етнографічна комісія Наук. т-ва ім. Шевченка», XXXIX—XL, Львів, 1929, стр. 354.

[18] Ср. стр. 381 и 384.

[19] Ср. стр. 337.

[20] «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Г о л о в а ц к и м, ч. 2 — Обрядные песни, М., 1878, стр. 9—10.

[21] М. Д и к а р е в, Песни, записанные в сл[ободе] Щучьей Острогожск. уезда (Воронежск. губ.), «Памятная книжка Воронежск. губ. на 1892 г.», 2, отдел III — литературный, 1892, стр. 303.

[22] Записи приводятся по рукописному труду П. Д. Ухова, подготовившего к печати сборник неопубликованных песен из собрания П. В. Киреевского.

нушка стояла...»; «*Ю* ворот девка стояла с молодцом» [23]. Ср. в украинских песнях: «*Юж* иду до гробу темного смутного...» (Колесса, стр. 315); «*Юж* минули весіленька, юж в Ганчові тихо...» (там же, стр. 361); «*Юж*-ем поорав то перелище» (там же, стр. 429); *Юж*-(л)ем поорав півперелога...» (там же).

2. В начале стиха после слова, оканчивающегося в предшествующем стихе на согласный: «Милай мой, *я-ят* какой жа ты ат красаты, ат кралички ятстал, ты ятста*л*, *Ю*шь какую ш нигадяйку любить стал» [24];

Погляди, миленькай, на широкай двор,
Йю нас на дворе туман, туман (Якушкин);
Из-за гор вить гор высоки*х*
*Йю*зайди ты, *йю*зайди, туча грозная... (там же);
Ва б'ашшанскай юл'ицы (2 раза)
Багатай мужи*к* (2 раза).
Ю багатăва мужика (2 раза)
Жана хараша [25].

Ср. в украинских песнях в начале строфы, когда последнее слово предшествующей строфы оканчивается на согласный: «*Юж*-лем покосив, домів позвозив раз...» (конец предыдущей строфы: «...буду *зас*») (Колесса, стр. 429); «*Юж* мя од ґнес не узрите, гласу мі не услышите . . .» (конец предыдущей строфы: «...хробак і ми*ль*) (там же, стр. 315).

3. В начале стиха после слова, оканчивающегося в предшествующем стихе на гласный (примеры из Якушкина):

Ведуть молодца к судье.
*Ю*перед палачь с плетьми...;

Ох да начовать дружку свово йюгаваривал*а*:

*Ю*ш ты миленькой, мил сердешной друг...;

Ни шатай ветирочик в бару сосн*у*.

Йюж так сасёнушки вот ей стаять тошно...;

Па сиред сасёнушки окол пчелы вьютц*а*,

Йю мени молотца, братцы, слезы льютца...;

Сириди садочку на сладкую яблонь*ю*!

Юж я эту яблонькю слезой её абалью...;

Пра степь Маздокск*ю*,

Юж ты степь моя, степь Маздокская...;

Я йёсень всю прыплакал*а*:

Йюж как быть мне девушки...

4. В середине стиха после слова, оканчивающегося на согласный:

Июзайди ты, йюзайди, туча грозная,
Ты йюбей, йюбей, тестя батюшко,
Ты ищо йюбей, йюбей матушку,
Маладу туя жану и я са*м йю*бью (Якушкин);
Енералы, палковнички в черно*м йю*браны (там же);
Как он бая*л ю*гаваривал ее (Будде, стр. 352);
А*х*, *юш* ты тра́вушка [26];

---

[23] Е. Будде, К истории великорусских говоров, Казань, 1896, стр. 352.

[24] Н. Н. Дурново, Мелкие заметки по русскому языку, ЖМНП, 1902, июнь, стр. 259.

[25] С. Н. Прядкин, Краткий очерк говора с. Сергеевки Бобровск. уезда Воронежск. губ., «Воронежск. юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа», I, 1886, стр. 611.

[26] Н. Н. Дурново, Заметка о говоре Шацкого уезда Тамбовск. губ., ИОРЯС, V, 3, 1900, стр. 932.

Сама *ж юспакóилыся* (Дурново, Заметка о говоре..., стр. 932);
Ка*к ю* нáшъј у барыни,
Ка*к ю* наш ю судáрыни... (там же, стр. 943).

В северноруcских былинах:

Да ка*к юмной* от хвастат (Дурново, Мелкие заметки..., стр. 259);
Тонким белым полотенцо*м ютираюсцэ*[27].

В украинской песне:

Вечю*р юж* мі вечю*р, юж* мі 'д вечерови (Колесса, стр. 285).

Йотация *а*

1. В начале песни в украинских песнях:

Йа на меджі черешенька, а под межом дві,
Йа юж з тобом, наймиленьша, *йа* юж з тобом злі (Колесса, стр. 342);
Я там в місті на риночку сталася новина (там же, стр. 362).

В начале гуцульской колядки:

Йа в ліску, в ліску, на жовтім піску!
Ой дай боже! [28]

2. В начале стиха после слова, оканчивающегося в предшествующем стихе на гласный:

*Йя*багрей-кася ты нас, добрых молотцав [предшествующий стих кончается:... над зиленаю (Якушкин)];
Девушка гуляла,
*Ия*на гербавуя лист-бумажичку
Шельма закупала.
*Ия*на писаря, красная девушка, писать наймала (там же).

В гуцульской колядке (здесь же и на стыке гласных в середине стиха):

Виросла сосна, широка-рясне,
Йа в вис высока, *йа* в лист широка,
В кору багрйива, *йа* в верх кудрйива... (Шухевич, стр. 129).

Подобных примеров йотации *а* в гуцульских колядках, собранных В. Шухевичем, много. В украинских колядках йотируется начальный *а* в слове *алилуя* в припеве колядки: «Ялилуй, гей, ялилуй, |Господи боже, помилуй!». Этот припев в колядке начинается с *ялилуй* и после стиха, оканчивающегося на гласный: «полѣ!» (стр. 8), «. . . далеко» (стр. 9), «...стола» (стр. 10), «...Галилейскую» (стр. 13), «...Загородойка» (стр. 41), «...камянна» (стр. 41), «...бѣжала» (стр. 46), «...за высокои» (стр. 52),— и после стиха, оканчивающегося на согласный: «...широких» (стр. 12), «...ангели граут» (стр. 44) (Головацкий).

В украинской песне в Воронежской губ.:

Заховалы сынка
Да й пыд яблонькою,
Я (*йа*) нывисточку
Щё пыд грушою —
пыд колючою.
Я (*йа*) на сынку
чырвона калына,
На нывисточки
Пахущая мнята (Дикарев, стр. 306).

Л. Андрейчин отмечает в болгарской песне йотацию гласных *а* и *у* и приводит следующие примеры:

Сичките мама прелива,
прелива и споменува,
я Лазара не прелива;

[27] А. Д. Григорьев, Архангельские былины и исторические песни, III, СПб., 1910, стр. 85.
[28] В. Шухевич, Гуцульщина, ч. IV, Львів, 1904, стр. 129.

Че сме се много искал*е*,
*я*ла не сме *се ю*зеле;
Стоян си месяц послуша,
т*о ю*тро рано подрани [29],

в которых йотация встречается при стыке двух гласных в середине стиха, а также в начале стиха (при окончании последнего слова предшествующего стиха на гласный).

3. В середине стиха после слова, оканчивающегося на согласный:

Ка*к я*д'ин-та капитан... (Прядкин, стр. 612);
ка*к я*дно акно...[30];
мине замуш *и*ддадуть...[31].

Йотация *о*

В начале стиха после слова, оканчивающегося в предшествующем стихе на гласный (реже — согласный):

Ой раскатайте каменьё да серодикоё;
*Йё*тмыкайте замочик да сорока пудо*ф*;
*Йё*тпирайте заслоночку жалезную[32]
И накладыват кнегина да на праву руку.
*Ё*тсадилась кнегина о*т Ё*лёшеньки... (Григорьев, III, стр. 275—276);
Говорила калика ищэ таково слово:
«*Ё*бзадорюсь я ковда-куплю на тысецю!» (Ончуков, стр. 93);
Вся гульба моя пропал*а*,
(*Й*от) купчиков отставала (Якушкин).

При стыке гласных двух слов йотируется обычно начальный гласный второго слова. Ср. в русских песнях: «ты *я*т красавицы *йя*тстал»; «Маша *йя*ставалася»; «ни *йо*хотою» и т. д. В отдельных случаях последний гласный первого слова получает паразитическое *j* или *i*; первый гласный второго слова также йотируется. Ср. в магнитофонной записи старины о Бутмане: «Как про ста-ро-го с(ы)-ка-зать, да про(й)-ю-да-ло-го. Про(й)ю-да-ло-го с(ы)-ка-зать да до-б(ы)-ра мо-лодца [33]. С этим следует сравнить наблюдения Н. Н. Дурново в деревне Парфёнки: «Паразитное *j* при пении является между гласными; но кроме того, *j* (или *i*) вставляется и после гласной перед согласным в том случае, если слово обрывается на первом слоге и затем повторяется целиком: ва*й* ва калясску; плис и ба*й* бархаты; да*й* да тово; по*й* по три лозыньки; сидит во*й* ворон; ка*й* капитал; ва*й* ва ниволю; пра*й* пращяй улица и мн. др.» [34]. В приведенном выше примере из северной старины слово не обрывается.

Одной из причин появления в русских говорах при пении йотации Н. Н. Дурново считал потребность устранить зияние: «...в разговоре зияние частью устраняется стяжением гласных, частью допускается; при пении зияние, очевидно, чувствуется сильнее, а стяжению гласных мешает ритм песни» [35]. Для йотации гласных были и другие причины, посколь-

[29] Л. Андрейчин, Основни черти в езика и стила на народната песен, сб. «Българско народно творчество», София, 1950, стр. 241.

[30] К. Филатов, Очерк народных говоров Воронежской губ. Приложение, РФВ, XL, 3—4, 1898, стр. 14.

[31] А. [И.] Соболевский, Из истории русского языка, ЖМНП, 1901, октябрь, стр. 398.

[32] А. Д. Григорьев, указ. соч., II, Прага, 1939, стр. 361.

[33] «Былины Печоры и Зимнего берега (Новые записи)», изд. подгот. А. М. Астахова, Э. Г. Бородина-Морозова, Н. П. Колпакова и др., «Памятники русского фольклора», XVII, М.— Л., 1961, стр. 516.

[34] В. Н. Дурново, Мелкие заметки..., стр. 258.

[35] Там же, стр. 259.

ку такое объяснение охватывает не все случаи появления йотации. Так, стремлением устранить зияние нельзя, например, объяснить йотацию начального гласного слова при пении в начале песен и в начале стиха, когда последнее слово предшествующего стиха оканчивается на согласный.

Не лишне вспомнить, что йотирование звуков используется вокалистами при обучении пению, когда гласный звук «переходит в высокую позицию и йот увлекает гласный звук» (по словам профессора Московской консерватории А. В. Доливо). Ту же методику применяют и болгарские и словацкие вокалисты. Народные певцы прибегают, по-видимому, к тому же способу, что и вокалисты. В дальнейших исследованиях необходимо точно установить, в каких положениях появляется йотация при исполнении народных песен: на высоких нотах, при переходе в более высокую позицию и т. п. Что касается йотации в начале стиха, когда последнее слово предшествующего стиха оканчивается на гласный, то здесь в некоторых случаях йотация может объясняться стремлением избежать зияния на стыке двух гласных (при этом необходимо учитывать длину паузы между двумя стихами); в других случаях — тем, что новый стих начинается с высокой ноты; в третьих — и тем и другим.

Остается рассмотреть йотацию в середине стиха после согласного. Она зависит от различных причин. В приведенном отрывке песни «Июзайди ты, йюзайди туча грозная...» йотация в слове *йюбью* после согласного, по-видимому, объясняется влиянием многократно повторенной огласовки *йюбей*, возникшей на стыке двух гласных или после йота. В других случаях йотация гласного после согласного может объясняться особым положением гласного при пении, например при переходе звука в высокую позицию. В некоторых случаях йотирование гласных при пении, возможно, стало в отдельных районах известной певческой манерой.

«Не все гласные звуки (в начале слова.— *П. Б.*) в одинаковой мере,— пишет К. Филатов,— любят и допускают йотацию: чаще всего призвучный *j* является перед гласным *у*... После звука *у* призвучный *j* чаще всего принимают звуки *а* (коренной и вторичный) и *о*. . . Звуки *и* и *е* (*э*) также иногда принимают перед собою *j*, но редко...»[36]. Это относится и к языку песен [37]. На обычную йотацию лишь непередних гласных *а*, *о*, *и* при пении словацких песен указывал Я. Оравец. Не йотируется *i*, так как он легко поется без йотации, *е* йотируется редко.

Исследователи йотации в народных русских и чешских песнях отмечали, что уже для конца XIX и самого начала XX вв. йотация при пении — явление редкое, исчезающее. «Теперь *j* при пении в великорусском наречии,— писал Н. Н. Дурново,— архаизм; кое-где оно сохранилось только в жалких остатках и постепенно исчезает. Так, в говоре Парфёнок его можно слышать только в пении старого поколения; из всех, кто мне пел песни в Калужск. губ. (около реки Угры, в окрестностях Полотняного завода Медын. у.), только одна старуха да один слепой из Мосальск. у. вставляли при пении *j* между гласными. Так же, по-видимому, обстоит дело и в Тульской и Рязанской губ.»[38]. Сходные наблюдения при записи чешских песен в конце XIX в. сделал И. Гошек: «Более молодые певцы или совсем не вставляют йот или только в редких случаях, когда „оговорятся“»[39].

---

[36] К. Филатов, указ. соч., РФВ, XXXIX, 3—4, 1897, стр. 269.

[37] Н. Н. Дурново, приводя в своих «Мелких заметках...» (стр. 258) примеры йотации гласных из статьи К. Филатова, отмечает: «В записанных им (Филатовым) образцах разговорного языка вставного *j* нет». В другой работе «Описание говора дер. Парфенок» (РФВ, XLIV, 3—4, 1900, стр. 210) Дурново писал: «То же *j* отмечено и Филатовым в двух деревнях Бобровского у. Ворон. губ. (том 37, стр. 218). Филатов не говорит, слышится ли это *j* в разговорной речи. Примеры, приводимые им (кроме тома 37, еще [см.] том 38, стр. 269), взяты только из песен и пословиц. В описываемом говоре такое *j* при пении я (т. е. Н. Н. Дурново.— *П. Б.*) слышал только у старух».

[38] Н. Н. Дурново, Мелкие заметки..., стр. 260.

[39] J. Hošek, указ. соч., стр. 9.

Н. Н. Дурново неоднократно подчеркивал, что «присутствие междугласного *j* в великорусском наречии заставляет искать причин его появления в условиях пения, отличных от условий разговорной речи». И еще: «За исключением немногих единичных случаев в нынешних великорусских (южных и северных) говорах это *j* вставляется исключительно при пении; при пересказе песен словами его уже нет»[40]. И. К. Зайцева также утверждает, что «случаи йотации начальных гласных в разговорной речи очень редки». Однако далее она находит, что «при передаче текста песни без пения певец тоже сохраняет йотированные гласные, хотя в разговорной речи йотация не имеет места (например, в селе Старая Тойда [Анненского р-на Воронежск. обл.]). Там, где йотации нет в говоре, сами певцы, вероятно, осознают йотацию как типично песенную черту, поэтому и при передаче текста песни без пения они сохраняют йотированные *а* ,*у*»[41]. Сопоставляя наблюдения И. К. Зайцевой над «песнями без пения» с наблюдениями Н. Н. Дурново, следует признать, что влияние йотации при пении на передачу текста песни без пения в различных местах было различным.

«...только при пении,— пишет Н. Н. Дурново,— и сербские вставные *j* и *в*, но не лужицкие начальные *j* и *v*, вызванные не условиями пения»[42]. Л. Андрейчин указывает, что йотация встречается и в обычной речи некоторых болгарских диалектов, но «в песне она имеет широкое распространение. Это говорит о том, что она получила известную эстетическую функцию в практике народных певцов»[43]. Таким образом, йотация гласных как характерная черта языка народных песен отмечается у восточных, южных и западных славян.

Надо предостеречь от того, чтобы исследовать одни только отличительные черты песен, не отмечая сходные черты в песне и в разговорном языке. Это может создать неверное представление о существенных различиях между языком песни и языком разговорным[44]. Между тем у одного славянского народа отдельные специфические черты языка песен совсем или почти совсем не встречаются в разговорном языке диалекта, у другого — те же черты могут быть общими и для языка песен, и для языка разговорного, хотя в песне встречаются более часто.

Рассмотренные чешские, словацкие, русские, украинские и болгарские песни показывают, что в них отступления от норм разговорной диалектной речи незначительны. Во всяком случае, песни восточных, западных и южных славянских народов вполне понятны и исполнителям и слушателям. Дальнейшее изучение языка песен следует вести параллельно с изучением музыкальной стороны песни. Изменение артикуляции звуков зависит от мелодии песни, от того, исполняется ли песня форто или пиано, от темпа исполнения и т. п. Язык песни необходимо изучать сравнительно с языком фольклорных непесенных жанров, в особенности с языком фольклорных произведений декламационного характера: приговоров свадебного дружки, рассказов балаганных дедов и других произведений, исполняемых «сказовым» стихом, а также выкриков разносчиков и т. п.; необходимо сопоставление с языком присказок, зачинов, концовок, общих мест (loci communes) сказок.

Эта статья затрагивает лишь несколько вопросов о языке славянских народных песен в их отношении к разговорной диалектной речи. В настоящее время среди лингвистов и фольклористов славянских стран возник интерес к разработке этого вопроса. Для изучения языка русской народ-

[40] Н. Н. Дурново, Мелкие заметки..., стр. 259 и 258. Ср. стр. 257.
[41] И. К. Зайцева, Некоторые фонетические особенности языка русской народной песни..., «Филологич. сборник» («Труды Воронежск. гос. ун-та», LXIII), 1961, стр. 147.
[42] Н. Н. Дурново, Мелкие заметки..., стр. 260.
[43] Л. Андрейчин, указ. соч., стр. 241.
[44] Ср. J. Oravec, указ. соч., стр. 85.

ной песни многое сделано А. П. Евгеньевой и И. А. Оссовецким. За последние годы молодыми советскими лингвистами опубликован ряд работ по языку былин и лирических песен [45]. Представляется, что помимо изучения языка народных песен в его отношении к разговорной речи у одного славянского народа в одном районе и даже в одном селе сейчас своевременно было бы приступить к сравнительному изучению сходных фактов в языке песен у разных славянских народов. То внимание, какое было уделено этой теме на Международной конференции по поэтике, созванной Польской Академией наук в 1961 г., является залогом того, что такое изучение может быть осуществлено.

---

[45] А. З. Трубачева, К вопросу о морфологической системе языка былин, «Уч. зап. [Арзамасск. гос. пед. ин-та]», 3, 1958, стр. 165—207; О. И. Богословская, Морфологические диалектизмы в языке былин сказителей Рябининых (склонение существительных), «Отчетная научная конференция 3—5 марта 1958 г. Тезисы докладов ист.-филол. фак-та [Пермск. гос. ун-та]», 1958; *е е ж е*, Синтаксические диалектизмы в языке былин сказителей Рябининых, «Уч. зап. [Пермск. гос. ун-та]», XV — Русский язык и литература, 1, 1959; С. Кузьменко, Употребление союза «что» в языке русских былин и песен, «Филологич. сборник студенч. об-ва [Ленингр. ун-та]», II, 1959; Е. Б. Артеменко, К вопросу об атрибутивном употреблении кратких прилагательных в русской народной лирической песне, «Труды Воронежск. гос. ун-та», LX, 2. Сб. ист.-филол. фак-та, 1957; *е е ж е*, Синтаксические функции полных и кратких прилагательных в русской народной лирической песне. Автореф. канд. диссерт., Ворочеж, 1958; *е е ж е*, К вопросу об употреблении архаизмов в языке русского фольклора, «Славянск. сборник», II — филологический, Воронеж, 1958; *е е ж е*, О некоторых особенностях порядка слов в русской народной лирической песне, «Филологич. сборник» («Труды Воронежск. гос. ун-та», LXIII), 1961; И. К. Зайцева, Словарные диалектизмы в языке русской народной песни Воронежской области, «Славянск. сборник», II.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

Р. О. ЯКОБСОН

О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ ПЕСЕННОЙ И РАЗГОВОРНОЙ НАРОДНОЙ РЕЧЬЮ

Посвящается В. М. Жирмунскому к 70-летию со дня рождения

Поставленная в работах А. П. Евгеньевой и П. Г. Богатырева задача изучения соответствий между языком народной песни и местными речевыми особенностями представляет, как подчеркнул Д. С. Лихачев, не меньший интерес, чем проблема различий между песенной и обыденной речью. Лишь систематическое сравнительное изучение языка песен и местного диалекта позволит осветить как совпадения, так и расхождения, например покажет и сходство и разницу между функциями тавтологических построений типа *дождь дождит* или уменьшительных и ласкательных суффиксов в народной поэзии и в речевом обиходе фольклорной среды. В этом отношении особенно поучителен такой, например, сопоставительный материал, как обширные записи песен и разговоров от одних и тех же южнославянских сказителей, сделанные в 1933—1935 гг. Милтоном Пэри и хранящиеся в библиотеке Гарвардского университета [1].

Отмеченные наблюдателями расхождения между языком народной песни и говором ее исполнителей требуют спецификации условий, способствующих этому раздвоению. Если при миграции песни чуждые новой среде формы — звуковые, грамматические или словарные — зачастую сохраняются, то надлежит выяснить, какие именно особенности заимствуемого текста оказываются наиболее устойчивыми, с другой же стороны, какие черты исчезают при усвоении песни иным языковым коллективом. В частности, те элементы песенного текста, от утраты которых страдает его стихотворный строй, нередко проявляют наибольший консерватизм,— говоря словами Ф. Е. Корша,— «при переходах одной и той же песни из одной части страны в другую» или «при передаче этой песни от поколения к поколению». Например, при таких переходах могут выжить слова с диалектно несхожим или архаичным местом ударения, если именно этого места требует устойчивая метрическая схема.

Разумеется, такие названные П. Г. Богатыревым факторы, как престиж диалекта или литературного языка, содействуют диффузии чуждых новой среде песенных черт, особенно если эти языковые черты, по крайней мере пассивно, знакомы перенимающей песню среде. Мало того, культурный, в частности эстетический престиж соседнего наречия или интердиалектных стилей речи может быть настолько высок, что в отдельных случаях даже песня местного происхождения способна усвоить черты, отличные от домашней разговорной обиходной речи; так, в так называемых северновеликорусских говорах с намечающейся переходностью к средневеликорусскому наречию аканье при пении любых частушек было модной манерой, местами упреждавшей утрату предударного *о* в разговорной речи.

Как отметил вроцлавский полонист Е. Ворончак, песенная речь особенно четко разнится от местного говора на границах славянских языков;

[1] См. «Српско-хрватске јуначке пјесме», под ред. А. Лорда, I—II, изд. Гарвардск. ун-та и Сербск. АН, 1953—1954.

например, смежные со словаками татранские поляки (Górale) уснащают свои песни всевозможными словакизмами, а кашубский фольклор изобилует польскими песнями, едва лишь приспособленными к местному речевому укладу (в частности, эти песни кашубского репертуара пестрят польскими рифмами, более или менее приближающимися к литературной норме по своему звуковому и морфологическому составу).

Не менее любопытна проблема гибридных произведений в двуязычной среде, в которой славянский язык сочетается с неславянским. Характерный пример тюрко-славянского билингвизма представляют гагаузы Восточной Болгарии, владеющие туземным гагаузским говором, а также болгарским языком. В 1935 г. мне довелось слышать в гагаузском селе Кестрич близ Варны местного исполнителя болгарских эпических песен; текст пелся по-болгарски, и только реплики турецких противников болгарским героям передавались по-гагаузски с соблюдением болгарского песенного размера.

Степень сходства между песенным языком и окружающим говором существенно меняется в зависимости от художественного жанра. Если в русской народной лирике отступления от локальных речевых норм, по справедливому указанию П. Г. Богатырева, относительно невелики, то между языком былевого эпоса и обиходной речью его исполнителей разница несравненно значительней. Несмотря на тесную и многообразную связь между говором сказителя и языком его «старин», в их лексике, фразеологии и грамматическом составе обнаруживается немало особенностей, чуждых не только данному диалекту, но нередко всей совокупности современных русских наречий. На своеобразие былинной речи неоднократно обращал внимание А. А. Шахматов, и в лекциях, и в частных беседах не раз говоривший о настоятельной важности систематических разысканий о языке былин старой и новой записи. Эта задача продолжает стоять перед русской наукой. И Шахматов, и его ученик В. А. Аносов указывали на обилие церковнославянизмов в языке былин[2].

Пристального изучения требуют и русские архаизмы, пронизывающие не только словарь, но и грамматический состав былин. Причина более архаичной окраски языка былин по сравнению с фольклорной лирикой лежит не в большей их древности; некоторые лирические песни уходят корнями в далекое прошлое; с другой стороны, архаизмы проникают даже в былины, повествующие о людях и событиях недавнего времени. «Старины», народное название произведений былевого эпоса, воистину символично. Суть не в том, что былины древнее, а в заведомой тяге к древности, к архаическому стилю. П. Гиро отметил сходную склонность в западной эпопее. Д. С. Лихачев четко противопоставил лирической песне, где «сюжетное время слито с исполнительским», действие былин, приуроченное к «строго ограниченному, условному и идеализированному эпическому времени, в котором существуют особые социальные отношения, особый быт, особое государственное положение Руси, в котором господствуют особые условные мотивировки действий богатырей и врагов Руси, особые психологические законы»[3]. П. Г. Богатырев прав в том, что пафос самоотожествления исполнителя лирической песни с ее героем ищет приближения песенного сказа к говору певца, тогда как вера в отдаленную, стародавнюю древность былинного действия требует не только особой, условной поступи действующих лиц, но и особого, архаичного отпечатка на речитативной речи сказителя, нарочито отмежеванной от его повседневного говора. Существенно способствует слиянию языка лирической песни с говором среды массовость исполнения народной лирики,

[2] Ср. В. В. Виноградов, Отзывы А. А. Шахматова о сочинениях на соискание медалей студентов С.-Петербургского университета, «Докл. и сообщ. [Ин-та русского языка АН СССР]», 1, 1948, стр. 60—65.

[3] D. S. Likhatsčev, Time in Russian folklore, «International journal of Slavic linguistics and poetics», 's-Gravenhage, 1962 (в печати).

тогда как избранность сказителей былевого эпоса благоприятствует сохранению языковой специфики старин.

Речь былин наиболее архаична там, где языковой пережиток поддерживается просодическими требованиями стиха; как подметил Л. Васильев, такие глубокие морфологические архаизмы, как нестяженные формы членных имен прилагательных (*пьяныим*, *добрыих*) или формы неопределенного наклонения на *-ти* (*молвити*), довольно частые в былинах, обыкновенно встречаются в конце стиха[4], т. е. прежде всего там, где их появление поддерживается метрическими требованиями.

Именно законами стихосложения и устойчивостью эпических формул объясняется исключительное богатство акцентологии былин древними формами. Ударения в языке русской народной поэзии и в первую очередь эпоса все еще ждут своего исследователя, хотя отдельные меткие наблюдения в этой области были сделаны в свое время Ф. Е. Коршем, который уловил здесь два рода явлений — особенности старорусского ударения и особенности, обязанные своим происхождением не языку, а стиху. К последним явлениям принадлежит, например, распространенная в былинах утрата начального ударения в словах, синтаксически тесно примыкающих к предыдущему слову с конечным ударением (*таковó слово*, *синё море* и пр.),— энклиза, справедливо охарактеризованная Коршем как «ритмическая, хотя коренящаяся, вероятно, в условиях древнего грамматического ударения»[5]. Поскольку основным типом энклизы в эпических формулах является утрата нисходящего ударения вслед за слогом под восходящим ударением, можно предположить, что в стихе была использована и обобщена акцентологическая особенность древнерусских словосочетаний.

Как показывают в особенности фонографические записи А. Д. Григорьева, поморские сказители при исполнении былин обнаруживают склонность прослаивать группы согласных редуцированными гласными; ср., например, начало былины о Даниле Игнатьевиче: «Ай во стол(и)нём(ы) во городе во Киёве | А у лас(ы)кова князя у В(ы)ладимера | Заводилось пирование, почесьтён(ы) пир, | А про многих да князеи да рус(ы)ких(ы) бояроф, | А про сил(и)них могуциих(ы) богатырей, | А про тех(ы) поленицъ да пре(в)удалыя»[6]. Весьма возможно, что этот ритмический навык коренится в звуковых свойствах древнерусского языка. Есть все основания полагать, что до падения слабых глухих гласных в древнерусском языке устный эпический стих сохранял силлабический характер[7] и что после падения глухих вставка паразитного гласного сперва служила восстановлению расшатанной силлабической сетки. Таким образом, первоначально вставной гласный мог быть стихотворным субститутом утраченных еров.

В сербском народном эпосе наблюдается отчетливая тенденция кончать каждый стих открытым слогом, а если за последней слоговой фонемой стиха все же следуют согласные, таковые у одних гусляров не произносятся, а у других отрываются от гласной фонемы и примыкают в исполнении к начальному слогу дальнейшего стиха. В основе этих версификационных и декламационных особенностей опять-таки лежит древнее языковое явление, а именно последовательная открытость слогов накануне падения слабых глухих. Исчезнув в фонологическом строе речи, открытость слогов остается структурным принципом эпического стиха.

---

[4] Л. Васильев, «Язык „Беломорских былин“», ИОРЯС, VII, кн. 4, 1902, §§ 26, 31.

[5] Ф. Е. Корш, Об ударениях в русских песнях и стихах, сб. ОРЯС, LXX, 1902, стр. 207 3-й пагин.; ср. его же, Введение в науку о славянском стихосложении, СПб., 1907, стр. 51 и сл.

[6] «Архангельские былины и исторические песни», II, Прага, 1939, стр. 509 и сл.

[7] R. Jakobson, Studies in comparative Slavic metrics, «Oxford Slavonic papers», III, 1952.

Осознанная П. Г. Богатыревым необходимость учета специфических песенных звуковых изменений ставит фольклористов перед новой задачей. До сих пор в этой области были сделаны всего лишь немногие, интересные, но слишком разрозненные наблюдения. Таковы ценные замечания Н. С. Трубецкого об оживлении ритма частушек путем сдвига ударений[8]: эти сдвиги «особенно сильно распространены именно в южновеликорусской частушечной поэзии, а в северновеликорусской хотя и встречаются, но далеко не так часто». Территориальное и жанровое распространение этого явления в славянском фольклоре нуждается в систематическом изучении.

Сделанный П. Г. Богатыревым подробный обзор специфически песенной особенности, широко известной в фольклоре славянских народов,— йотации гласных, лишенных йота в обычной речи,— позволяет приступить к лингвистическому истолкованию этого явления, наделенного, согласно верному отзыву Л. Андрейчина, в практике народных певцов определенной эстетической функцией [9]. Появление интервокального йота можно было бы легко объяснить стремлением избежать зияния; однако широкое распространение паразитного йота в славянской песне не только между гласными, но и перед начальным гласным подсказывает иное обоснование. Песенный стих и напев тяготеют к униформации модели слога: в славянских языках основным образцом фонологического строения слога является сочетание неслогового сегмента с сегментом слоговым; обобщение йота упраздняет превокальный нулевой сегмент, противопоставленный превокальному йоту, как после гласного, так и после паузы, а местами и после всякого словораздела (ср. в языке мезенских былин, цитируемых П. Г. Богатыревым: *как юмной*, *полотенцем ютираюсце*).

Лишь в результате тщательного сравнительного анализа языка различных жанров песенного, речитативного и сказового фольклора всех славянских народов при обстоятельном сопоставлении с показаниями славянской диалектологии и истории славянских языков можно будет найти ответ на следующие основные вопросы: 1) соприкосновения и отталкивания между языком отдельных фольклорных жанров и говором их исполнителей; 2) фольклорная миграция языковых форм в интердиалектном и междуславянском масштабе; 3) специфические речевые особенности славянской народной поэзии в ее различных художественных формах и племенных разновидностях.

---

[8] Н. С. Трубецкой, О метрике частушки, сб. «Версты», II, Париж, 1927.
[9] Л. Андрейчин, Основни черти в езика и стила на народната песен, сб. «Българско народно творчество», София, 1950, стр. 241.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

А. РОСЕТТИ

ЗАМЕТКИ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ОНОМАТОПЕИ

Являются ли слова, образованные путем ономатопеи, неотъемлемой частью языка или они были созданы для других целей? По мнению Б. Хала, звукоподражательные слова представляют собой сигналы, «которые подчиняются иным законам, чем обычные слова»[1]. Наше мнение не совпадает с точкой зрения Б. Хала. Звукоподражательные слова образуются посредством звуков живого разговорного языка, причем большинство этих слов входит в словарь данного языка и употребляется на тех же правах, что и прочие слова. В настоящей статье мы ставим себе целью кратко остановиться на употреблении слов, образованных по способу звукоподражания.

Мы оставляем в стороне так называемые «эмоционально-экспрессивные» слова, которые имеют другое происхождение. «Эмоционально-экспрессивные» слова содержат звуки, экспрессивный характер которых признается носителями данного языка и которые употребляются в языке как таковые. Примером могут служить группа *fl* в стихотворении В. Гюго: «Le *fl*ot sur le *fl*ot se replie» или *t* в двустишии Леконта де Лилля: «Et faisan*t* à *t*es bras qu'au*t*our de lui *t*u je*tt*es, Sonner *t*es bracelets où *t*in*t*ent des cloche*tt*es».

Как показал М. Граммон, внутренняя экспрессивная значимость звука «высвобождается» и реализуется только в том случае, если это допускает смысл слова. Так, франц. *citadelle* или *mortadelle* не являются экспрессивными словами, ибо их значение не допускает реализации экспрессивности согласной *l*. М. Граммон показал, что звуки живого языка, используемые в звукоподражательных словах, приблизительно имитируют естественные шумы и звуки[2]; указанная приближенность объясняется тем, что звуки человеческого языка входят в другой ряд по сравнению с прочими звуками и шумами, встречаемыми в природе, а наши органы речи не в состоянии точно воспроизвести эти последние.

Происхождение ономатопеи следует искать в присущей всем языкам внутренней тенденции установить определенную связь между объектами природы и придать языку непосредственный характер. Звукоподражательные слова представляют собой мотивированные знаки, ибо чем меньше значимость знака, тем больше его экспрессивность. Слово вообще, как известно, это произвольный или немотивированный знак, а основной функцией речи является коммуникация. Выбор звуков, входящих в то или иное слово, таким образом, никак не обусловливается характером самих звуков[3].

---

[1] См. B. Hála, Autour du problème de la syllabe, «Phonetica», V, 3—4, 1960, стр. 162.

[2] См. M. Grammont, Onomatopées et mots expressifs, «Trentenaire de la Société pour l'étude des langues romanes», Montpellier, 1961, стр. 264, 273.

[3] См.: K. Bühler, Sprachtheorie, Jena, 1934, стр. 195 и сл.; его же, L'onomatopée et la fonction représentative du langage, «Psychologie du langage», Paris, 1933, стр. 101; J. M. Kořínek, Laut und Wortbedeutung, TCLP, VIII, 1939, стр. 58—65; S. Karcevsky, Introduction à l'étude de l'interjection, «Cahiers Ferdinand de Saussure», I, 1941, стр. 57—75; E. Buyssens, La nature du signe linguistique, «Acta linguistica», II, 1941, стр. 83—86. О реакции говорящих на звуки и шумы см. результаты экспериментов, обобщенные в книге: H. Wissemann Untersuchungen zur Onomatopoiie, Heidelberg, 1954.

Обратимся к фактам. В новогреческом языке ряд глаголов образуется по способу звукоподражания. Таковы γαβγίζω «лаять», γκαρίζω «реветь (об осле)», νιαουρίζω «мяукать», πλατσαρίζω «плескаться», τσακίζω «ломать», τσουγγρίζω «чокаться», τσιρίζω «издавать пронзительный крик», τσιτσιρίζω «шуршать, хрустеть», κακανίζω «разразиться смехом». Звукоподражательные слова особенно часто встречаются в языке поэзии: κλωνοφλίφλισμα (из κλῶνος «ветка» и φλίφλισμα — звукоподражательное слово, обозначающее шелест листьев или журчанье воды), νερομουρμούρισμα (из νερό «вода» и μουρμούρισμα «журчанье») и т. д.[4].

В словаре румынского языка большое место отводится звукоподражательным словам. Некогда такие слова были отмечены С. Пушкарю. Приведем несколько примеров: *bîjbîi* «искать ощупью», *bîzîi* «жужжать», *bocăni* «стучать, ударять», *bombăni* «ругаться, браниться», *clămpăni* «стучать (зубами)», *clănţăni* «стучать зубами», *dudui* «звучать, раздаваться (о звуке)», *fîţîi* «биться, трепетать», *gîgîi* «гоготать, болтать», *gîlgîi* «издавать булькающие звуки», *mormăi* «хрюкать», *sfîrîi* «потрескивать, шипеть», *sîsîi* «шипеть, сюсюкать», *ţăcăni* «стучать, щелкать», *zăngăni* «звенеть»[5].

В языках народов Африки и Дальнего Востока широко используются звукоподражательные слова. Так, в языке эве (Западная Африка) находим: *gblugblugblu* «der Gang des stier und steif vor sich hingehenden Büffels oder eines entsprechend gebauten Menschen», *hɔhɔhɔhɔ* «beschreibt einen korpulenten, etwas schwerfällig und schwabbelig einhergehenden Menschen», *hloyihloyi* «gehen mit vielen am Körper bammelnden Gegenständen und in losen, flatternden und schuckelnden Kleidern»[6]. Ср. также примеры из малгашского языка *fofofófo* «сильный порыв ветра; ярость», *póaka* «сильный шум; появление солнца», *síotra* или *síotsa* «крик серого попугая», *mivovó* «лаять», *tsobatsóba* «звуки, издаваемые при ходьбе в воде»[7].

*

Эти несколько примеров, взятые из различных языков, показывают, что звукоподражательные слова разговорного языка, состоящие из звуков, приблизительно имитирующих естественные шумы и звуки, используются в словаре того или иного языка на тех же основаниях, что и все остальные словарные элементы[8].

Перевел с французского *М. М. Маковский*

---

[4] См. A. Mirambel, La langue grecque moderne, Paris, 1959, стр. 387 и сл.

[5] См. S. Puşcariu, Les onomatopées dans la langue roumaine, «Études de linguistique roumaine», Cluj — Bucureşti, 1937, стр. 319 и сл. Все румынские примеры, приведенные выше, бытуют в живом языковом употреблении и зарегистрированы словарями. См., например, Dicţionarul limbii romîne moderne (Ed. Academiei RPR), Bucureşti, 1958, s. v.

[6] См. D. Westermann, Laut und Sinn in einigen Westafrikanischen Sprachen, «Archiv für vergleichende Phonetik», I, 3, 1937, стр. 159.

[7] См. S. Bernard-Thierry, Les onomatopées en malgache, BSLP, LV, 1, 1960, стр. 241, 244, 247, 249.

[8] Можно легко увеличить количество примеров, обратившись к обширным спискам слов, приводимым в указанных выше работах.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

А. К. СОЛОВЬЕВА

ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОВОРЕНИЯ

1. Вводные замечания

Среди основных проблем современного языкознания важное место занимают вопросы лингвистики, исследование которых требует прежде всего решения одного из кардинальных вопросов нашей науки — вопроса о «бытии» языка, формулируемого обычно как вопрос о соотношении языка и речи. Ясно, что реально, в опыте нам дана только речь — письменная и устная, причем речь отдельных индивидов[1]. Речь каждого индивида всегда отличается особенностями[2], которые иногда оказываются резко выраженными и весьма своеобразными. Но как бы своеобразны *ни были индивидуальные особенности*, они всегда существуют на фоне тех общих свойств данного языка, которые делают возможным общение между разными членами данного языкового коллектива.

В настоящее время все чаще наблюдаются попытки объяснить соотношение языка и речи как соотношение кода и передаваемого посредством него сообщения. Такая интерпретация соотношения языка и речи подразумевает, что в речи нет ничего, чего не было бы в языке в том смысле, какой это могло бы иметь, если бы язык по отношению к речи был бы простым «порождающим устройством». Но это не так. Язык не просто «порождает» речь, но и питается ею; он живет и развивается, являясь важнейшим средством человеческого общения только потому, что находится в состоянии почти непрерывного обновления, которое осуществляется путем целого ряда «инноваций», впервые возникающих, конечно, в индивидуальной (во-первых, в устной, главным образом собственно-разговорной[3], и, во-вторых — в письменной, в первую очередь литературно-художественной) речи. Инновации отдельных лиц могут «покоробить» привычно-эстетическое чувство многих[4], но если эти инновации пришлись по вкусу основной массе индивидов, они внедряются в языковую систему. Не принятые коллективом инновации (сочиненные слова, причудливые образные выражения) остаются достоянием речи в узком смысле слова и могут образовывать затейливые узоры на самой периферии языковой системы.

---

[1] Ср. мнение Л. В. Щербы о том, что «... языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности...» [«О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (ИАН СССР. Серия VII, Отд-ние обществ. наук, 1931, 1, стр. 115)].

[2] Отметим, что личные речевые наклонности говорящего теснейшим образом переплетены с групповыми наслоениями и во многом от них зависят; общебиологические признаки — пол, возраст — тоже, разумеется, не оставляют без влияния индивидуальное говорение; наконец, и диалектные (местные) особенности проявляют себя в речах индивидов.

[3] См. об этом у Л. В. Щербы: «... при говорении мы часто употребляем формы, которых никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что главное, ... сочетаем слова, хотя и по определенным законам их сочетания, но зачастую самым неожиданным образом, и во всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые» (указ. соч., стр. 113).

[4] Л. В. Щерба компетентный свидетель того, как инновации, в первые годы после Октября казавшиеся многим «дикими», стали общеупотребительными (Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 118).

Хотя изучению проблемы речи и уделяется теперь значительное внимание[5], реальные речевые произведения настолько сложны, что (даже при всех достижениях, в частности, статистической методики) пути и методы их исследования остаются до сих пор еще очень слабо разработанными. Не покрывая собой понятия устной речи, разговорная речь является важнейшим ее ответвлением. Лексика и синтаксис русской разговорной речи (включая и «фамильярную» речь) в настоящее время систематически изучаются советскими языковедами. В исследовании Н. Ю. Шведовой по синтаксису русской разговорной речи развивается тезис о нормах разговорного синтаксиса, придающих ему в той или иной мере характер «несвободного» и тем самым существенно ограничивающих речевое творчество[6]. Самый материал книги, однако, позволяет несколько иначе рассматривать этот вопрос: 1) некоторые примеры конструкций, разбираемых Н. Ю. Шведовой, носят на себе отпечаток индивидуального употребления[7], 2) система русского синтаксиса обладает несметным богатством средств выражения как для обозначения мыслей, так и для выражения тонких и многообразных эмоций, т. е. русский синтаксис обладает многообразными экспрессивными средствами выражений.

Подобное многообразие лексических средств давно уже привлекало к себе внимание лингвистов. Непосредственный отбор языковых средств из сокровищницы богатейшего русского языка (а разговорная речь по существу спонтанно-непосредственна) является в широком смысле слова речевым творчеством[8]. Дифференциация средств выражения диктуется самой жизнью, потому никак нельзя разговорно-фамильярную речь уподобить художественной, а канцелярский, вообще официальный язык полностью освободить от присущей ему сухости и штампов, как и приостановить влияние одного языкового стиля на другой.

При всей сложности и неисследованности вопроса о речи, следующие две важнейшие категории вырисовываются в настоящее время вполне ясно. Это, во-первых, индивидуально-речевые стили отдельных реальных лиц и, во-вторых, индивидуально-речевая характеристика литературных персонажей. Материалом, освещающим индивидуально-речевые стили, является: 1) речь великих и выдающихся людей, известная по мемуарам, воспоминаниям, биографиям, по опубликованной переписке, и 2) речевая характеристика персонажей в художественных произведениях. Обратимся к материалу, регистрирующему индивидуальную речь великих и выдающихся людей, причем экспрессивные формы привлекут наше особое внимание.

2. Индивидуальное говорение (индивидуально-речевые стили) выдающихся и великих людей

Есть исторические личности, манера говорить которых была на столько своеобразной, что современники не упускали случая зарегистрировать это своеобразие; так, современники отметили лаконизм, исключи-

[5] Отметим, что уже Ш. Балли в своей ставшей классической «Французской стилистике» (1909 г.; русск. перевод—М., 1961, стр. 36) выделяя «индивидуальную стилистику», видел предмет ее в изучении того, «как и в какой степени речь отдельного человека отличается от речи всей языковой группы, при том, что этот человек находится в тех же условиях, что и все прочие ее члены».

[6] Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960.

[7] На это, например, указывает Д. Н. Шмелев в своей рецензии (ВЯ, 1961, 1, стр. 129). Отметим также интересный пример реплики-повтора, приведенный Н. Ю. Шведовой на стр. 283; характерно, что автор сама называет его «ярко-экспрессивно окрашенным»: «слово *обронил* повторяется в одной реплике в устах дворника (И. А. Гончаров, Обыкн. история, I, V) на разные лады и интонации 8 раз. Следует думать, что повтор такого рода индивидуально-экспрессивно окрашен».

[8] Советскому языковедению чужда, разумеется, позиция К. Фосслера, который индивидуализирует и эстетизирует язык в целом.

тельную меткость, афористичность, народный юмор и народную метафоричность речевого стиля Суворова. Знаменитая «Наука побеждать» проникнута особенностями его индивидуального говорения и является важнейшим письменным памятником суворовского стиля. Кто из суворовских солдат не знал афоризма: «Пуля — дура, штык — молодец», и кто из наших современников помнит, что пословицы «Ученье свет, неученье тьма», «Дело мастера боится» ведут свое начало от «Науки побеждать»? Суворову случалось создавать новые слова, которые в общий обиход не вошли, но которые сами по себе составляют одну из ярко-экспрессивных особенностей речевого стиля Суворова; следует отметить, что эти слова были в ходу в ближайшем военном окружении Суворова; ср. *немогузнайка*, *лукавка*, *краснословка*, *двуличка*, *унтеркунфтщики* (последнее относится к тем, кто в походных условиях заботится об удобствах и комфорте, ищет удобную квартиру — Unterkunft, и впервые употреблено Суворовым применительно к австрийцам)[9].

Рассматривая проблему индивидуально-речевого стиля, В. В. Виноградов особо выделяет экспрессивные средства речевого стиля, в качестве иллюстративного материала приводя интереснейшие факты речевой манеры композитора М. И. Глинки[10]. Как указывал В. В. Виноградов ранее, «экспрессия всегда субъективна, характерна и лична — от самого мимолетного до самого устойчивого, от взволнованности мгновения до постоянства не только лица, ближайшей его среды, класса, но и эпохи, народа, культуры»[11]. «Очень индивидуальным» может быть также «возможное применение одного из значений слова»[12]. Своеобразный отпечаток индивидуальному говорению придают также излюбленные словечки и сочетания слов, которые человек повторяет в непринужденном разговоре; это могут быть неожиданные творческие словосочетания [например, часто употреблявшееся М. Глинкой сочетание «богомерзкая и человеконепротивная физиономия»[13]]; это могут быть обычные слова и словосочетания, но если говорящий индивид повторяет их как нечто для себя привычное, они принимают отпечаток его индивидуального говорения в отличие от обычной нормы употребления данного слова или словосочетания.

К. С. Станиславский, воспроизводя в своих воспоминаниях речь А. П. Чехова, приводит свыше 20 раз *послушайте* как зачин его речей[14]. В своих воспоминаниях о Чехове этот же зачин несколько раз приводят Куприн, Скиталец, Бунин, Качалов, Орленев, Фаусек; в воспоминаниях Горького, Короленко и Щукина встречается просто *слушайте*[15]. Этот зачин — как бы бисерная полоска на полотне стилистического портрета Чехова, но она — показатель внимания Чехова к слушателю, интереса к сопоставлению своего мнения с мнением слушателя и желания переубедить. Примеры из воспоминаний К. С. Станиславского: «*Послушайте*! Я же здоров!»; «Вы же, говорят, *чудесно* играете мою пьесу „Медведь". *Послушайте*, сыграйте же»; «*Послушайте*, это же *чудесно*»; «Нельзя же так, *послушайте*. У меня же написано: он носит *чудесные* галстуки»;

---

[9] К. Пигарев, Солдат-полководец. Очерки о Суворове, М., 1944; А. В. Суворов, Наука побеждать, там же. В главе «Атака словом и пером» К. Пигарев подробно характеризует индивидуально-речевой стиль Суворова.

[10] В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 179.

[11] В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 19.

[12] Там же, стр. 21. Важный на наш взгляд вопрос об изучении употребления слова (в отношении к значению и в отличие от него) неоднократно ставился также О. С. Ахмановой («Очерки по общей и русской лексикологии», М., 1957), Р. А. Будаговым («Введение в науку о языке», М., 1957, гл. I), В. А. Звегинцевым («Семаснология», М., 1957, стр. 201, 227, 231, 233).

[13] В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, стр. 179.

[14] К. С. Станиславский, А. П. Чехов в Художественном театре, в кн. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960.

[15] См. кн. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников».

«*Послушайте*, это же *чудесное* дело, это же замечательное дело — ваш театр». В воспоминаниях о Чехове можно встретить обращение *батенька*: «Вот вы бы, *батенька*, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...»; «Не всем же, *батенька*, писать, как Толстой»; «Вы и представить себе не можете, *батенька*, какая это чудесная страна» [Сибирь.— *А. С.*][16]; «Ну, *батенька*, не даст она развода ему!»[17]; «...учителю нужно все знать, *батенька*, все!»[18].

В общем воспоминания рисуют целостный облик словесного портрета Чехова, в котором преобладают простота, ласковость, меткость, добрая, тонкая, иногда язвительная шутка — и их выражающие излюбленные словечки (*послушайте*, *батенька*, *знаете*, *чудесно* и т. п.). Интимная переписка А. П. Чехова, как правило, содержит разговорно-фамильярные лексические обозначения и синтаксические обороты, экспрессивная окраска которых создается благодаря неожиданным сочетаниям здесь, казалось бы, не подходящих по своему значению слов; иногда встречаются и придуманные слова, комизм которых в том, что в их основе лежит совмещение разноплановых структурных моделей, получающих к тому же необычное лексическое наполнение; относительно своего рассказа «О вреде табака» Чехов писал, например, так: «Намерения были благие, а исполнение вышло *плохиссимое*»[19].

Приведем отдельные примеры необычного словообразования (главным образом — посредством уменьшительных и увеличительных суффиксов) и неожиданных словосочетаний из писем А. П. Чехова к О. Л. Книппер[20]: 1) экспрессивно-индивидуальное словообразование: «Актрис*уля*, здравствуй!»; «Стало быть, напишу тебе завтра еще одно письм*ишко*...»; «Получил длин*неющее* письм*ище* от твоего друга д-ра Членова»; «...громадный компресс*ище* на правом боку»; «Сейчас принесли для прочтения драм*ищу* — в 5 актах!!»; «Какой вздор*ище*!». К этой же группе примыкают случаи окказионального словообразования с комическим эффектом: «Неужели будильн*ицкий* художник Чичагов тебе когда-нибудь нравился?»; 2) неожиданные словосочетания: «*Мух* теперь в комнатах *чертова пропасть*...»; «...неистово *дую Нарзан*»; «Вероятно *мужские роли хлопнутся*, *пьеса выедет на женских*»; «Не суди меня за то, что *письма* мои так *пусты* и так *тощи*»; «у Арсения *душеспасительное лицо*»; «*Обстоятельства* такие *подъехали*...»; «...не верь этим пошлым, глупым, *сытым рецензиям*...».

*

В опубликованном переводе многочисленных отрывков из книги С. Хоцинова «Toscanini. An intimate portrait» (London, 1956), где, как это отмечено в редакционном примечании, в «беглых зарисовках переданы живые черты облика великого дирижера», много места уделено речам Тосканини, по которым можно судить о чрезвычайно живом, ярко-эмоциональном, афористическом и категорическом стиле знаменитого музыканта. «Такое-то и такое-то происшествие было „scandalo“ (скандалом) или „una meraviglia“ (чудом). Та или иная женщина была „una bella donna magnifica“ (красивая дама, великолепная) или же „una donna bruta, stupida e schifosa“ (скотина, глупая и омерзительная)». Тосканини бичевал сам себя, если ему не удавалось точно передать свои художественные намерения музыкантам оркестра: «Я — stupido! (дурак)»,— восклицал он. В переводе полностью дан «мучительный допрос, построенный с продуманностью искусного драматурга», который проводил Тосканини, чтобы наказать фальшиво игравшего на репетиции музыканта. Умышленно спокойным тоном Тосканини допрашивал музыканта о точной дате его рождения (год, месяц, число, день недели), а затем кричал: «Это,... это

[16] А. И. Куприн, Памяти Чехова, там же.
[17] А. С. Лазарев-Грузинский, А. П. Чехов, там же.
[18] М. Горький, А. П. Чехов, там же.
[19] А. С. Лазарев-Грузинский, указ. соч.
[20] «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», II, М., 1936.

был *черный день* для музыки». Но, если музыкант исправлял ошибку, дирижер восклицал: «Вот так! Вот так! Значит, вы не глупы. Вы можете хорошо играть... Santa madonna, santissima (святая мадонна, пресвятая)... Теперь *Я* счастлив.. *Вы* счастливы... *Бетховен* счастлив...»[21].

*

Многочисленные письма Бетховена могут привлечь внимание лингвиста особенностями своего стиля, варьирующимися от одного периода его жизни к другому и от адресата к адресату; эти особенности стиля отдельных писем предполагают некоторое общее стилевое единство, охарактеризовать которое подробно не представляется возможным за недостаточной изученностью материала[22]. Мы коротко остановимся на стиле писем Бетховена к музыкальному обществу в Вене Штейнер и К° и к владельцу нотного магазина Тобиасу Хаслингеру, которым в 1815—1816 гг. глухой, часто хворавший Бетховен писал острые (по определению Э. Мюллера-Азова, «heitere») письма, насыщенные юмором и игрой слов.

В шутку Бетховен называл фирму Штейнер и К° своим генеральным штабом (Generalstab, Generallität-Amt), чаще просто генералитетом (Generallität, сокращенно — G-ll-t, G-t, g-ll-t-Amt). Тобиас Хаслингер прозывался адъютантом генерального штаба, и Бетховен обращался к нему иногда «Herr Adjutant», иногда же «*Adjutanterl!* Bestes, kleines Kerlchen!»[23]. Обычно Бетховен подписывался *Der G-s* (т. е. «Der Generalissimus»). По содержанию письма эти деловые (особо остро стоял для Бетховена вопрос о вкравшихся ошибках в его сданных в печать произведениях), по форме лаконичные, повелительно-шуточные, шуточно-грозные в том случае, когда нужно было действовать, по выражению Бетховена, «in Donner und Blitz». В одном письме, адресованном Штейнеру и К° (1816 г.), предлагалось в шутку тотчас же отвести в карцер адъютанта, в другом (1815 г.)— дернуть покрепче адъютанта за левое ушко в наказанье за его провинности [«Was den Adjutant betrifft, ist selbiger sogleich in carcere bringen zu lassen...»; «Man hat den Adjutanten beim linken Ohrläppchen etwas stark anzuziehen»]. За несколько месяцев до смерти, 13 окт. 1826 г., Бетховен не преминул обратиться в юмористической форме к Тобиасу Хаслингеру, в то время ставшему единоличным владельцем фирмы Штейнер и К°: «Наиудивительнейший, в высшей мере достойный восхищения, единственный из всех Тобиасов, будьте здоровы» [«Ganz erstaunlicher, bewunderungswürdigster, einziger aller Tobiasse, lebt wohl»], хотя в предыдущем письме речь шла о том, чтобы по старой памяти в шутку надрать Хаслингеру уши за его провинности.

Экспрессивно-шуточные обращения, индивидуально-экспрессивные переделки имен собственных и словесные характеристики свойственны Бетховену и в отношении некоторых других адресатов. См. обращение к другу — драматургу Ф. Трейтшке: «Lieber, vortrefflichster, *allerdichtester* Dichter» или «Bester! *Dichtester* und *Trachtester*!»; к виолончелисту В. Хаушке: «Liebes *Hauschkerl!*... bestes *Hauschkerl*...»; к директору газеты «Wiener Zeitung» К. Бернарду: «Lieber *Bernardus non Sanctus!*»,

---

[21] С. Хоцинов, Воспоминания о Тосканини, «Советская музыка», 1960, 8, стр. 128, 131, 132. Многочисленные наблюдения С. Хоцинова над стилем речей Тосканини согласованы с наблюдениями Г. Таубмана и других биографов знаменитого дирижера.

[22] Маленькая статья известного эпистолографа Э. Г. фон Мюллера-Азова (E. H. von Müller-Asov, Beethovens Briefstil, «Oesterreichische Musikzeitschrift», 1961, 1) лишь в самых беглых чертах характеризует стиль писем Бетховена; в статье есть указание на диссертацию: H. Gensbaur, Die rhytmische Gestaltung in Beethovens Briefen, Prag, 1945, которая, по-видимому, может представить интерес и для лингвистического понимания стиля писем Бетховена.

[23] «L. van Beethovens sämtliche Briefe», hrsg. E. Kastner. Völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Neuausgabe von J. Kapp, Leipzig, 1923.

«*Dominus Bernardus non Sanctus!*». Бетховен вообще умел использовать шуточную форму для достижения желаемого результата. Пример тому письмо к Фр. Швейгеру, одному из придворных эрцгерцога Рудольфа (1816 г.) и письмо к Ф. Трейтшке (1816 г.).

*

Издатель избранных писем Моцарта А. Лейтцман, известный эпистолограф и литературовед, характеризует эпистолярное наследие Моцарта как письма, в которых жизнь бьет ключом[24]. Указывая на глубоко серьезный тон многих писем, А. Лейтцман подчеркивает в то же время безудержную веселость, склонность к шуткам, забавным эффектам в письмах юного Моцарта[25]: эти письма украшены остротами, игрой слов, переделанными словами.

Так, письмо от 5 ноября 1777 г. к кузине Bäsle (Моцарту 21 год) являет собой образец импровизированных веселых шуток; их тон обусловлен использованием своеобразных слов-эхо, по своему строению представляющих полную параллель смысловому слову, в паре с которым они употреблены и непосредственную рифму к которому они составляют. Среди этих слов-эхо встречаются лексические единицы, используемые либо в значении, весьма отдаленном от их семантики, либо вне всякой связи с их семантикой (например: ersehen — *drehen*; der H: Praelat — *Salat*; schicken — *schlicken*; gesund — *hund*; самое письмо подписано: Der alte junge Sauschwanz-Wolfgang Amadé *Rosenkranz*). Употребляется здесь также множество специально выдуманных слов (например, *hind* — слово-эхо к *sind* или *trief* — к *brief* и др.).

При всем том Моцарт не впадает в бессмыслицу, юмористический эффект создается за счет симметрического построения письма, ритмичного тона шуток и неожиданных сопоставлений. Приведем отрывок из этого письма: «Allerliebstes bäsle *häsle!* Ich habe dero mir so werthes schreiben richtig erhalten *falten*, und daraus ersehen *drehen*, daß der H: vetter *retter*, die fr: baaß *has*, und sie wie, recht wohl auf sind *hind*; wir sind auch gott lob und Danck recht gesund *hund*» и в таком духе далее, на протяжении всей первой страницы письма, в заключение которой Моцарт пишет: «1: es wird ein brief, oder es werden briefe an mich in ihre hände kommen, wo ich sie bitte, *daß* — — *wass?* — — *ja*, *kein fuchs ist kein haaß*, *ja*, *dass* — — *Nun*, *wo bin ich den geblieben?* — — *ja recht*, *beym kommen*»[26]. Неожиданное эмоциональное отступление здесь врывается в изложение, придавая всему изложению экспрессивно-комический оттенок. В более зрелые годы шуточный тон с индивидуальными словообразованиями проявляется в письмах Моцарта к жене, на что указывал в свое время А. Лейтцман[27].

*

Ежели в наших беглых и фрагментарных характеристиках речей *великих и выдающихся людей большое место заняли юмористические* черточки, варьирующиеся в своем лингвистическом аспекте от одной личности к другой, то напомню, что эстетическая категория комического, лежащая в основе разнообразных литературных жанров, получает широкое и своеобразное преломление и в индивидуальном говорении.

На материалах, подобных приведенным выше, легко можно показать, что «стилистические портреты» — при условии, если их черты удачно подмечены и если объектом описания является речь людей замечатель-

---

[24] См. «Einleitung», стр. V, в кн.: «Mozarts Briefe». Ausgewählt und hrsg. von A. Leitzmann, Leipzig, 1916.

[25] Там же, стр. VII.

[26] «Mozarts Briefe», hrsg. von W. A. Bauer und O. E. Deutsch, Frankfurt-am-Main 1960, стр. 42—44.

[27] О стиле писем Моцарта см. также диссертацию: I. Voser-Hoesli, W. A. Mozarts Briefe, 1948.

ных, могут быть обрисованы даже лицами, особой художественной силой не обладающими. Создание же речевой характеристики персонажей в художественных произведениях, как известно, состоит «не в отступлении от действующих правил языка, а в отборе и комбинировании материалов, т. е. в специфике их функционального применения»[28]. Обратимся теперь к материалам, иллюстрирующим особенности речевых характеристик отдельных литературных персонажей.

3. Речевые характеристики персонажей литературных произведений

В. В. Виноградов глубоко проанализировал разные способы построения речевых характеристик литературных персонажей и, в частности,— «„личностные“ субъективно-экспрессивные формы стиля», благодаря которым создается индивидуализация образа, причем именно «в формах его индивидуализации открывается выход за пределы социально-бытовой связанности»[29].

«Личностная экспрессия» в речах литературного персонажа— предмет нашего ближайшего внимания. Попытаемся описать индивидуальные языковые приемы речевых стилей литературных персонажей, как они проявляются в прямой речи (ибо только этот вид речей персонажей тесно связан с живым разговором), во-первых, со стороны лексики и, во-вторых, со стороны синтаксиса; при этом мы абстрагируемся от сложного взаимодействия прямой речи с другими приемами создания речевой характеристики, явственно носящими авторский отпечаток (несобственно прямая речь, внутренняя речь и др.), как и от глубочайшей связи речей персонажей с художественным авторским повествованием (речевая ситуация вкратце описывается здесь только в пояснительных целях).

Проследить общелингвистическую связь между значением слова и его индивидуальным употреблением, наметить суммарную и приблизительную классификацию типов речи (в известном соответствии с типами темперамента и характера[30]) является ближайшей задачей нижеследующего.

а) Лексические особенности (излюбленные словечки, индивидуальные образы, сравнения).

Создавая речевую характеристику одного из представителей «господ» в «Плодах просвещения» — Василия Леонидовича Звездинцева (Вово), Л. Н. Толстой использует сочетание *а, что?*, своего рода концовку, которой тот неизменно заканчивает каждое свое «суждение»; таких *а, что?* на страницах комедии насчитывается 17. *А, что?* Василия Леонидовича претенциозно и бессодержательно, как вся его фигура. Совсем иное впечатление производит повторение, вложенное в уста 3-го мужика и представляющее собой творческое сравнение, которое он сознательно пускает в ход как оружие убеждения «господ»: «земля наша малая, не то что скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда». Он повторяет это сравнение для убедительности семь раз. Приведем два варианта этого сравнения, следующего в речи 3-го мужика за экспрессивными обращениями к «господам»: «Отец! земля малая, не то что скотину,— куренка, скажем, и того выпустить некуда»; «Отец, помилосердствуй! Земля малая, не токмо скотину, — курицу, скажем, и ту выпустить некуда».

Если слово бывает употреблено персонажем в сугубо индивидуальном смысле, оно может быть не понято собеседником. Так, в повести Пановой «Кружилиха» тетка кричит прибывшим к ней племянникам Сережке, Геньке и их приятелю Тольке: «В *оболочке* в избу не вваливайтесь; *оболочку* в сенях оставьте». Слово *оболочка* вызвало недоумение Тольки, племянники же объяснили, что тетка так называет пальто, т. е. неодно-

[28] Н. Ю. Шведова, указ. соч., стр. 25.

[29] В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, стр. 481.

[30] Здесь необходимо учитывать, однако, что понятия «темперамент» и «характер» в психологии находятся в процессе формирования.

кратное употребление слова *оболочка* вместо *пальто* привело к тому, что дети привыкли к этой речевой особенности своей тетки. Повторение излюбленных слов и словечек (вызываемое в некоторых случаях косноязычием говорящего лица — например, *того* Акакия Акакиевича в повести Гоголя «Шинель») — тоненькая, как бы бисерная полоска на полотне словесного облика говорящего лица.

Склонность к образному способу выражения, неожиданному, индивидуальному, может служить характерной чертой данного говорящего индивида. На страницах литературных произведений можно встретить уникальные образные сравнения, характерные для того или иного литературного персонажа. Приведем ряд примеров. Отец диакон, один из героев рассказа Л. Андреева «Жили-были», сравнивает архирейскую печать с *ватрушкой* (индивидуально-бытовая ассоциация мыслей). Маленький Вася из «Бежина луга» Тургенева смотрит на звезды и восклицает: «Гляньте-ка, ребятки, гляньте на божьи звездочки, что *пчелки роятся*» (ассоциация на основе восприятий маленького деревенского мальчика). Портной Петрович из повести Гоголя «Шинель» сердится на нитку, не поддающуюся его портняжным усилиям: «не лезет, *варварка*; *уела* меня, шельма этакая». Жена помещика-спирита Звездинцева («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого) пугается «*резервуара заразы*» (таким ей представляется 3-й мужик). «Глядите — *вулкан сам с собой играет в бильбоке*! *Вулкан в роли циркового жонглера*!»— это очень индивидуальное сравнение принадлежит моряку Пенкрофу (из романа Ж. Верна «Таинственный остров»), язык которого вообще очень богат эмоционально-колоритными элементами. Индивидуальные образы Анны Васильевны (матери Елены) касательно Инсарова: «Боже мой, болгар, умирающий, *голос как из бочки*, *глаза как лукошко*, *скелет скелетом*, сюртук на нем с чужого плеча, *желт как пупавка* — и она его жена, она его любит...». Иветта, героиня одноименного рассказа Ги де Мопассана, берется за вышивание, как указывает Мопассан, 5—6 раз в год «в дни полного затишья», но, очевидно, в мало веселые для нее минуты, раз она прозвала рукоделие «*общественным спасением*» (*le salut publique*).

Прозвища как образы-сравнения могут выступать как характерные в устах лица, которое дает эти прозвища. Иветта называет своего поклонника Сервиньи *Muscade* (*Muscade* — легко выскальзывающий из рук плод мускатного дерева): «Ah! *Muscade*, bonjour, *Muscade*!»— приветствует она его при встрече. Герой повести А. Доде «Малыш» юный поэт Даниель Эйсет дал правящейся ему девушке характерное название *Черные глаза*. Соответственно, все действия девушки передаются глаголами в форме множественного числа: «*Черные глаза* сообщали своему другу», «*Черные глаза* появились» и т. д. Так как образ этот экспрессивно-живой, то и в повествовании автора встречается такая, например, фраза, как: «*Черные глаза* крали сахар». Для характеристики детского упрямства гувернер Карл Иванович употреблял словосочетание «*кукольная комедия*» («это было любимое его слово»,— отмечает Л. Толстой).

Приведем отрывок из диалога между монастырским сторожем и могильщиком-гробовщиком (le fossoyeur): «*Le soleil* va se coucher.— C'est bon, qu'il mette son *bonnet de nuit*» (V. Hugo, Les Misérables). В наше время *se coucher* в отношении солнца не является фигуральным выражением. В то время, когда Гюго писал «Отверженных», этот глагол мог быть употреблен в отношении солнца лишь в переносном смысле[31]. Образ «ночного чепца» в применении к заходящему солнцу, очевидно, индивидуальный, с народной окраской.

Берсенев из романа Тургенева «Накануне» говорит интеллектуальным, мало образным языком. Язык Шубина, напротив, образен, оригинален; шутки ради Шубин использует необычное лексическое наполнение дей-

[31] «Dictionnaire complet de la langue française». Quatre dictionnaires en un seul par P. Larousse, 8-éd., Paris, 1876, стр. 145.

ствующих в языке словообразовательных моделей: «Эх ты, *сочувственник!*» — обращается он к Берсеневу. Шубин не скажет просто: «Здравствуйте, Зоя!», он воскликнет: «Привет смиренного художника очаровательной Зое!». Образы Шубина оригинальны; ср. его обращение к Увару Ивановичу: «Ах вы, представитель *хорового начала*,... черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!» (выражение *хоровое начало* на артистическом языке удачно подразумевает общину). «Он [Инсаров.— *А. С.*] с своею землею связан — не то, что наши *пустые сосуды*, которые *ластятся* к народу: влейся, мол, в нас, живая вода».

Среди индивидуальных особенностей употребления лексики у некоторых литературных персонажей можно отметить пристрастие к уменьшительным и ласкательным суффиксам. Это пристрастие может иметь разные психологические основы и носить разную экспрессивную окраску, но тем не менее, во всех случаях оно обязательно придает речам индивидов известную елейность. В романе Достоевского «Преступление и наказание» Порфирий Петрович сознательно сдабривает уменьшительными и ласкательными словообразованиями свою речь, желая в своих косвенных допросах добиться признания у Раскольникова: «Дай, думаю, *визитик-то* ему (Раскольникову.— *А.С.*) отдам»; «Да *фуражечку*-то отложите-с, точно уйти сейчас собираетесь,право неловко смотреть...»;«Нет,*батюшка* Родион Романыч, тут не Миколка!»; «...нет, уж какой тут Миколка, *голубчик*, Родион Романыч, тут не Миколка!»; «*Губка-то* опять, как и тогда, вздрагивает».

Пристрастие к словам с уменьшительными и ласкательными суффиксами в немалой степени создает впечатление елейности речей Иудушки из романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Пример из разговора с матерью, которая также пристрастна к словам с уменьшительными суффиксами: «Кому темн*енько* да холодн*енько*, а нам светл*ехонько* и тепл*ехонько*. Сидим да чае*к* попиваем. И с сахар*цем* и со сливо*чками* и с лимон*цем*. А захотим с ром*цом*, и с ром*цом* будем пить». И далее Иудушка разглагольствует: «В карт*очки* захотелось поиграть, в карт*очки* поиграем». *Ромец*, *карточки* — индивидуальное употребление моделей уменьшительного словообразования в словнике Иудушки (ср. общеупотребительное *картишки*); слово *провизия* чисто фонетически не поддается уменьшительному словообразованию, однако Иудушка ухитряется сказать *провизийца*[32].

К лексическим особенностям речей индивидов можно отнести меткость, точность выражений в противовес неточности, расплывчатости словесных обозначений, характеристик; точность выражения характеризует, например, речь Джен Эйр (героини одноименного романа Шарлотты Бронте), хотя это не означает, что она владеет искусством меткой речи. Точность и расплывчатость речей могут быть связаны с лаконизмом и пространностью речей, затрагивающими строение фразы.

б) Лексико-синтаксические особенности (выделение речевых типов языка литературных персонажей).

Лаконизм, как и пространность речи, характеризует синтаксис, строение фразы, хотя отбор слов, разумеется, при этом очень не безразличен. Привычная лаконично-категорическая, как и пространная форма выражаться есть отражение черт характера (и темперамента) персонажа. Лаконизм характеризует собой речи старого князя Болконского из «Войны и мира» Толстого; в его речах короткие эмоционально-окрашенные фразы быстро сменяют друг друга: «*Здорова*?.. *Ну*, *так садись*!» (обраще-

[32] Н. Д. Левитов, останавливаясь на вопросах проявлений характера в речи, приводит яркий пример «медоточивых» речей Иудушки: «вот как этот отвратительный лицемер [Иудушка.— *А. С.*] рассказывает об условиях, в которых живет в воспитательном доме прижитый им младенец: „Кроватки чист*енькие*, мамки здоров*енькие*, рубаш*ечки* на дет*ушках* бел*енькие*, сос*очки*, пелен*очки*“» (Н. Д. Левитов, Вопросы психологии характера, 2-е изд., М., 1956, стр. 153).

ние к дочери); «Третье, я сказал, третье» (т. е. третье по счету письмо от Элоизы прочтет); «Белый! Белый! Это значило,— поясняет Толстой,— что Тихон (слуга.— *А. С.*) подавал ему не тот жилет, который он хотел» (в момент рассказа князя Андрея, когда старый князь одевался); «Едешь?» (обращение к сыну при прощании). «Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. „Простились... ступай! — вдруг сказал он.— Ступай!“».

Примером довольно обстоятельных некатегорических словоречений, обусловленных «глубинной колебательностью» его мышления, может служить князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот». Приведем пример из первого разговора князя с генералом Епанчиным: «И, наконец, мне кажется, мы такие розные люди на вид... по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть...». Приведем примеры из речей князя Мышкина в разговоре с Лизаветой Прокофьевной на террасе. Лизавета Прокофьевна спрашивает: «Виноват или нет?». Князь отвечает:— «Столько же, сколько и вы. Впрочем, ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно. Я третьего дня себя виноватым считал, а теперь рассудил, что это не так...». Лизавета Прокофьевна спрашивает: «Верно говоришь, что не влюблен?» (имея в виду: влюблен в Аглаю), князь отвечает: «*Кажется*, совершенно верно». Слова князя вызывают у его собеседницы восклицание: «Ишь ты, „кажется!“». Можно привести некатегорические ответы князя на иногда назойливые и хитрые вопросы Аглаи. Выражение *почти* фигурирует в ответах князя на вопросы соседей по вагону в момент возвращения в Россию. Собеседник ставит под сомнение родство князя с генеральшей Епанчиной. Князь Мышкин, отозвавшийся о генеральше Епанчиной как о своей «дальней родственнице», моментально реагирует на слова собеседника: «О, вы угадали опять,— подхватил белокурый молодой человек,— ведь действительно почти ошибаюсь, то-есть *почти что* не родственница...». Нужно отметить, что междометие *О!* весьма часто предваряет собой высказывания князя, эмоционально их окрашивая.

С другой стороны, можно привести примеры «одиозного» многословия. Многословие, переходящее в самое настоящее пустословие, ярко проявляет себя в речах Иудушки из романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Пространные, пустословные речи Иудушки пестрят, как уже указывалось, уменьшительными словами, которые психологически обусловлены самим характером его разглагольствований.

Используя диалог Максима Максимыча и Печорина, приведенный Н. Д. Левитовым в его книге в качестве примера проявления характера в речи, и привлекая другие высказывания старого штабс-капитана, можно утверждать, что он говорит привычно-эмоциональным языком, особо эмоционально окрашенным в момент испытываемой им радости при свидании с Печориным. Речь Печорина можно охарактеризовать как привычно-интеллектуальную. Не ставя знак равенства между рассудочным и интеллектуальным, будем выделять эмоциональный и интеллектуальный речевой стиль.

Примером интеллектуального стиля речи может служить речевая характеристика князя Андрея из «Войны и мира». Его речи разумны, толковы, сдержаны по эмоциональной окраске. Слова *душенька моя* в обращении к Лизе в момент ее родов контрастируют с его обычной, учтивой, но холодной манерой разговаривать с женой. Он внешне сдержан в выражении своего глубокого чувства к Наташе. В задушевных спорах с Пьером князь Андрей «горячится» умеренно.

Из других примеров интеллектуального типа речи можно привести речевую характеристику Штольца из романа «Обломов» Гончарова, инженера Сайруса Смита из романа Жюля Верна «Таинственный остров», Сомса Форсайта, одного из главных героев произведения Д. Голсуорси

«Сага о Форсайтах»[33]. Здесь важно подчеркнуть, что более или менее ярко выраженная «эмоциональность» или «интеллектуальность» речей литературных персонажей обязательно будет воспринята читателем при непосредственном знакомстве с литературным произведением.

Женщинам обычно более свойственна эмоциональность выражения, но и среди женских литературных типов можно вскрыть сдержанную и экспансивную непосредственную эмоциональность. Среди тургеневских женщин Елена из «Накануне» и Лиза из «Дворянского гнезда», несмотря на глубокую разницу в характерах, обе эмоционально мало экспансивны, их речи не богаты восклицаниями, междометиями, их объединяет внутренняя серьезность, сдержанность, обоим им присущая. Для Елены в момент объяснения с Инсаровым характерно обращение, поражающее сдержанной эмоциональной силой: «О, мой брат, мой друг, мой милый». Другой пример лаконизма, эмоциональной сдержанности и точности — в речах Джен Эйр.

Речи Наташи Ростовой из «Войны и мира» присуща ярко выраженная эмоциональная экспансивность и непосредственность, соответствующие той внутренней «трепетности», восторженности, которая присуща образу Наташи. Наташа — «порох» (выражение отца) как по чувству, так и по мысли. Синтаксис Наташи обычно прерывистый, взволнованный, лексика — эмоционально-окрашенная. Наташа любит повторять слова с эмоциональной окраской, любит неожиданные образные выражения. Примеры из речей юной Наташи: «Видите?... кукла... Мими... Видите» (Наташа вбегает в комнату к матери, когда у той гости в день именин обеих Наталий); «Соня! что ты?.. Что, что с тобой? У-у-у...» (Наташа подбегает к Соне, плачущей на сундуке); «Нет, душенька, голубчик, милая, *персик*, я не отстану, я знаю, что вы знаете» (Наташа бежит за Анной Михайловной, увидев у нее только что полученное письмо с фронта от брата Николая). К Николаю (по поводу поведения Сони): «Ведь правда, что это отлично, благородно!— Да, да? очень благородно? да?— спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами». К Николаю: «*Ведь* стою? *ведь* вот!— говорила она; но не удержалась на цыпочках.— Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы». В знаменитой сцене у окна поздно вечером в Отрадном (которую невольно подслушал князь Андрей) Наташа восклицает: «Соня! Соня!... Ну, как можно спать! *Да ты* посмотри, что за *прелесть!* Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня,— сказала она почти со слезами в голосе.— Ведь эдакой прелестной ночи *никогда*, *никогда* не бывало. ... Нет, ты посмотри, что за луна!... Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда». Этот поток слов, вызванный эмоционально-восторженным душевным состоянием Наташи, изобилует повторениями. Восклицательно-прерывистый синтаксис имеет своеобразную, свойственную речам Наташи, ритмическую мелодию.

Как многие эмоциональные натуры, Наташа обладает большой фантазией, и это сказывается в ее речах, в сравнениях и образах индивидуального порядка. Так, в ночном разговоре с матерью она характеризует Бориса— «он *узкий такой, как часы столовые*... Узкий, знаете, *серый, светлый*», «Безухов — тот *синий, темносиний с красным*, и он *четвероугольный*», вкладывая в эти обозначения свои индивидуальные представления[34].

[33] См. Л. Н. Натан, К вопросу о методике анализа речевой характеристики образа. Автореф. канд. диссерт., М., 1956, где дается следующая характеристика речей Сомса Форсайта: «Одной из характерных индивидуальных особенностей языка Сомса, может быть, наиболее ярко рисующей его образ, следует считать заметную нейтрализацию эмоционального момента, которая проявляется чаще всего в стилистическом снижении значений слов, относящихся к выражению чувств» (стр. 10).

[34] Р. А. Будагов («Введение в науку о языке», М., 1958, стр. 21—22) отмечает, что чеховская «попрыгунья» (Ольга Павловна) вкладывала в слово *стриженый* (применительно к другу Дымова — Коростелеву) особый пейоративный смысл.

Среди мужских литературных типов можно назвать Жака Тибо («Семья Тибо» Р. Мартена дю Гара), речи которого носят ярко выраженную эмоциональную окраску. Можно привести немало примеров, показывающих «прерывистость» синтаксиса, тенденцию к незаконченным фразам в разговорах Жака с братом, с Женни. В этом отношении особо характерно полупризнание Жака: «Видишь ли, Антуан, самое ужасное — это когда не знаешь, где кончается нормальное и где начинается... Нет, не *нормальное*, это глупое слово... как бы сказать?... Не знаешь, являются ли наши чувства... или, верней, инстинкты... Но ты — врач, ты это знаешь... — Слушай. Мы испытываем иногда такие... порывы к тому... или другому... порывы, которые рождаются из глубины нашего существа... Не так ли?...И мы не знаем, испытывают ли и другие люди что-нибудь подобное, или мы какие-то... чудовища!» (ср. в оригинале: R. Martin du Gard, Les Thibault, Paris, 1928, 5, XII). Ср. также другой пример прерывистого синтаксиса из разговора с Женни: «Мои стихи — это чушь!— бросил он грубо. (Она не стала протестовать, даже рукой не шевельнула, и он был благодарен ей за это.).— Надо очень низко меня ценить, чтобы... Те, кто... Ах!— воскликнул он наконец.— Если бы вы только знали, что у меня задумано!— Эта жгучая тема, присутствие Женни и безмолвие леса привели его в такое волнение, что голос у него сорвался и в глазах защипало, словно перед слезами.— Это,— продолжал он после минутной паузы,— это как те, кто поздравляет меня с поступлением в Нормальную школу! Вы даже не представляете, что я сам об этом думаю! Я этого стыжусь. Да, стыжусь! Стыжусь не только того, что принят, стыжусь, что согласился подвергнуться... суду всех этих ... Ах, если бы вы знали, что они такое! Все на одно лицо, выросли на одних и тех же книгах! Книги, вечно одни только книги! И у них я должен клянчить... Я! Я принудил себя... Ах!... Я!». Политические прокламации Жака прекрасны и по своему взволнованно-эмоциональному тону и по своему интеллектуальному содержанию, далекому от пустого мечтательства, пустого политиканства.

Волевое начало у Жака также окрашено эмоциональной стремительностью с первых страниц романа и до гибели Жака. Его юношеское *hop*! в обращении к Даниэлю в фразе: «Si jamais tu refusais maintenant de t'embarquer avec moi, ça ne serait pas long: *hop*!...»[35]. Il fit le geste d'avaler le contenu du flacon. «et je tombe foudroyé» (Les Thibault, 1, VII) — есть выражение этой эмоциональной волевой стремительности. Ее он передал своему маленькому сыну: четырехлетний Жан-Поль показывает дяде Антуану свою детскую стремительную волю, переданную в самом ритме фразы: «Moi, ze rentre! par ce que, moi, ze veux!» (там же, Epilogue, XI). Ритм этой фразы слабо передан в русском переводе: «А я домой! Потому что я сам хочу!».

Речи персонажа, особенно главного, в подлинных литературно-художественных произведениях никак нельзя не только по содержанию, но и по форме (языковой) вложить в уста другого персонажа. Видоизменение речевой характеристики, даже только частичное, может полностью разрушить самый образ.

в) Индивидуально-экспрессивные формы речи в их связи с социально-профессиональными.

Остановимся ниже на взаимопроникновении форм личностно-экспрессивных и социально-экспрессивных в речах литературных персонажей— проблема, которая была подвергнута В. В. Виноградовым особо тщательному анализу на примере речи одного из «бедных людей» — мелкого чиновника Макара Девушкина[36]. Профессиональная окраска дает себя

Характеристики, даваемые Наташей Пьеру и Борису, лингвистически и психологически сложнее и не подразумевают пейоративной нотки.

[35] *Раз* в русском переводе слабее передает звуковое подражание эмоциональному жесту, которое так или иначе налично в *hop*.

[36] См. В. В. Виноградов, О языке художественной литературы.

знать в речах Антуана Тибо; споря с Жаком о политике, он восклицает: «У меня есть дела посерьезнее, чем *щупать пульс Европе*». Лаконичный приказ в устах старого князя Болконского, генерала-аншефа в отставке,— привычная для него форма проявления воли. Образная фразеология Шубина, в свою очередь, обусловлена его принадлежностью к артистическому миру.

Типично-профессиональное (или типично-сословное) и индивидуальное особо тесно переплетено в просторечии, и мнение Ж. Марузо о том, что просторечие бедно средствами личностной экспрессии[37], обоснованно лишь отчасти. Мы видели, что 3-й мужик из «Плодов просвещения» отличается вполне индивидуальной речевой характеристикой. Колоритен, богат народными пословицами и прибаутками язык солдата Платона Каратаева в «Войне и мире» Л. Н. Толстого; характерно, что используемые Платоном Каратаевым народные пословицы окрашены глубоко индивидуальной интонацией, в его речи общенародное и индивидуальное сплетено так тесно, что непредвзятое восприятие (например, Пьер Безухов) принимает одно за другое.

В повести «Казаки» Л. Н. Толстого в речевой характеристике Ванюши, денщика Оленина, представлено сравнительно мало распространенное явление — употребление иностранных слов «барскими слугами». Отметим, что, во-первых, у Ванюши индивидуален самый подбор французских слов *ла фам*, *ла филь*, в этом подборе сказывается желание подразнить Оленина; во-вторых, индивидуальным и в то же время обусловленным сословной принадлежностью Ванюши является его просторечное произношение этих слов, не отделимое от глупого смеха, которым у него сопровождается употребление этих слов.

Сама форма, в которой Ян Гаос, герой романа Пьера Лоти «Исландский рыбак», делает предложение любимой девушке, выявляет в нем рыбака; это краткое, деловито сформулированное предложение (хотя и таящее в себе глубокое чувство) соответствует всему облику исландского рыбака с его суровым образом жизни: «Si vous voulez toujours.... La pêche s'est bien vendue cette année et j'ai un peu d'argent devant moi... ...Nous pourrions faire notre mariage, mademoiselle Gaud, si vous vouliez toujours...».

Чеховский Лука Александрович в своем разговоре с Каштанкой дает своеобразную экспрессивную оценку своего достоинства столяра: «Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра...». Сословную принадлежность столяра здесь подчеркивает слово *супротив*, а существительное *насекомое* употреблено индивидуально в смысле прилагательного *ничтожное*.

*

Полный анализ речи литературного персонажа подразумевает как выявление ее отношения к структуре художественного произведения в целом, так и определение обусловленности речевой характеристики эпохой и ее языком (в основных своих проявлениях). Такой анализ не обязательно должен быть анализом статистическим. В своем анализе речи Макара Девушкина В. В. Виноградов, например, не прибегает к лингвостатистическому методу; он вырисовывает пласты речи один за другим в их целостной структуре. Метод статистического анализа не противопоставляется тем принципам анализа, образцы которого мы видим в трудах В. В. Виноградова, при условии, если при этом дается и синтетическая реконструкция образа с его основными и непосредственно воспринимаемыми «тональностями» речи[38].

---

[37] J. Marouzeau, Précis de stylistique française, 4-e éd., Paris, 1959, стр. 213; ср. также стр. 207.

[38] Можно указать на две диссертации, где использован метод «сплошного лингвистического анализа» для характеристики речей литературных персонажей:

Изучение индивидуального словотворчества и словоупотребления, как и особенностей синтаксических построений в речах литературных персонажей проливает свет на индивидуальное говорение в реальной жизни. Наблюдения над особенностями синтаксических построений не позволяют все же говорить об «индивидуальном синтаксисе» говорящего индивида: речь может идти о синтаксических типах, связанных с чертами характера (а в некоторых случаях — темперамента); если одна индивидуальность, так сказать, тяготеет к определенному синтаксическому типу, то в этом и проявляется ее своеобразие. Основными типами синтаксического построения в соотношении с характерами и темпераментами нам представляются следующие возможные типы речевого стиля, в парном противопоставлении[39] которых, по нашему мнению, сказывается проявление общих психологических законов: 1) лаконизм или обстоятельность речей (последняя может переходить в пространность), 2) категоричность или обусловленность речей, 3) интеллектуальность или эмоциональность речей. Разумеется, в этих синтаксических построениях отбор лексики играет огромную роль, но сам по себе отбор лексики не создает еще намеченных нами типов речевого стиля. Отметим, что между указанными типами речевого стиля может существовать известного рода связь; так, лаконизм нередко оказывается связанным с категорической формой выражения, пространность — с обусловленной манерой говорить.

Подобная типологическая характеристика речевых стилей, объединяющая речь персонажа с его «реалией» (т. е. характером и темпераментом персонажа), нам представляется возможной параллельно изучению стилизации речей литературного персонажа в зависимости от того или иного литературного направления. Нельзя забывать, однако, что индивидуально-речевые стили вырастают на основе живого разговорного языка, составляющего одну из самых важных частей языковой системы в целом, и тем самым отражают данную языковую систему.

Е. В. Розен, Языковые средства создания речевой характеристики литературных персонажей (на материале современного немецкого реалистического романа). Автореф. канд. диссерт., М., 1960; Л. Н. Натан, указ. соч.

[39] Проблеме парного противопоставления стилевых признаков посвящена статья Э. Г. Ризель «Полярные стилевые черты и их языковое воплощение» («Ин. яз. в шк.», 1961, № 3).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

ЯЗЫК СИРЕНИКСКИХ ЭСКИМОСОВ

(Предварительное сообщение)

В 1897 г. акад. В. Ф. Миллер опубликовал первые достоверные сведения о диалектах языка азиатских эскимосов — вутээнском, уныынском и нууканском[1]; основанием для такого сообщения явились полевые записи этнографа Н. Л. Гондатти, посетившего в 1895 г. все эскимосские поселки Чукотского полуострова[2]. Через несколько лет выводы В. Ф. Миллера подтвердил В. Г. Богораз, который совершил специальную поездку к азиатским эскимосам летом 1901 г.[3] Несмотря на явное несовершенство и неточность записей Н. Л. Гондатти, В. Ф. Миллеру удалось установить ряд расхождений между указанными диалектами и диалектами аляскинских и гренландских эскимосов в области фонетики и лексики. В. Ф. Миллер на стр. 158—159 отмечал, что «говоры Вутээн, Уныын и Нуукан настолько различаются друг от друга в фонетическом, морфологическом и лексическом отношении, что могут быть названы наречиями. Из этих наречий Уныынское и Нууканское более близки между собой, чем каждое из них с наречием Вутээнским», а выше на стр. 158 он писал: «вутээнцы не понимают наречия уныынцев, а последние нууканцев» и «для взаимных сношений анадырские эскимосы разных поселков пользуются чукотским языком».

Всестороннее изучение языка сиреникских эскимосов, проводившееся нами в 1948, 1954—1955 и 1960—1961 годах непосредственно среди его носителей, показало, что с чисто лингвистической точки зрения его нельзя именовать диалектом. Автору настоящего сообщения еще в начале 30-х годов пришлось несколько лет жить среди сиреникских эскимосов и довелось лично убедиться в значительных отличиях их языка от языка чаплинских эскимосов[4]. Сиреникцы и чаплинцы всегда общались между собою или на чаплинском диалекте или на чукотском языке; язык сиреникцев был непонятен для других групп эскимосов. Этот язык устойчиво сохранялся до начала 30-х годов текущего столетия, хотя к тому времени говорящих на этом языке насчитывалось не более 60—70 чел. (всего 15 се-

---

[1] *Вутээн* — чукотское название эскимосского поселка *Сиг'ыныкн* (в русской адаптации — *Сиреники*); вутээнский диалект позднее в литературе стал называться сиреникским. *Уныын* — искаженное название эскимосского поселка *Ун'азик'* на мысе Чаплино; уныынский диалект позднее был назван чаплинским, с 1932 г. чаплинский диалект был положен в основу письменного языка азиатских эскимосов. *Нуукан* — неточное название эскимосского поселка на мысе Дежнева — *Нывук'ак'* (в русской адаптации *Наукан*); нууканский диалект ныне называется науканским. Сами эскимосы этих трех диалектов называют себя соответственно *сиг'ыныгмит*, *ун'азиг'мит* и *нывук'аг'мит*.

[2] См.: В. Ф. Миллер, Об эскимосских наречиях Анадырского округа, «Живая старина», 2, 1897, стр. 133—159, а также «Материалы по наречиям инородцев Анадырского округа, собранные Н. Л. Гондатти», там же.

[3] В. Богораз, Материалы для изучения языка азиатских эскимосов, СПб., 1910 (отд. отт. из «Живой старины», II—III, 1909).

[4] В связи с этим следует пересмотреть положение В. Г. Богораза о том, что азиатские диалекты мало различаются между собой (см. В. Богораз, Материалы..., стр. 5—6, 10—13). Язык азиатских эскимосов включает чаплинский и науканский диалекты. За основу письменного языка был принят чаплинский диалект.

мейств); в 1960 г. их оставалось всего 20 чел., что объясняется смешением молодого поколения сиреникцев с носителями чаплинского диалекта.

Географически и лингвистически сиреникцы до конца XIX в. представляли, по-видимому, обособленный от других групп эскимосов этнический коллектив, имевший свои поселения к юго-западу от бухты Провидения. На основании топонимики и устных преданий можно судить, что поселки южной группы эскимосов занимали обширное пространство от мыса Столетия при входе в бухту Провидения до Анадырского лимана. От Провидения на север до залива Лаврентия по побережью были поселки эскимосов центральной азиатской группы, говорившей на языке *ун'азиг'мит* (чаплинцев). К этой же группе примыкали эскимосы о. Лаврентия, язык которых не имеет отличий от языка чаплинцев и которые находились в постоянных экономических и кровнородственных связях с эскимосами побережья. Особую языковую и территориальную группу представляли науканские эскимосы, поселки которых располагались от их главного селения Наукана (*Нывук'ак'* «дернистый») до Уэлена и далее на север. На островах Берингова пролива обитали эскимосы, говорившие на диалекте *имак'лигмит*, близком диалекту эскимосов мыса Уэльского на Аляске. По географическим условиям сиреникцы могли общаться со стороны северо-востока только со своими соседями — чаплинцами (*ун'азиг'мит*), а с северо-запада — с иноязычными соседями — чукчами.

В устных преданиях сиреникцев не сохранилось свидетельств о том, что они пришли на этот берег из других мест и вклинились в широкий эскимосский массив. Их духовная и материальная культура также имеет чисто эскимосские компоненты. Но в фонетике, лексике и грамматическом строе языка сиреникцев обнаруживается много таких элементов, которых нет ни в одном эскимосском диалекте от Чукотки до Гренландии. Несмотря на малочисленность носителей этого языка и постоянное влияние на него чаплинского диалекта, в нем сохранились слои лексики, которые не находят соответствий в других эскимосских диалектах. В фонетике языка сиреникцев имеются звуки, которых, как увидим далее, также нет в других диалектах. Различия в грамматическом строе хотя и значительны, но могут быть объяснены длительным периодом самостоятельного развития.

Судьба языка сиреникских эскимосов исторически сложилась, по-видимому, таким образом, что его древние носители сначала откололись от основного этнического эскимосского коллектива, заселявшего первоначально обширные пространства азиатского побережья Берингова моря, и попали в окружение каких-то иноязычных племен или же в соседство с эскимоидными же племенами типа алеутов, которые отделились от эскимосов еще за много веков (а возможно и тысячелетий) и создали свою островную культуру, близкую эскимосской. В языке сиреникцев имеются лексические и морфологические элементы алеутского языка, те же элементы языка эскимосов о. Нунивак (Аляска), лексические заимствования из чукотского языка и значительный пласт лексики, которая не находит соответствий в указанных языках[5]. Собранный нами материал по языку сиреникских эскимосов может оказаться ценным не только для установления степени родства между эскимосско-алеутскими языками, но также для установления путей миграций, скрещения и пограничных контактов носителей этих языков и взаимосвязи их с носителями других языков.

Лексика сиреникского языка — одно из свидетельств самостоятельности этого языка по отношению к чаплинскому и науканскому диалектам языка азиатских эскимосов. В ней имеется значительный пласт слов, чуждых не только лексике чаплинского диалекта, но и других эскимосских диалектов; слова, восходящие к одному и тому же корню,

[5] См. об этом: Г. А. Меновщиков, Эскимосско-алеутские параллели, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 167. Кафедра языков народов Крайнего Севера, 1960; его же, Новые материалы по эксимосскому и чукотскому языку, ИАН ОЛЯ, 1949, 6.

в сиреникском языке также значительно отличаются фонетически от соответствующих слов чаплинского и других эскимосских диалектов. Например:

	Сирен. яз.	Эским. яз.
«голова»	*ицык'ых'*	*наск'ук'*
«губа»	*упыя*	*к'ызик'*
«рана»	*к'ынлых'*	*ки, ики*
«горло»	*к'ак'ыг'ля*	*иглак*
«плечо»	*ыцх'а*	*туйа*
«рука»	*як'ых'*	*талъик'*
«спина»	*кыгыта*	*хута*
«лопатка» (анат.)	*пыкихтых'*	*хайык*
«сын»	*ну*	*иг'нык'*
«женщина»	*нахсых*	*аг'нак'*
«ребенок»	*тан'ах'*	*таг'нух'ак'*
«старший брат»	*нуских'*	*аныи'ак'*
«сестра»	*нука*	*наяк*
«бурый медведь»	*пах'кыныг'ых'*	*аклъак'* (чапл. *кайн'а*)
«волк»	*к'ыныг'а*	*ама*
«лиса»	*ылўа*	*кавик'*
«колено»	*сигыск'ых'*	*канагак'*
«сердце»	*ун'ыгата*	*их'сяк'ук'*
«кровь»	*ацых'*	*аўк*
«жизнь»	*нагытыг'цалъых'*	*кияг'нык'*
«коса женская»	*пиграся*	*так'ухта*
«усы»	*у'мка*	*ун'ак*
«война»	*карата*	*пильуг'ак'*
«земля»	*ася*	*нуна*
«солнце»	*ук'иг'ных'*	*масяк'* (чапл. *сик'инык'*)
«ветер»	*пувых'*	*анук'а*
«луна»	*нуг'ых'*	*танк'ик'*, *так'ик'*
«лед»	*кысыца*	*сику*
«бревно»	*к'ыцых* (*анкута*)	*унах'сик'*
«железо»	*нан'лъых'*	*сявикынг'ак'*
«евражка»	*аныкыг'ых'*	*сикик, сикшак*
«нерпа»	*алмиграх'*	*ных'сяк'*
«журавль»	*к'ицапру*	*сятылг'ак'*
«женский нож»	*кымысых'*	*уляк'*
«игла»	*пантых'*	*сикук'*
«трусы женск.»	*ралўи*	*к'алъук*
«шапка»	*к'угали*	*насян, насяпрак'*
«весна»	*пулъырах'*	*упынг'ак'*
«лето»	*пулъых'*	*кик*
«зима»	*савлых'*	*уксюк*
«осень»	*ук'йыг'ах'*	*уксяк'*
«день»	*умлъых'*	*аг'нык'*
«утро»	*к'ицых'*, *к'ытых'*	*унак'*
«вечер»	*унувых'*	*иг'иегак'*
«север»	*манцыг'а*	*айгу*

Все приведенные здесь слова относятся к разряду наиболее устойчивых в лексике, поэтому коренное структурно-фонетическое отличие приведенных слов языка сиреникских эскимосов от слов с таким же лексическим значением в большинстве диалектов эскимосского языка свидетельствует о различных источниках их происхождения. Весьма любопытным фактом является то, что в языке сиреникских эскимосов и во многих диалектах эскимосского языка общими по своему происхождению оказываются по большей мере названия морских животных, термины морского промысла и морские географические названия, тогда как лексика, относящаяся к быту, названия частей тела, географические названия, относящиеся к суше, в значительной мере различаются; иначе говоря, морская терминология в сиреникском языке является общеэскимосской, а терминология континентальная («сухопутная») возникла, по-видимому, в определенной континентальной этнической среде, которая оказала существенное влияние на формирование этого языка.

Большинство слов сиреникского языка и чаплинского диалекта, имеющих в своей основе общий корневой элемент и близких по своему значению, в звуковом и структурном отношении претерпели такие изменения, в результате которых отдельные слова удается возвести к общему корню лишь посредством тщательного фонетического анализа. К таким словам, восходящим к общему корню, но в значительной степени видоизменившимся, относятся, например, следующие: сирен. *йафлъых'* «сустав», чапл. *нафлъюк'*; сирен. *акыта* «изголовье», чапл. *акин*; сирен. *куяных'* «позвонок», чапл. *куяпыгах'*; сирен. *ак'их'к'ых'* «желудок», чапл. *ак'сяк'ук'*; сирен. *йувых* «слюна», чапл. *нувак*; сирен. *ак'цлых* «беременная», чапл. *аксялык*; сирен. *пувылъых* «мышка-пеструшка», чапл. *вувылъту* и т. д.

Особенно велики лексические и структурные различия между сиреникским языком и чаплинским диалектом в области глаголов. Даже наиболее употребительные глаголы с одним и тем же значением в указанных языке и диалекте во многих случаях образуются от разных корней; ср.:

	Сирен. яз.	Чапл. диалект
«понимает»	*туныг'ах'тык'ых'тых'*	*нагак'уг'ак'ук'*
«смотрит»	*ыскыцык'ых'тых'*	*сх'апагак'ук'*
«боится»	*маг'йухтык'ых'тых'*	*алин'ак'ух'*
«копает»	*йайух'к'ыск'ых'тых'*	*ллгак'ук'*
«режет»	*ацихпахтык'ых'тыг'а*	*пилягак'а*
«бежит»	*мыграх'к'ыск'ых'тых'*	*ак'фатак'ук'*
«ест»	*тамых'тык'ых'тых'*	*ныг'ак'ук'*

Те глаголы, которые образуются от общих корней, значительно различаются по своей структуре, ср.:

	Сирен. яз.	Чапл. диалект
«спит»	*к'авых'тык'ых'тых'*	*к'аваг'ак'ук'*
«лежит»	*ин'аг'цыг'ытык'ых'тых'*	*ин'ах'тах'ак'ук'*
«дает что-либо»	*тунцык'ых'тыг'а*	*тунак'а*
«дышит»	*аных'сяк'ыск'ых'тых'*	*аных'так'ук'* и т. д.

В области звуковых соответствий в сиреникском языке наблюдается тенденция к замене конечных общеэскимосских смычных согласных *к* и *к'* соответствующими щелевыми согласными *х*, *х'*, что сближает этот язык с алеутским; это же явление наблюдается в нуниваксом диалекте (Аляска). Ср.: чапл., наук. *к'иляк* «небо», сирен. *к'илях*, алеут. *к'илях* и т. д.

Конечный компонент *-н*, встречающийся в именных основах эскимосских диалектов, в сиреникском языке приобретает форму *-та*, ср.: чапл. *ун'люн*, сирен. *ун'люта* «гнездо»; чапл. *каюн*, сирен. *каюта* «помощник», и т. п. В сиреникском языке имеется звук *ц*, являющийся средним между русскими аффрикативными звуками *ц* и *ч*; в эскимосских диалектах этот звук не встречается. Сравнительный анализ показывает, что в сиреникском звук *ц* появляется в тех словах, которым есть соответствия в других диалектах на месте общеэскимосских звуков *й*, *з*, *л*, *с* и *р*: ср.: *ц* ~ *й*: сирен. *тан'цых'* «запястье», чапл. *тан'йак'*; сирен. *цаца* «грудь», чапл. *сайа*; сирен. *ыца* «глаз», чапл. *ийа*; *ц* ~ *з*: сирен. *укацых'* «заяц», чапл. *указик'*; сирен. *кацигйых'* «ларга», чапл. *казигйак'*; *ц* ~ *л*: сирен. *уцымацыг'ах'* «инструмент», чапл. *улимасин*; сирен. *сивыцых'* «первый», чапл. *сивулик'*; *р* ~ *й*: сирен. *к'урн'ых'* «олень», чапл. *к'уйн'ик'*; *ц* ~ *р*: сирен. *ыцихта* «нора», чапл. *рихта*; *ц* ~ *с*: сирен. *цаца* «грудь», чапл. *сайа*.

На ряде общеэскимосских слов, начинающихся компонентом *на-*, в языке сиреникцев можно проследить тенденцию к замене этого компонента компонентом *йа-*(*я-*), ср.: сирен. *йаг'ыйа* «чайка», чапл. *наг'уйа*; сирен. *йапаг'йыг'ах'* «мачта», чапл. *напаг'йак'*; сирен. *йайвых'* «озеро», чапл. *найвак'*.

В языке сиреникцев четко выражена также тенденция к замене общеэскимосских гласных *а*, *у*, *и* гласным *ы* как в формальных, так и в корневых морфемах; ср. *а* ~ *ы*: чапл. *стук* «ноготь», сирен. *ситых*;

чапл. *кымагнак'* «легкое», сирен. *кымыгных'*; чапл. *к'ын'аг'ук'* «сугроб», сирен. *к'ын'ыг'цых'*; *у* ~ *ы*: чапл. *к'утук'* «ключица», сирен. *к'утых'*; чапл. *ак'ук'* «корень», сирен. *ак'ых'*; *и* ~ *ы*: чапл. *увинык'* «туловище», сирен. *увыных'*, чапл. *паник* «дочь», сирен. *паных*. Под воздействием этой замены в ряде слов, восходящих к общему корню, в сиреникском языке и чаплинском диалекте обнаруживается, кроме того, соответствие *у* ~ *а* (в пределах какого-либо одного диалекта такое соответствие невозможно), ср.: чапл. *к'илю* «кишка», сирен. *к'илъя*; чапл. *ивалю* «жила», сирен. *ивыля*; чапл. *тук'у* «смерть», сирен. *тук'а*; чапл. *анигу* «снег», сирен. *аныга*. Следует заметить, что общеэскимосские гласные *а*, *у*, *и* первых слогов, как правило, не подвергаются замене гласным *ы* в тех же словах сиреникского языка. Тематические гласные *и*, *у*, *а* конечных слогов, характеризующие грамматические значения, также не переходят в *ы*.

В грамматике языка сиреникских экимосов по сравнению с эскимосскими диалектами отмечается ряд существенных отличий.

В отличие от всех эксимосских диалектов и алеутского языка, в которых именные и глагольные части речи изменяются по трем грамматическим числам — единственному, двойственному и множественному[6], язык сиреникских эскимосов имеет только два грамматических числа — единственное и множественное. В единственном числе имена выступают в своей исходной форме, а показателем множественного числа является суффикс *й* (*j*): *пантых'* «игла», *пантыг'ий* «иглы»; *ипх'ыта* «гарпун», *ипх'ытый* «гарпуны»; *тума* «след», *тумий* «следы»; *умлъых'* «день», *умлъюй* «дни»; *ан'йых'* «байдара», *ан'йай* «байдары» и т. д.[7]

Склонение в сиреникском языке однотипно: при склонении имен во множественном числе используются те же суффиксы всех косвенных падежей, что и для единственного числа, а абсолютный и относительный падежи совпадают по форме во множественном числе (в относительном падеже имя получает специальный суффикс только в единственном числе, как и в общеэскимосском). Иначе говоря, мн. число косвенных падежных форм остается в сиреникском языке формально не отраженным, ср.:

	Ед. число	Мн. число
абсолют.	*нахсых* «женщина»	*нахсыгий* «женщины»
	ипх'ыта «гарпун»	*ипх'ытый* «гарпуны»
относит.	*нахсыгым* «женщины»	*нахсыгий* «женщин»
	ипх'ытым «гарпуна»	*ипх'ытый* «гарпунов»
твор.	*нахсагнын'* «женщиной»	*нахсагнын'* «женщинами»
	ипх'ытын' «гарпуном»	*ипх'ытын'* «гарпунами»
дат.-напр.	*нахсагну* «к женщине»	*нахсагну* «к женщинам»
	ипх'ыту «к гарпуну»	*ипх'ыту* «к гарпунам»
местн.	*нахсагни* «у женщины»	*нахсагни* «у женщин»
	ипх'ыти «у гарпуна»	*ипх'ыти* «у гарпунов»
продольн.	*нахсахкын* «по женщине»	*нахсахкын* «по женщинам»
	ипх'ытыкын «по гарпуну»	*ипх'ытыкын* «по гарпунам»
сравн.	*нахсахтын* «подобно женщине»	*нахсахтын* «подобно женщинам»
	ипх'ытытын «подобно гарпуну»	*ипх'ытытын* «подобно гарпунам»

В отличие от большинства диалектов эскимосского языка[8], в сиреникском языке суффиксы твор., дат.-напр. и местн. падежей могут употреб-

[6] См. об этом: Г. А. Меновщиков, Эскимосский язык, Л., 1960, стр. 93; В. И. Иохельсон, Унанганский (алеутский) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934, стр. 134.

[7] При образовании отыменных основ форм множественного числа или падежных форм происходит преобразование конечных звуков основы: неотпадающие конечные согласные *х'*, *х* в интервокальном положении и перед звонкими согласными переходят в *г'*, *г* (*пантых'* «игла», *пантыг'ий* «йглы», *пантыг'ну* «к игле»; *нахсых* «женщина», *нахсыгий* «женщины», *нахсыгну* «к женщине»). К основам с конечным гласным или с отпадающими конечными согласными *х'*, *х* суффиксы присоединяются непосредственно, при этом конечные гласные *а*, *ы* чередуются с *и*, *у*, *а*.

[8] См. Г. А. Меновщиков, Об устойчивости грамматического строя и основного словарного фонда эскимосского языка, сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 454.

ляться не только в полном, но еще и в усеченном виде: в последнем случае с точки зрения диахронической они могут рассматриваться, по-видимому, как первичные местоименные компоненты, из которых и образовались падежные суффиксы. Таблица падежных суффиксов сиреникского языка представляется в следующем виде:

	Ед. число	Мн. число
абсолют.	—	*-й* (*-ий*, *ый*)
относит.	*-м*	»
твор.	*-нын'*, *-н'*	совпадает с ед. ч.
дат.-напр.	*-ну*, *-у*	»
местн.	*-ни*, *-и*	»
продольн.	*-кын*	»
сравн.	*-тын*	»

Грамматическое значение падежных форм имен в сиреникском языке то же самое, что и в эскимосских диалектах: имена в абсолютном падеже в предложениях с субъектными формами глагольного сказуемого выступают в функции подлежащего, а с субъектно-объектными формами — в функции прямого дополнения, ср.: *Тана нахсых ылўануг'ымылыг'ых'* «Эта женщина лисой-стала» (*нахсых* «женщина» — подлежащее); *Нахсыгым пийыгутык'ых'тыг'а к'ыпыных'* «Женщина ведет собаку» (*к'ыпыных'* «собака» — прямое дополнение). Имена в относительном падеже в предложениях с субъектно-объектными формами глагольного сказуемого используются в качестве подлежащего (эргативная конструкция предложения), а в притяжательном сочетании двух имен выполняют функцию определения, характеризуя принадлежность одного предмета другому, ср.: *Югым сын'лыг'ах'тык'ых'тыг'а к'ицых* «Человек строгает доску» и *ылўам амираг'а* «лисы шкура». Имена существительные в локативных и сравнительном падежах выполняют те же синтаксические функции, что и в эскимосских диалектах. Примеры: *Юх анымыцых' люнын'* «Человек вышел *из жилища*» (твор.); *Юх пимылыг'ых' син'рану* «Человек пошел *на берег*» (дат.-напр.); *К'урн'ий наг'ытык'ых'туй аси* «Олени живут в тундре» (местн.); *Яг'ыя ллыхтых' мых'к'ын* «Чайка села *на воду*» (продольн.); *Юх пийых'тык'ых'тых' син'ракын* «Человек идет *по берегу*» (продольн.).

Лично-притяжательные формы имеют те же показатели, что и в эскимосских диалектах, исключая отсутствующие в сиреникском языке личные формы двойственного числа и некоторые звуковые несоответствия в отдельных личных показателях; ср.: чапл. *ан'ьянка* «мои байдары», сирен. *ан'ьянька*; чапл. *ан'ьях'пут* «наша байдара», сирен. *ан'йых'пу*. То же самое можно сказать и о системе грамматических форм глагола сиреникского языка, которая в основе своей совпадает с общеэскимосской грамматической системой глагола. Отличие в том, что некоторые слово- и формообразующие показатели в сиреникском языке материально не совпадают с такими же показателями эксимосских диалектов. Ср. показатели лица субъектных форм глаголов: чапл. *к'ыпх'аг'ак'ун'а* «работаю», сирен. *афталг'ах'тык'ых'тын'*; чапл. *к'ыпх'аг'ак'укут* «работаем», сирен. *афталг'ах'тык'ых'тыки*. В результате сопоставления субъектных форм глаголов в сиреникском языке и чаплинском диалекте обнаруживаются следующие соответствия показателей лица:

	Чапл. диалект	Сирен. яз.
1-е лицо ед. числа	*-н'а*	*-н'*
1-е лицо мн.числа	*-кут*	*-ки*
2-е лицо ед. числа	*-тын*	*-тын*
2-е лицо мн.числа	*-си*	*-си*
3-е лицо ед. числа	*-к'*	*-х'*
3-е лицо мн.числа	*-т*	*-й*

Усеченная форма показателя 1-го л. ед. ч. субъектного сиреникского глагола соответствует тому же показателю глаголов в алеутском (суфф.-*н'*).

В языке сиреникцев, как и в чаплинском диалекте, выделяется пять грамматических времен, но лишь показатели двух прошедших и близкого будущего времен здесь частично совпадают; ср.:

	Чапл. диалект	Сирен. яз.
наст. вр.	*к'ыпх'аг'**ак'ун**'а* «я работаю»	*афталг'ах'**тык'ых'тых**'*
близкое прошед.	*к'ыпх'ах'**тун**'а* «я сейчас работал»	*афталг'ах'**тын**'*
прошед.	*к'ыпх'а**ман**'а* «я работал»	*афталг'аг'ы**мыцын**'*
близкое будущ.	*к'ыпх'аг'**нак'ун**'а* «я сейчас буду работать»	*афталг'аг'**инык'цын**'*
будущ.	*к'ыпх'ах'**лъык'ун**'а* «я буду работать»	*афталг'аг'**иныx'тын**'*

Показатели наклонений и других форм глагола сиреникского языка материально также редко совпадают с такими же показателями в чаплинском диалекте. Так, например, показателю изъявительного наклонения *-к'у* чаплинского диалекта в сиреникском языке соответствует показатель *-ты/-цы*; показателю повелит. наклонения субъектно-объектных глаголов *-лъя* чаплинского диалекта здесь соответствует показатель *-сюк* (ср. чапл. *аглялъямкын* «пусть я тебя поведу» и сирен. *аг'аг'ысюкымкын*); показателю сослагательного наклонения чаплинского глагола *-ная/-нъая* в сиреникском языке соответствует показатель *-йуг'ух'/-г'усюг'* (ср.: чапл. *агляг'наях'тун'а* «пошел бы я», сирен. *аг'аг'йуг'ух'-тын'*; чапл. *аглянъаяг'амкын* «повел бы я тебя», сирен. *аг'аг'ыг'усюг'ымкын*).

Отрицательные формы глагола в сиреникском языке образуются с помощью суффиксов *-ных'*, *-гы*, *-н'ы*, которым в чаплинском диалекте соответствуют *-нг'и*, *-ига*, *-н'и*; ср.: чапл. *аглигатук'* «не идет», сирен. *аг'агытых'*; чапл. *агляг'наянг'итун'а* «не пошел бы я», сирен. *аг'аг'ьюг'уных'тын'*; чапл. *сх'аман'исин'а*? «Не видел ли ты меня?», сирен. *нын'ысымын'ысын'*?.

Произведенное сопоставление отдельных грамматических форм имен и глаголов позволяет сделать вывод, что грамматические системы сиреникского языка и чаплинского диалекта эскимосского языка являются близкородственными; это сказывается прежде всего в сходстве принципов слово- и формообразования посредством агглютинативных прилеп (суффиксов), в материальном сходстве большинства личных показателей для имен и глаголов, в принципиальном сходстве парадигм склонения и ряда других грамматических форм. Но, наряду с общностью грамматических систем, в сиреникском языке и чаплинском диалекте наличествуют большие различия в области фонетики, лексики и грамматики, которые не позволяют рассматривать этот язык как диалект языка азиатских эскимосов. Эти различия относятся прежде всего к звуковому несовпадению большинства именных и глагольных основ, значительная часть которых восходит к различным источникам, а общеэскимосские основы в сиреникском языке претерпели такие звуковые изменения, что представители этого языка и чаплинского диалекта перестали понимать друг друга. Значительные различия обнаруживаются и при сопоставлении близких по значению морфем слово- и формообразования, многие из которых, будучи общеэскимосскими, получили в сиреникском языке сильно измененное звуковое оформление (ср., например, суффикс отрицания в сирен. яз. *-ных'*, в чапл. *-нг'и*; суффикс 1-го лица мн. числа в сирен. яз. *-ки*, в чапл. *-кут*; суффикс близкого будущего времени в сирен. яз. *-нык'*, в чапл. *-на* и т. д.); значительное же число морфем самостоятельно образовалось в этих родственных языках (ср. суффикс повелительного наклонения субъектно-объектных глаголов в сирен. яз. *-сюк*, в чапл. *-лъя*; суффикс сослагательного наклонения в сирен. яз. *-йуг'ух*,

в чапл. *-ная*; суффикс мн. числа в сирен. яз. *-й*, в чапл. *-т* и т. д.); все это, несомненно, выходит за рамки диалектных различий.

Надо надеяться, что опубликование подготовленных уже текстов, словарных и грамматических материалов по сиреникскому языку привлечет к нему внимание не только языковедов, но и историков, занимающихся установлением генетических связей между языками Америки и Азии[9].

Образец текста[10] и перевод

(1) Мыкы́та айы́мих' нах'сы́г'раг'а́г'ылы̄мта́ сукы́рых'ты̄к'ылъы̄г'ыки́, аг'ъю́х'сины́писы̄лъы̄г'ыки́[11]. (2) Ко́ннын' ымлъы́угг'ы̄ты̄сиг'ни́, рыглы́пигы̄йылъы̄г'ыки́ к'алъю́г'ын. (3) Ӣмыты́н ак'ы́маг'ӯг'йылъы̄г'ыки́ ы́лъы̄г'аг'ынхӯа́ к'ирпа́ӯилы̄г'ыки́ афта́лг'аг'нӯ́. (4) Ӣмыты́н к'о́ннын' игля́к'шанӯ́ симля́г'ита̄ныкы̄ск'ых'ты̄ки́, к'алъю́г'ынк'у́н ӣмыты́н тамы́лъых'пӯ тру́додня́кын алъы́лъыг'ы́х'. (5) Афта́лг'аны́лъкыгы́мта̄, тамы́г'ъюны́лн'уг'ни́, афта́лг'ак'ы̄гымта́, тамы́г'ъюкша́ни́. (6) Туны́г'аг'цы́лъыг'ы̄ки́ амсы́нихлъыкӯ. (7) Айы́мих' мыкы́та налъы́кыкы́гынӯ тру́додня́м наг'ы́тыг'да́лъх'а̄. (8) Ляг'ы́юхса́г'ы̄ты̄к'ых'ты̄кын'и́й улъы́пу мыкы́та. (9) Айы́мих' мыкы́та наг'ы́тык'ы́х'ты̄ки́ налъы́клъымта̄ лыга́н. (10) Ӣмыты́н сюмы́х'таг'а́г'ых'ты̄ки́ наг'ы́тылъымтӯ мыкы́та, к'алъю́г'ынк'у́н ӣмыты́н мыкы́та ак'ы́маг'ӯк'цыг'ы́лыг'ы̄ки́. (11) Аг'ы̄лык'ы́х'ты̄к'ы́лъыг'ы̄ки́ мыкы́та мак'а́к'утны́мъну. (12) Укы́тын угны́х'сымн'а́н агра́пу уцы́мыцы́к'ых'ты̄кыгы́пу. (13) Ывы́хталъы́мта̄ ывы́сых'ты́к'ых'ты̄кыгы́пӯ агра́пу. (14) Пулъы́г'иныкы́мн'а́н' ун'ы́вы́сицыкы́лъыг'ы́лки́ ак'а́гнир'у́н'уг'мы́н'а́н. (15) К'алъю́г'ын аты́х'сих'ты̄к'ы́лъыг'ы́ки́. (16) К'алъю́г'ынк'у́н ӣмыты́н кӯ́лын'ы̄наг'ны́н' [«углем». — *Г. М.*] алъы́лъыг'ы̄ки́ гуйгу́нӯ кылъы́г'йылъы́ги́. (17) Гуйгу́пу кылъы́г'йылъы́г'ыки́, пуйы́н'уг'цы́х'пу айы́мих' наг'и́тыг'да́лъых'пӯ. (18) Капы́х'тию́них'ты̄ки́ ук'ы́ск'уны́н', к'алъю́г'ынк'у́н мак'а́к'уты́к'йых'цы́х'пу у́к'цых'. (19) Нани́пу ук'ы́сылъы̄ки́ ук'шу́ны́н', кумы́н'ыты̄ты́к'ы́х'ты́к'ы́гыпӯ ун'лъю́лк'у́сих'. (20) Игля́х'ты́к'ы́лъыг'ы̄ки́ нани́м сяны́н'ыни́ иг'ы́вгалък'у́сих'. (21) Ӣмыты́ни́ыг'цы́г'ара́киглы̄г'аны́н' кумы́н'ын'у́х'ты̄ки́.

(1) Мы раньше, когда были девочками, играли, нас ругали. (2) Всегда бранили нас, потому что веселыми были. (3) Теперь, хорошо поступая, действительно стремимся на работу. (4) Теперь постоянно по пошиву стараемся выполнить [план], потому что теперь еда наша в счет трудодней стала. (5) Если не будем работать, есть не будем, если будем работать, есть будем мы. (6) Бесед слушали много. (7) Раньше мы не знали существования трудодней. (8) Смеялись над нашим языком. (9) Раньше мы жили без знания даже. (10) Теперь стали думать мы о нашей жизни, потому что теперь мы лучше стали (жить). (11) За дровами мы ходили для нашего тепла. (12) Так с наступлением холода наши полога делали мы. (13) Запасая траву, покрывали мы травой наши полога. (14) С наступлением лета делали летние полога, когда много солнца. (15) Потому что переселялись на другое место. (16) А вот теперь углем пользуемся мы в доме, когда перешли. (17) В дома когда перешли, забыли прежнюю жизнь-нашу. (18) Не стали разбивать (толочь) жир, потому что для тепла использовали жир. (19) Жирники наши наполняя теплым жиром, освещались мы целый день. (20) Шили мы около жирников целыми вечерами. (21) Теперь самым ярким светом [электричеством] освещаемся мы.

---

[9] Автором настоящей статьи подготовлены к изданию тексты, грамматический очерк и словарь языка сиреникских эскимосов объемом в 4000 слов. Собрание текстов на этом же языке готовит к печати Е. С. Рубцова.

[10] Записано в с. Сиреники Провиденского р-на Чукотского округа от колхозницы Киргины в ноябре 1960 г.

[11] О типах ударения в эскимосском языке см.: Г. А. Меновщиков Эскимосский язык, стр. 49—52.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

М. А. ГАБИНСКИЙ

ОСОБАЯ НЕЛИЧНАЯ ФОРМА АЛБАНСКОГО ГЛАГОЛА

Характерное для индоевропейских языков развитие инфинитивности путем вытеснения субстантивных черт имен действия [1] глагольными представлено в албанском в своих трех стадиях. Дальше всего эволюция зашла в форме типа *me ba* «делать», инфинитивация которого завершилась в дописьменный период. Тип *për të bërë* «(чтобы) сделать» часто синонимичен инфинитиву, но сам имеет качество такового лишь в особых случаях, давая вторичную инфинитивность спорадически. Ниже рассматривается тип *së bëri*, эволюция которого дает весьма своеобразную картину движения от имени к глаголу, в том числе к инфинитиву [2].

Как показывает опыт, при анализе имен действия и обычно развивающихся из них неличных форм глагола (инфинитив, супины и др.) особо опасно смешение грамматического качества с происхождением или, иначе, актуального тождества с историческим[3]. Так, неразличение инфинитива и имени действия обычно в широко известных трудах по общему языкознанию[4]. Даже в специальных работах об инфинитиве, объективно демонстрирующих его качественную самостоятельность, нередко провозглашается по традиции его принадлежность к глагольным именам[5]. В значительной мере трудности в установлении природы неличных форм глагола связаны с различиями между свойствами разных подтипов существительных, ряд которых может, в противоположность другим, характеризоваться транзитивностью, способностью определяться наречием и др. По этим признакам, как и по семантике, их отграничение от глагола неосуществимо. Еще больше подобных свойств имеют глагольные абстракты ряда языков, различающие залог (типа польских имен на *-nie*), вид (ср. укр. *ухвалення* и *ухвалювання* «решение») и пр. С другой стороны, и то, что признано как инфинитив, может не различать даже залога (как в готском[6]), быть уменьшительным (как изредка встречается в русском, чаще в украинском; ср. также итало-алб. *Zu me e pieturith* «Начал спрашивать её») и т. д. Все это создает видимость отсутствия четкой границы между субстантивностью и неличной глагольностью.

Тем не менее таковая граница отчетливо различима, по меньшей мере в языках, для которых возможна следующая операция. Необходимо: 1) найти среди существительных данного языка такие, которым чуждо всякое выражение лексического или грамматического действия и чья чистая субстантивность заведомо не подлежит никакому сомнению[7]; 2) установить комплекс неотъемлемых для этих существительных

---

[1] Поскольку формирование албанских причастных имен относится к дописьменной эпохе, в данном случае уместна лишь гипотеза об их возникновении путем переосмысления причастия в положениях типа лат. *captum oppidum* «взятие города», с последующей заменой согласования на глагольное управление, известной в разных языках (ср. романский перфект из *habeo rem factam*, эволюцию лат. типа *cupiditas libri legendi* «желание прочитать книгу», укр. *збудовано хату* и т. д.).

[2] О взаимоотношениях этих форм на разных этапах развития инфинитивности в албанском языке см.: М. А. Габинский, К вопросу об утрате инфинитива на Балканах, «Тезисы докладов второй конференции молодых ученых Молдавии», Кишинев, 1960; его же, О безличных формах албанского глагола, там же.

[3] О недопустимости смешения тождеств (актуального и этимологического) в лексикологии см.: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954, стр. 45; его же, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 167; его же, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 67—68.

[4] См., например: Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 124.

[5] См. P. Aalto, Studien zur Geschichte des Infinitivs im Griechischen, Helsinki, 1953 («Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Ser. B, 80, 2), стр. 26, 74, 106; ср. также стр. 27.

[6] См., например, М. М. Гухман, Готский язык, М., 1958, стр. 131, 184.

[7] Сюда попадут прежде всего слова, лексическое значение которых совпадает с грамматическим как предметное, т. е. названия предметов в широком смысле — вещей, животных, людей (но не как имен деятеля: ср. хотя бы русск. *спасатель* и *спаситель*, где выражено отношение к виду; возможно, где-либо подобное отношение выражается в названиях вещей как орудий действия). Результат этой, первой, операции можно принять за данное, считая, что уже установлены признаки полярных 1) чистой субстантивности (лексически-предметные существительные) и 2) чистой глагольности (финитные формы) и что обследованию подлежит лишь промежуточная сфера (глагольные абстракты).

морфологических категорий (например, в русском — род, число и падеж), имеющих минимум общего с финитными формами глагола; 3) разделить все типы глагольных абстрактов данного языка по признаку наличия / отсутствия этого комплекса, вне которого несомненная субстантивность невозможна. В результате *ход*, *ходьба*, *хождение* и т. п. (как и болгарские транзитивные имена *-не*, польские, различающие залог, на *-nie* и др.) окажутся в одной группе с типом *дом*, *волк*, *человек* и т. д., в противоположность *ходить*, *идти*[8]. Разумеется, при наличии у имени действия и неличной глагольной формы (инфинитива и др.) свойственной лишь одному из них оформленности в предложенной операции нет практической необходимости [9]. Такая необходимость возникает при омонимии двух исторически тождественных образований, где качественная дифференциация еще не закреплена формальными показателями, что и заставляет искать какое-либо внешне скрытое свойство, наличествующее лишь в одном из случаев.

В частности, в силу синтаксичности[10] падежа (при синтетизме) и предложного сочетания (при аналитизме), использование падежной формы или предложного сочетания в несинтаксичных для них положениях означает утрату их как синтаксических категорий. Утрата же категории падежа обусловливает отсутствие существительного в языке, в котором оно вне падежной системы невозможно. В десинтактизации реализуется таким образом десубстантивация. (При этом показатель падежа может пережиточно сохранять свой внешний вид.) Десубстантивация имени действия, ранее обладавшего глагольной сочетаемостью, придает ему полную глагольность[11], так как различение специфически глагольных морфокатегорий обязательно лишь для финитных форм.

Указанный процесс интенсивно проходит в албанской форме *së bëri* — бывшем аблативе имени действия *të bërë* «делание». Ее эволюции уделяется явно недостаточное внимание как в трудах по инфинитиву в балканских языках, так и в собственно албанистических работах, албанских и иностранных. Сущность традиционного мнения авторов, уделяющих какое-либо внимание типу *së bëri*, сводится к тому, что этот тип принимают за форму аблатива причины причастных имен действия среднего рода. Хотя такое мнение представляется мало достоверным уже при первом ознакомлении с языковой действительностью, аргументированная оценка его требует документальных данных. В частности, нами были проведены наблюдения как над аблативом причины, так и над типом *së bëri*, встреченными на 10 366 страницах современных албанских текстов. На всем их протяжении причинные связи выражаются сотни раз предлогами *nga*, *prej*, *për*, *për shkak të*, *nga shkaku i*, *për punë të* «из-за, от, с» и др. Аблатив же причины (не считая одиночных *gjëndjesë* «из-за положения», *gazit* «от радости» и *gjumit* «от сна») представлен двумя повторяющимися словоформами: из них одна — *urije* (*uje*, *unit*, *unshimit*) «с голоду» — употреблена 15 раз, а синонимичные ей предложные сочетания *nga urija* — 22 раза и *prej urisë* — 4 раза; другая — *së ftofti* «от холода», которая формально может считаться аблативом лишь как архаизм, отмечена 7 раз, а соответствующее предложное сочетание *nga të ftoftit* — 65 раз. Вне упомянутых текстов изредка встречается аблатив причины и от других слов, который, как и приведенный выше, также архаичен или стилистически окрашен, не образуясь свободно ни от имен вообще, ни, что особо важно, от имен действия. Потому формы типа *urije* с утратой аблативом свойства беспредложно и стилистически нейтрально обозначать причину подверглись десинтактизации и стали наречиями.

Что касается самого типа *së bëri*, то его природа в современном языке, судя по указанным текстам, где он встретился 270 раз, такова. Форма этого типа от глагола *qesh* «смеяться» в сочетании с рядом глаголов образует фразеологизмы, каковы *çkulem* (*çqyhem*, *gajas*, *këputem*, *kërdisem*, *shkrihem*) *së qeshuri* «надрываться со смеху», встретившиеся 23 раза; сюда же относится отмеченное один раз архаично-диалектное *ndaj së gdhiri* «на заре». В прочих случаях употребления типа *së bëri* управляющее им слово стоит в связи лишь с самим данным типом, но не с каким-либо конкретным глаголом, оформленным по этому типу. Среди 246 этих случаев резко преобладают соединения типа *së bëri* с финитивными глаголами, например, *Të gjithë mbaruan së ngrëni* «Все окончили есть» или *Ndërkaq qentë pushuan së lehuri* «Между тем собаки перестали лаять». Глаголы *mbaroj* и *pushoj* в подобных сочетаниях встретились соответственно 72 и 61 раз (т. е. 133 раза); заметно реже попадались их синонимы *rresht* (6 раз),

[8] Здесь не рассматривается специально давно решаемый вопрос о субстантивации инфинитива. Общее отношение к этому вопросу можно выразить, отметив, что, например, итал. *fare* и *il fare* «делать» различаются по составу морфологических категорий и что вообще легкость перехода из одного качества в другое не означает наличия лишь одного из них.

[9] Хотя и тут глагольные абстракты объективно также дихотомически делятся по наличию / отсутствию указанного комплекса морфологических категорий.

[10] См. об этом, например: Д. Н. Овсянико-Куликовский, Синтаксис русского языка, 2-е изд., СПб., 1912, стр. 23—24; А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 30—31 и др.

[11] Независимость такой нелично-глагольной формы означает не только его вербализацию вообще, но и инфинитивацию. Последнее устанавливается проще, чем неличная глагольность вообще, поскольку всякая косвенность (падеж или предлог) исключает субъектность и исключается ею. Это спорадически происходит с *për të bërë* «(чтобы) сделать».

lërej (2 раза), *kryej* (2 раза), *përfundoj* (2 раза), *sos* (1 раз), *ndalohem* (1 раз), *hesht* (1 раз). (На 466 страницах арберешских текстов *së bëri* 3 раза встретилось при *fërnoj* «кончать».) 1 раз отмечено употребление типа *së bëri* при имени действия одного из указанных глаголов: *dhjetë ditë pas mbarimit së ekzistuari të Republikës spanjolle* «через 10 дней после конца существования Испанской республики». Таким образом, всего в балкано-албанских текстах случаев прифинитивного употребления формы типа *së bëri* отмечено 152, что (ср. общие цифры) позволяет считать это употребление основным. Сами эти управляющие глаголы объективно входят в более широкую семантическую группу — инкоативно-дуративно-финитивную. Так, по аналогии с приведенными случаями, *së bëri* в обследованном материале употреблен 5 раз при дуративных *vazhdoj* и *vijoj* «продолжать», например, *Vazhdojnë së kënduemi* «Они всё поют». Приинкоативное употребление типа *së bëri* встретилось 1 раз: *kishin nisë e do të nisnin së lëvizuri*[12] «уже начали и будут начинать двигаться». За пределами отмеченных 155 фактов в указанных словосочетаниях действительно преобладает значение причинности, где прежде всего резко выделяются частотой употребления так называемые предфинитивные глаголы наиболее общего значения: *lodhem* «уставать» (встретилось 16 раз) и *mërzitem* «мне надоедает» (встретилось 3 раза), а также *ngopem* и *nginjem* «насыщаться» (встретилось соответственно 8 и 2 раза). Остальные 48 случаев каузального употребления типа *së bëri* отмечены при 38 разных глаголах и глагольных выражениях, которые также объединяются семантически в одну группу, обозначая не любое действие, а лишь изменение, которое происходит во внутреннем состоянии субъекта (реже — объекта) и при котором, как правило, действие, обозначенное типом *së bëri*, выполняется (испытывается) уже с трудом, находится на грани прекращения, уже прекращается и т. п.; например, *Se t'u këputën këmbët së mbajturi nder e duart së bëri kryq* «Еще затекут ноги от стояния в почетном карауле [по случаю религиозного торжества] и заболят руки от того, что будешь [долго] креститься». Ясно, что каузальное употребление *së bëri* не является универсальным способом выражения причинности, а отчетливо связано с предфинитивностью. Важны, далее, те редкие случаи семантического развития каузального *së bëri*, исходным пунктом которых является общий элемент значений деепричастности и причинности. Так, эмбрионально заключенное в каузальном *së bëri* значение инессивности может приближаться к основному, причинному: *Po shpata kalitet së gojdituri* «Но меч закаляется от ударов (= в ударах)». Воспринимаясь как основное, значение инессивности *së bëri* может совсем выходить за пределы сопровождения причинности, ср. *Natën e kish kaluar së kaligrafuari disa vjersha* «Ночь он провел за выписыванием стихов».

Прочие случаи употребления форм типа *së bëri*, число которых в обследованном материале измеряется единицами, мало влияют на судьбы его основного употребления в современном языке. Замена артикля *së* на *të* у аблатива, как правило, уже не затрагивает типа *së bëri*, а встреченные *mbaroi të treguari* «досказал» или *sosi t'klari* «перестала плакать» являются редкими исключениями. Говоря о динамике развития *së bëri*, можно пока ограничиться следующим. Факты его каузальности не вызывают сомнений как бывшие частные случаи аблатива причины. Так же прозрачно происхождение редких примеров употребления типа *së bëri* в деепричастном значении. Что же касается его основного употребления, то трудно указать какой-либо один путь эволюции, так как это развитие уже имело место в дописьменный период; ср. *E ata, tue mos pushuom së pvetuni, ai u ëndëreq e u tha* (Gj. Buzuku)[13] «И пока они все спрашивали, он поднялся и сказал им» или *çë fërnuan së stisuri* (арберешский фольклор XV века) «достроив». Эта прифинитивность *së bëri* могла возникнуть как из его употребления в качестве аблатива причины при сочетании с полнозначным *pushoj* «переставать», так и на базе аблатива исхода (ср. *U ngrit varrit Kostantini* «Константин встал из могилы»), привативности (ср. *ban njërinë të dëlirë fajesh e mpkatesh ndë shpirt* «очищает человека в душе от проступков и грехов») и под. Распространение типа *së bëri*, первоначально употреблявшегося с финитивными глаголами, на сочетания с дуративными и инкоативными обусловлено аналогией; в настоящее время использование *së bëri* с дуративными и инкоативными глаголами спорадично.

Таким образом, выводы о грамматическом качестве *së bëri* сводятся к следующему (отметим здесь, прежде всего, что важно выделить основное употребление).

Аблатив, как и всякий другой падеж, является синтаксической категорией, выражающей зависимость формы слов от их связей в предложении. А такие глаголы, как *mbaroj*, *pushoj*, *rresht*, *vazhdoj*, *vijoj* (см. выше) при управлении существительным, выполняющим ту же функцию, что рассматриваемое *së bëri*, требуют постановки его в винительном падеже,— этому правилу подчиняются все существительные, независимо от их лексико-семантической или словообразовательной принадлежности. В случае употребления здесь причастных имен действия, которым исторически (но не актуально) тождествен тип *së bëri*, соблюдаются те же самые правила, например: *me një heshtje mbaruan të ngrënit*[14] «молча доели».

Сопоставление с подобными конструкциями говорит о том, что падежность и при синтетизме представленная всегда только в ней субстантивность у *së bëri* при сочета-

[12] Ср. также *Pa fillon me zë të dredhur motra së kënduari* «Сестра запевает неровным голосом» (M. Lambertz, Lehrgang des Albanischen, II, Berlin, 1955, стр. 27).

[13] Цит. по кн: M. Lambertz, Albanisches Lesebuch, I, Leipzig, 1948, стр. 101.

[14] Ср. также арберешское *Ljëreu të kjëntisurit* «Окончила вышивание».

нии с указанными глаголами отсутствуют. Одновременно чисто глагольная сочетаемость свидетельствует о полной глагольности *së bëri*. Если даже не затрагивать основного употребления, то уже каузальное *së bëri*, по своим функциям хотя и более близкое к исходной падежной форме, также больше не является случаем аблатива причины. Сфера применения последнего в современном нейтральном стиле ограничена реликтами, тогда как и каузальное *së bëri* общеграмматично. Десинтактизация каузального *së bëri* иллюстрируется тем, что в той же функции не употребляется аблатив имен действия,— ему предпочитается сочетание с предлогом *nga* «из-за». Ср. случаи однородности при *nga*: *Po fuqia, ca nga tmeri dhe ca nga të shtërnguarit, po priteshe* «Но его силы отчасти от страха, отчасти от удушения уходили»; для типа *së bëri* подобные случаи не зарегистрированы (возможны они с реликтами вроде *urije* «с голоду»). Глагольность *së bëri*, неизбежно возникающая в результате самой его десинтактизации как падежной формы, подтверждается свойствами, которые, хотя и встречаются у имен действия, неотъемлемы лишь для финитных форм. Так, при *së bëri* невозможен родительный прямого объекта, которым, как правило, управляют причастные имена действия, хотя они и могут быть транзитивными. Далее тип *së bëri* уже различает спорадически залоги, ср. *veç papu Stefanit që s'kish mbaruar s'u faluri*[15] «кроме отца Стефана, который еще не домолился». Не случайно и формальное обособление *së bëri* от аблатива причастных имен среднего рода, который теперь, за исключением архаичных и диалектных контекстов, имеет форму *të bëri*. Этот процесс формального обособления никак не отменяется тем, что в совокупности разных говоров и языковых показаний представителей разных поколений в настоящее время не могут не встречаться отклонения от основной, отчетливо выраженной, тенденции[16]. Решающим фактором является синтаксичность, от изменения которой материальная эволюция отстает. Так, то, что в редких случаях тип *së bëri* сохраняет падежность (например: *si ara me misër pas së prashituri* «как кукурузные поля после прополки»), говорит не о его аблативности в целом, а об остаточной дивергентной грамматической омонимии. Тот же критерий синтаксичности не позволяет причислять к аблативу и спорадические случаи типа *mbaroi të treguari*; ср., в частности, *të gjithë do të mbaronin urije* «все бы умерли с голоду», где бывший аблатив при *mbaroj* выражает совсем другие отношения. Хотя *së bëri* в большинстве случаев является чисто глагольной неличной формой, притом часто синонимичной инфинитиву, считать ее таковым нельзя, так как ей несвойственна неотъемлемая для инфинитива синтаксическая независимость. Не исключено, что *së bëri* пройдет путь, подобный, например, дако-румынскому *де фэкут* «делать». Последний, издавна употребляясь при финитивных глаголах (*а мынтуи, а сфырши, а гэти, а ынчета* и пр. «кончать, прекращать»), теперь в молдавском может быть независимым; ср. *Дар де врут, драгуй меу, аста-й уна, да де путут — ый алта!* «Ведь хотеть, брат, это одно, а мочь— другое!». Однако инфинитивации формы *де фэкут* благоприятствовало употребление ее и в других сходных ситуациях (в том числе аналогичных албанскому *për të bërë* «чтобы сделать»), которых у типа *së bëri* пока нет. Таким образом, в албанском налицо особая разновидность глагольного абстракта, уже прошедшая вербализацию, но не ставшая (еще?) исходной формой глагола.

Рассмотренные здесь явления подтверждают выводы, полученные ранее из наблюдений над спорадически инфинитивируемым албанским *për të bërë* «(чтобы) сделать», а также над дако-румынским типом *де фэкут* «делать», прочно утверждающимся в языке как вторичный инфинитив[17]. Все эти факты говорят о том, что на Балканах теперь происходит процесс, имевший место в разных индоевропейских языках в дописьменное (реже — в раннеписьменное) время,— появление инфинитивов из имен действия; важность этого факта для индоевропейского и общего языкознания очевидна[18].

---

[15] Здесь можно упомянуть также о спорадической сочетаемости типа *së bëri* с неударными личными местоимениями; например, *t'u këputet koka vajzave së më shikuari* «девушки будут терять голову, глядя на меня».

[16] Колебания в выборе артикля дали также узкоместную контаминированную форму *stë*.

[17] См. М. [А.] Габинский, Об инфинитивности в албанском языке, «Уч. зап. [Ин-та языка и лит-ры АН МССР]», X, Кишинев, 1961, стр. 63—64; его же, Дако-румынский вторичный инфинитив, «Научная сессия выпускников Одесск. гос. пед. ин-та иностранных языков. Тезисы докладов», 1959; его же, Инфинитивул секундар дако-ромын, «Анале штиинцифиче [Институтул де лимбэ ши литературэ ал ФМАШ а УРСС]», IX, Кишинэу, 1959.

[18] Указанные албанские и дако-румынские факты наводят на мысль о том, что можно ожидать новые инфинитивы и в тех балканских языках, которые пока в данном аспекте не изучались (южнославянских, греческом, аромунском). Эта мысль может быть подтверждена полигенезом инфинитива во множестве языков при общности его утраты на Балканах.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАМЫСЕЛ В. ЯГИЧА

Публикуемые ниже материалы В. Ягича, помогающие восстановить историю возникновения замысла обширного сравнительного словаря славянских наречий, входят в подготовленный к печати Комиссией по истории филологической науки Отделения литературы и языка АН СССР и Архивом АН СССР первый том двухтомного издания «Писем И. В. Ягича к русским ученым», охватывающий период 1865—1886 гг. (текст «Проекта об издании Сравнительного словаря славянских языков» печатается по подлиннику, хранящемуся в Архиве АН СССР, фонд 1, опись 1, № 170). Публикация писем Ягича, оставившего, как известно, огромное эпистолярное наследие, чрезвычайно важна для истории филологической науки и для истории русского языкознания в особенности. Сам Ягич признавал научно-организаторскую работу едва ли не основной своей задачей. «Моя деятельность,— писал он в 1880 г.,— ...заключается не в многотомных исследованиях, а скорее в желании поставить целую науку на правильную точку, в стремлении указывать на пробелы и настаивать на строго научном, критическом исследовании каждого вопроса»[1]. Сотрудники Ягича по Российской академии наук справедливо называли его «средоточием всех славянских изучений»[2].

Переписка Ягича с русскими учеными насчитывает не менее двух тысяч писем Ягича, а опубликовано их к настоящему времени лишь около ста. В первый том включено 357 писем (из них 319 публикуются впервые) — все собранные письма, относящиеся к периоду 1865—1886 гг.[3]. Эти письма хранятся в Архиве АН СССР, в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, в отделах рукописей Гос. библиотеки СССР им. Ленина и Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР, Ленинградского отделения Института истории АН СССР, в филиале Центрального гос. исторического архива в Харькове, в Гос. публичной библиотеке УССР в Киеве, в Центральном гос. историческом архиве в Ленинграде, в Центральном гос. архиве литературы и искусства СССР, в Одесском областном гос. архиве, в Гос. историческом архиве Ленинградской области. Адресованы письма 37 русским корреспондентам; в их числе — И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. Н. Веселовский, Я. К. Грот, П. И. Житецкий, В. С. Иконников, Н. П. Кондаков, Ф. Е. Корш, А. А. Куник, В. И. Ламанский, А. А. Потебня, А. Н. Пыпин, В. В. Радлов, И. И. Срезневский, М. И. Сухомлинов, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов.

Первый раздел книги охватывает загребский период жизни Ягича с февраля 1865 г. по август 1871 г. и включает 22 письма. Второй раздел, одесский, охватывает время с ноября 1871 г. по март 1874 г. (13 писем). Третий раздел, берлинский, охватывает время с середины 1874 г. по август 1880 г. и включает 121 письмо. В этих письмах Ягич выступает как организатор журнала «Archiv für slavische Philologie», привлекая к участию в нем и русских ученых (А. Веселовского, Корша, Грота, Потебню, Фортунатова). Наиболее обширен и содержателен четвертый раздел книги, петербургский, охватывающий время с сентября 1880 г. по сентябрь 1886 г. Он включает 201 письмо; они широко отражают публикаторскую работу Ягича, а также один из важных эпизодов развития русской языковедческой науки — встречу В. Ягича с молодым А. А. Шахматовым и их последующее сотрудничество (эти письма опубликованы в сб. «А. А. Шахматов. 1864—1920», М.— Л., 1947)[4].

Обозреть хотя бы вкратце содержание писем Ягича весьма затруднительно, столь оно многообразно и обширно. Удается выделить лишь некоторые основные «сюжеты». В письмах полно и подробно характеризуется жизнь Ягича в Загребе, его научные связи с Россией, научная и университетская обстановка, сложившаяся в то время

---

[1] Из письма к В. И. Ламанскому от 12 марта 1880 г., «Документы к истории славяноведения в России (1850—1912)», М.—Л., 1948, стр. 98—99.

[2] «Документы к истории славяноведения...», стр. 284—285.

[3] Предварительные сведения об этой публикации были сообщены читателям в ВЯ, 1960, 2, стр. 104.

[4] В самое последнее время в архиве Гос. литературного музея было найдено 33 письма Ягича к И. И. Срезневскому (написаны по-хорватски и по-русски), относящихся к 1865—1878 гг. и охватывающих загребский, одесский и берлинский периоды жизни Ягича. Письма подробно и полно показывают характер длительных научных связей двух ученых.

в Одессе и Берлине, академическая и университетская обстановка Петербурга. Красной нитью проходит в письмах берлинского периода тоска по России, которую Ягич считал своей родиной и которой отводил центральную роль в организации и дальнейшем развитии славянской науки. Где бы Ягич ни находился, он всегда старательно заботился о пополнении славянской части местных библиотек, обращался к своим корреспондентам с просьбой о присылке нужных книг, организовывал обмен журналами (например, между «Архивом славянской филологии» и «Чтениями в Обществе истории и древностей российских»), обмен рецензиями (с ЖМНП), сам составлял каталоги. Письма показывают неудовлетворенность Ягича состоянием славянской части I (русского) Отделения Библиотеки Академии наук, для которой он деятельно ищет нужного работника и останавливает свой выбор на М. М. Козловском; Ягич пристально интересуется даже упорядочением славянских шрифтов академической типографии.

Весьма детально освещена в письмах деятельность Ягича как организатора «Архива». Перед читателем писем предстают все стороны и методы журнальной работы Ягича — от организации журнала с привлечением сотрудников и корреспондентов, с разработкой плана издания, с составлением ежегодных библиографических обзоров по славянской филологии до кропотливой редакторской работы с авторами по тексту статей, когда Ягич обращает их внимание на отдельные неудачи, советует ввести в работу тот или иной раздел, называет неизвестную автору статьи новейшую литературу, советуется по вопросам перевода их статей на немецкий. Ягич делает прямые тематические заказы, организует на страницах журнала научную полемику, обращаясь к обеим заинтересованным сторонам с разъяснением своих замыслов. «Архив», издаваемый в Берлине, терпит большие трудности (в частности, с получением новейшей русской литературы), которые особенно усугублялись тем, что этот центральный славистический и единственный общеславянский орган издавался не в России. Постоянной мечтой Ягича, которую он неоднократно высказывает своим корреспондентам, было перенести издание «Архива» в Россию.

Из писем предстают многие стороны деятельности Ягича, различные по своему масштабу и значению. Он хлопочет перед русскими правительственными кругами об учреждении Литовского филологического общества; организует издание «Исследований по русскому языку»; он стоит в центре подготовительной работы по организации празднования семидесятилетия Миклошича; по его инициативе осуществляется целый ряд научных знакомств. Ягич настоятельно рекомендует Я. К. Гроту написать русскую научную грамматику, в создании которой в те годы ощущалась настоятельная потребность.

Письма Ягича показывают его настойчивую работу со славянскими рукописями, доносят до читателя историю подготовки издания Мариинского евангелия. Известно, что основной темой переписки Ягича с молодым Шахматовым явилась проверка последним правильности ряда изданий славянских рукописей. Обширная переписка Ягича с хранителем рукописного отдела Румянцевского музея А. Е. Викторовым последовательно отражает направление работы Ягича в этой области.

Собственно научные вопросы, занимавшие Ягича в период 1865—1886 гг., также получили в письмах развернутое и подробное отражение. Ягич беседует со своими корреспондентами о территориальной отнесенности первых славянских переводов, о ряде славянских этимологий, о возможных сроках написания Остромирова евангелия, о некоторых вопросах греческой филологии, о разграничении древних языковых особенностей и явлений, относящихся к школе письма. Ягич излагает Гроту свои соображения о первоначальном звуковом характере славянских редуцированных в сопоставлении с литовскими, Потебне — о звуковом значении глаголических юсов и древних шипящих аффрикат, Фортунатову — о славянских долготах и некоторых явлениях акцентологии, Кунику — о некоторых явлениях фонетики современного болгарского языка и о постпозитивном члене в болгарском. О ряде своих рекомендаций в области русского правописания (*итти* или *идти*; сдвоенные согласные в словах иностранного происхождения; употребление прописных букв в сложных топонимах) Ягич сообщает Гроту.

Особое место в переписке занимает вопрос о создании сравнительного словаря славянских наречий.

*

Решая вопрос, кем заменить в составе Академии наук скончавшегося 9 февраля 1880 г. акад. И. И. Срезневского, Отделение русского языка и словесности «обратило внимание особенно на И. В. Ягича»[1]. Предложение Российской академии было сообщено В. Ягичу акад. Я. К. Гротом и проф. В. И. Ламанским.

В одном из писем к Гроту Ягич в общих чертах сообщил, чем бы он хотел заняться, если его изберут в академики. «Как бы я ни глубоко почитал память незабвенного Измаила Ивановича,— писал Ягич,— я все же не могу считать его деятельность по слав[янской] филологии ни правильной, ни для настоящих нужд славянской науки достаточной. Его направление было слишком одностороннее, палеографическое, не филологическое, слишком отрывистое; пора наконец расширить рамку занятий. Изда-

[1] Архив АН СССР, фонд 1, опись 1, № 170 (протокол от 14 II 1880 г.).

ние критическое древнейших памятников славянства в полном их объеме (не отрывками только) — вот одна часть задачи. Прибирание материалов для исторического словаря русского языка и печатание их же — вот дальшая часть задачи; но в то же время необходимо же наконец напечатать также по крайней мере часть лексикографических материалов по южно или малорусскому наречию — опять немаловажная часть задачи. Издание строго научного журнала, похожего на мой „Архив", в котором принимали бы участие разные славянские ученые, позволялось же бы печатать их труды не только на русском, но и на польском, чешском, сербском языках,— вот одно из самых важных предприятий, которое обеспечивало бы за импер[аторской] Академией ее громадное значение и влияние на славянство. Наконец, сравнительный словарь всех слав[янских] наречий — это такая насущная потребность для слав[янской] науки, что если не возьмется за это дело русская наука, так к стыду нашему немцы сделают и это! Вы, конечно, не подумаете, что все только что сказанное я предназначаю себе как задачу собственной деятельности, но в том-то и сила Академии, что она и ее члены по мере средств руководят деятельностью многих имеющихся в запасе. Не Бэтлингк же написал санскритский словарь! Не Пертц издал Monumenta[2]! Давайте средства и волю, люди найдутся. Россия пролила много крови для славян, истратила миллиарды на их политическое освобождение, и вот плоды ее трудов пожинают наши недруги. Это все происходит оттуда, что мы не заботимся довольно о том, чтобы наше влияние на славян было не только силы физической, а силы духа, силы науки»[3].

В сентябре 1880 г. В. Ягич, избранный и академиком и профессором Петербургского университета, переезжает в Петербург и предпринимает попытки осуществить свои широкие планы и в числе их — создание сравнительного словаря славянских наречий. 22 октября он пишет А. А. Потебне об этом своем намерении, поясняя, что хочет придать словарю характер международного предприятия. Словарь, по мысли Ягича, не должен был быть слишком обширным, с тем чтобы его можно было закончить в течение приблизительно 4—5 лет[4]. Как известно, Потебня отказался от участия в словаре.

Отказ Потебни не смутил Ягича. В ноябре 1880 г. он пишет в Казань И. А. Бодуэну де Куртенэ: «В Академии я рад помочь изданию сравнительного словаря славянских языков по такому плану: каждое коренное слово (Stammwort) должно ставиться на первое место в древнейшей форме, которую можно найти в истории славянских языков, например, *отъ* (для *otac*, *отецъ*, *ociec*[5] и т. д.). К этому коренному слову сразу же добавляется весь этимологический аппарат, а затем пусть по группам под этим коренным словом идут отдельные славянские языки в следующем порядке: A. старославянский, B. русский со всеми наречиями, C. болгарский, D. сербохорватский (это — кириллицей), E. словенский, F. чешский со словацким, G. верхний и нижнелужицкий, H. польский с кашубским, J. полабский: от E—J — латиницей, но унифицированной по одному принципу (?). В каждой группе пусть будет собрано и как бы связано в одно гнездо все, что, будучи образовано от этого корня, живет в языке как существительное, прилагательное, глагол, сложное слово и т. д. Из отдельных языков не должно быть лишь голых образцов слов, но везде, насколько возможно, они будут подтверждены яркими цитатами из самых древних источников. Порядок слов в отдельных языках следует дать везде один и тот же, основанный на суффиксах. В этих основных положениях и в частностях можно кое-что изменить. Я буду рад, если в течение нескольких лет осуществится viribus unitis связующий нас труд. Прошу Вас сказать мне, согласны ли Вы с изложенными здесь мыслями, и второе: не хотите ли взять на себя словенскую часть? До сих пор обещали помощь: Брикнер — этимология и польский язык, Лескин — лужицкое и полабское наречие, Гебауэр, я думаю, возьмет чешский, Дринов — болгарский, я, разумеется, возьму то, что останется от других, и окончательную редакцию. В первую очередь речь идет о сборе материала, который Академия должна оплачивать по определенной расценке, какую мы установим, например, за выписки или за статьи. Миклошич одобряет мою мысль; в самой России я еще не мог найти ни одного помощника, кроме Грота, который будет контролировать современный русский язык»[6]. В последних числах ноября, не получив еще, видимо, ответа на это письмо, Ягич излагает Гроту план издания сравнительного словаря[7], а 18 декабря 1880 г. на заседании Отделения русского языка и словесности читает следующий проект:

---

[2] Имеется в виду семитомный «Sanskrit-Wörterbuch» (1852—1875) и собрание памятников по истории средневековой Германии «Monumenta Germaniae historica», выходившее том за томом с 1820 г.; первый связывают обыкновенно с именем акад. О. Н. Бётлинга, а второе — с именем Г.-Г. Пертца, которые были не столько авторами, сколько организаторами и редакторами этих изданий.

[3] Архив АН СССР, фонд 137, опись, 3, № 1081, лл. 29—29 об. (письмо от 8 III 1880 г.).

[4] См. ВЯ, 1960, 2, стр. 107.

[5] Так в рукописи.

[6] Архив АН СССР, фонд 102, опись 2, № 360, лл. 5 об.— 6 об.; подлинник по-хорватски, русский перевод И. В. Арбузовой (письмо от 16 XI 1880 г.).

[7] Об этом свидетельствует письмо Ягича к Гроту от 29 XI 1880 г. (Архив АН СССР фонд 137, опись 3, № 1081, л. 45).

Проект об издании Сравнительного словаря славянских языков

(Linguarum slavicarum lexicon comparativum)

В § 17 «Положения об Отделении русского языка и словесности» определяется круг занятий Второго отделения следующими словами: «1) основательное исследование свойств русского языка, начертание сколь можно простейших и вразумительных правил употребления его и издание полного словаря; 2) изучение славянских наречий в их составе и грамматических формах, относительно к русскому языку, и составление сравнительного и общего словопроизводного их словаря; 3) славяно-русская филология вообще и в особенности история русской словесности».

Смею полагать, что Второе отделение, когда почтило меня избранием в члены, имело преимущественно в виду пункт 2-й упомянутого параграфа. Действительно, я считаю себя нравственно обязанным заботиться о том, чтобы Второе отделение имп. Акад[емии] н[аук] по мере возможности приводило в исполнение задачу, намеченную вторым пунктом этого §-а, в особенности словами «составление сравнительного и общего словопроизводного их словаря». Уже давно чувствуется в общей филологической науке и специально в славянской недостаток сравнительного словаря славянских языков. Чем глубже исследование индоевроп[ейских] языков вникает в состав их, чем чаще оказывается необходимым прибегать за объяснениями или подтверждениями к такому выдающемуся члену семьи, как язык славянский, тем чувствительнее становится этот пробел. Достаточно указать, с одной стороны, на желание покойного Шлейхера[8], давшее повод к одной сочувственной статье И. И. Срезневского[9], с другой же, сообщить факт, что весною нынешнего года явился ко мне с предложением издания подобного словаря один из известных германских издателей, г. Трюбнер из Страсбурга. У меня уже до того времени шла переписка с выдающимися представителями славянской филологии об этом предмете; все без исключения соглашались со мною в том, что нужно немедленно обсудить план такого предприятия и приступить к его исполнению[10]. Я не вошел в переговоры с упомянутым герм[анским] издателем только потому, что тогда уже предвиделась возможность моего переезда из Берлина в С.-Петербург. Все мои товарищи по специальности признавали, что важное это предприятие будет основано на более прочных условиях и ход его лучше обеспечен, если импер[аторская] Академия наук поддержит его своим покровительством и своими средствами. Со времени моего переезда сюда я не переставал вести переписку с прежними моими товарищами, посвященными в план предприятия, и сообразно с новым моим положением привлечь [11] в интерес этого дела еще разных русских ученых. У нас в общих чертах план уже готов, и я спешу представить его Второму отделению с просьбою согласиться принять его под свое покровительство и приискать средства, необходимые для приведения его в исполнение

Общие положения

1. Сравнительный словарь славянских языков (Linguarum slavicarum lexicon comparativum) должен заключать в себе все слав[янские] наречия с церковнославянским во главе.

2. Словарь должен иметь характер этимологический, т. е. слова, подходящие по ясным законам словопроизводства под один корень, должны быть помещены под тем словом или той формою его, которая считается для них коренною или основною.

3. Несмотря на группировку этимологическую, отдельные славянские языки с их наречиями останутся обособлены таким образом, что семья слов каждого отдельного наречия будет помещаться отдельно. Наречия же должны следовать в этом порядке: а) древнесловенский или церковнослав[янский] язык, б) русский язык с наречиями: малорусским и белорусским, в) болгарский язык, г) сербско-хорватский язык, д) словинский язык, е) чешский язык с наречием словацким, ж) верхне- и нижне-лужицко-сербские языки, з) польский язык с наречием кашубским, и) остатки полабских наречий, к) материал слов, заключающийся в именах личных и в названиях местностей.

4. Каждый отдельный славянский язык должен быть представлен в виде историческом, т. е. мы будем стараться подбирать слова, начиная с древнейших памятников.

---

[8] В 1866 г. появилась статья А. Шлейхера «Всеславянский словарь» («Зап. Имп. Акад. наук», IX, [кн. 2], СПб., 1866), где высказывалась мысль о необходимости выпустить хотя бы в кратком виде сводный словарь всех славянских языков.

[9] В том же томе «Записок» Академии наук были напечатаны «Замечания акад. И. И. Срезневского о словаре славянских наречий», где доказывалось, что издание такого словаря, о каком говорит Шлейхер, разумеется, желательно, но что удовлетворительных словарей отдельных славянских языков пока слишком мало, а потому «за составление общего славянского словаря браться еще рано» (стр. 243), начать же систематический подбор материалов для него необходимо.

[10] Эта переписка Ягича с зарубежными славистами неизвестна; откликом на нее является, вероятно, следующее заявление А. Брюкнера, появившееся в печати в первых числах января 1880 г.: «Болезненно ощущаем мы по сей день отсутствие сравнительного словаря славянских языков» (AfslPh, IV, 1880, стр. 455).

[11] Так в рукописи.

Правописания же будем придерживаться исторического, т. е. по мере возможности вносить слова так, как они сохранились в памятниках.

5. Для передачи главных значений слов предназначается язык латинский; в отдельных статьях можно прибавлять описание более подробных значений на языке русском.

Образ составления словаря

1. Материал для Сравнительного словаря слав[янских] языков будет собираться под непосредственным наблюдением и руководством моим.

2. Я беру себе в сотрудники лиц, известных в слав[янской] науке своими учеными трудами, имена которых как главных сотрудников будут напечатаны на заглавии Словаря.

3. Сначала материал будет собираться на отдельных карточках одинаковой величины. Каждое слово, заимствованное из сочинения или текста, вошедшего в число источников для этого Словаря, должно на карточках быть снабжено цитатой, т. е. довольно полной фразою и ссылкою на источник.

4. За сто карточек подобного рода определяется 1 рубль гонорар, который будет выплачиваться по мере доставленного материала Вторым отделением имп[ераторской] Акад[емии] наук.

5. Карточки, представляемые время от времени в Второе отделение, будут храниться после заплаченного гонорара как собственность Академии в ее помещении, в отдельном для этой цели приспособленном шкапе.

6. Когда я найду возможным приступить, сам ли или при помощи главных сотрудников, к окончательной разработке собранного материала, он будет выдан мне под реверс.

7. Печатанные листы Словаря будут вознаграждаться импер[аторской] Академиею или Вторым ее отделением из средств Академии в размере обыкновенного гонорара, выдаваемого членам Второго отделения за их печатные труды. Из этого гонорара, который в случае каких-нибудь изменений никак не должен быть меньше нынешней оплаты, я обязываюсь выдавать сотрудникам по мере их участия в общем деле.

Средства

Чтобы обеспечить успешный ход предприятия, необходимо уже теперь определить известную сумму, из которой вознаграждался бы материал, собираемый на карточках. Для этой цели можно уже теперь назначить ту 1000 рублей сер[е]б[ром], которая в § 30 «Положения» назначается «на поощрение и путешествия молодых русских ученых, посвятивших себя изучению славянских литератур, на издание их трудов и на другие подобные предметы». Последние слова этого параграфа указывают прямо на возможность дать указанной сумме предлагаемое мною назначение, поэтому я надеюсь, что Отделение согласится определить упомянутую в § 30 сумму для ежегодного покрытия расходов на собирание материала для Сравнительного словаря славянских языков. В случае же, если бы в одном из следующих годов сумма эта оказалась недостаточною, Второе отделение берет на себя обязанность позаботиться о приискании дальнейших средств.

СПб. 18 дек[абря] 1880 профессор и академик

И. В. Ягич.

Отделение русского языка и словесности в лице Я. К. Грота, А. Ф. Бычкова, М. И. Сухомлинова и А. Н. Веселовского, выслушав этот проект, внесло в протокол такую запись: «Отделение, приняв с живейшим удовольствием проект академика Ягича и выразив полную готовность содействовать к осуществлению его на изложенных в нем основаниях, определило предоставить Игнатию Викентьевичу приступить к приготовительным мерам для приведения в действие своих предположений»[12] (т. е. утвердило проект).

Тем временем от Бодуэна де Куртенэ пришел ответ об его согласии принять участие в работе над словарем, и Ягич пишет Бодуэну: «Очень радуюсь Вашему согласию вступить в число сотрудников. Пока могу сказать о дальнейшей работе следующее: прежде всего нужно собирать материалы на карточках, которые Академия будет оплачивать как материал для словаря следующим образом: за сто карточек, на каждой одно слово в контексте, если оно взято из книги, или хотя бы с его значением, если слово простое, народное, будет выплачен 1 рубль. А главный сотрудник, значит и Вы для словенской части, получит гонорар позже, когда дело дойдет до окончательной редакции, соответственно своему труду, из расчета 50—60 рублей за печатный лист. Чтобы не возникло недоразумений, хорошо будет, если каждый сотрудник будет заботиться о своей части, а я буду руководить всем в целом и стараться согласовывать отдельные части. Сначала было бы желательно составить конспект источников, откуда каждый из нас будет черпать материал. Итак, я просил бы Вас сделать как можно скорее для словенского языка хронологический список источников, из которых Вы думаете выбирать материал для словенской части, а это может быть: во-первых, язык

[12] Архив АН СССР, фонд 1, опись 1, № 170 (протокол от 18 XII 1880 г.).

книг древнего и новейшего периода (относительно новейшего периода надо быть осторожным, так как тут есть много несловенских элементов, искусственно внесенных в словенскую литературу), во-вторых, язык произведений фольклора (народные песни, рассказы и т. д.). Из книг, разумеется, Вы начнете с Реформации; есть ли у Вас в Казани такие источники? Поскольку в окончательном виде сравнительный словарь не может быть очень объемистым, то и при выписках будет достаточно, если из разных книг выбрать лишь самое важное; мы не стремимся к тому, чтобы внести в словарь каждую выписку, но надо чтобы при каждом более значительном слове было сказано, например, что оно находится в книгах такого-то столетия, или что слово общеизвестное, или что слово локального значения, слово просторечное и так далее. Несомненно, что все это может быть лишь в результате изучения самих карточек.

Когда кто-либо соберет несколько тысяч карточек, то может их переслать в Академию, приложив список источников, откуда извлечены эти слова. Академия выплатит гонорар (включая расход на бумагу и за пересылку) и сохранит карточки в особом для этого приготовленном месте как свою собственность. А когда с разных мест будет получено столько материала, что можно будет приступить к обработке, тогда каждый сотрудник под расписку получит обратно свой материал и, с божьей помощью, наконец, начнем редактирование и печатание. До этого времени мы сможем детально обсудить вопрос: в какой форме будет внесено каждое отдельное основное слово со своими производными. Пока существуют только такие требования:

1-е. Словарь будет этимологический, т. е. все, что относится к основному слову, которое стоит во главе гнезда, будет собрано в одну группу.

2-е. В каждой группе пойдут языки и их наречия по порядку и отдельно.

3-е. Для каждого языка мы сохраним его орфографию, т. е. общепринятую: там же, где могло бы возникнуть сомнение, как данное слово, взятое из книг прошлых веков, произносилось, хорошо было бы хотя бы на карточках написать это слово в принятом орфографическом или неорфографическом виде, а позже будет видно, нужно ли это оставить.

Вообще я думаю больше материала надо иметь на карточках, а только его основная часть пойдет в словарь! Теперь мы можем ожидать, что дело пойдет подобающим образом. Если Вас эти общие соображения удовлетворяют, то Вы могли бы частью сами, частью при содействии своих помощников приступить возможно скорее к работе. Размер карточек я сообщу Вам безотлагательно»[13].

Тут документы неожиданно умолкают: начиная с января 1881 г. ни в протоколах Академии наук, ни в других ее документах, ни в официальных академических отчетах Ягича, ни в его письмах к русским ученым (в тех по крайней мере, которые дошли до нас, а их дошло очень много) не встречается ни одного упоминания о сравнительном словаре славянских языков. Замысел Ягича не осуществился — это несомненно. В своих «Воспоминаниях» он пишет об этом очень немногословно и разноречиво. «Я очень серьезно думал об издании этимологического словаря,— рассказывает Ягич,— но из этого ничего не вышло; меня остановило, я бы сказал, в этом случае ощущение, что у меня нет призвания к этимологическим комбинациям: отыскать хорошую этимологию — это для меня то же, что сочинить стихи, а этого я не умею»[14].

В «Воспоминаниях» Ягич приводит ряд длинных выдержек из своих писем к Ф. Миклошичу конца 1880 г. и начала 1881 г.; однако об «этимологическом словаре» он каждый раз предпочитает сообщать в коротких пересказах писем. Вот эти пересказы: «Тут я говорю об издании этимологического словаря, который, как и многое другое, остался неосуществленным. В этом повинна моя чрезмерная осмотрительность по отношению к коллегам, которым не по душе были новшества, а мне не хотелось вступать с ними в полемику» (в письме от 10 X 1880 г.). «Тут опять заходит речь об этимологическом словаре, который не делает мне чести!» (в письме от 11 XII 1880 г.). «Сообщаю, что Отделение обещало 1000 руб. в год за сбор материала, но, как ни странно, я этим не воспользовался. В этом не виноват никто кроме меня: у меня не хватило энергии для этимологического словаря» (в письме от 28 I 1881 г.). «Опять много говорю об этимологическом словаре, но мне стыдно вносить это в мои воспоминания» (в письме от 21 III 1881 г.)[15].

Этим исчерпываются мемуарные сообщения Ягича о словаре. Должно быть, многое стало бы гораздо яснее, если бы была известна вся относящаяся к этому времени переписка Ягича с Миклошичем, который в те годы уже занимался составлением своего «Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen» (Wien, 1886). Этому словарю Ягич уделяет всего несколько строк. Он говорит, что в словаре «нагромождено большое богатство славянского лексического материала, только без указания источников, из которых он взят, но этимологические объяснения остаются как-то на заднем плане или же иногда прибавлены в таком неопределенном виде, что ищущий ответа недоумевает, как их понимать: как заимствование или как коренное родство»[16]. Задачи словаря

---

[13] Архив АН СССР, фонд 102, опись 2, № 360, лл. 9—10 об.; подлинник по-хорватски, русский перевод И. В. Арбузовой (письмо от 23 XII 1880 г.).

[14] В. Јагић, Спомени мојега живота, II, Београд, 1934, стр. 27.

[15] Там же, стр. 82, 83, 84.

[16] И. В. Ягич, История славянской филологии, СПб., 1910, стр. 714. Ягич в своем журнале поместил два пространных отзыва о словаре Миклошича: один из них.

Миклошича были несравненно менее широки, чем те, которые ставил перед собой Ягич, но это был все же сравнительный словарь славянских языков, имевший характер этимологический или во всяком случае претендовавший на такой характер; иначе говоря, это было издание, очень похожее по идее на то, о котором мечтал Ягич.

О том, что Миклошич задумал такое издание, Ягичу стало известно еще в 1880 г., примерно за месяц до представления им своего проекта сравнительного словаря в Отделение русского языка и словесности. 20 ноября (8 по старому стилю) 1880 г. Миклошич в ответ на сообщение Ягича об этом проекте написал ему так: «Этимологический словарь славянских языков, разумеется, настоятельно необходим, и было бы очень желательно, чтобы Вы за него взялись. Я буду охотно — в меру возможности — помогать Вам в этом. Я и сам взялся за такую же работу, но только в гораздо меньшем масштабе: моя работа могла бы расцениваться как предвестница Вашей»[17]. Ягич отнесся к этому сообщению, по-видимому, довольно спокойно, обратив внимание главным образом на первую его часть: она и дала ему право сообщить Бодуэну, что Миклошич «одобряет» мысль о словаре. Но известие о том, что и сам Миклошич принялся за составление подобного же словаря, не могло, конечно, не заинтересовать Ягича, и нет сомнения, что в последующей переписке со своим учителем он попытался выяснить, по какой программе тот работает и как далеко зашла у него работа. Ответные письма Миклошича, к сожалению, не были опубликованы Ягичем; после смерти Миклошича Ягич опубликовал его письма с такой оговоркой: «Должен категорически заявить, что сообщаю в с е полученные письма без сокращений, но, как заметит это и сам читатель, многие из них утрачены»[18]. Утраченными оказались все письма за время с 20 ноября 1880 г. по 26 ноября 1881 г., т. е. именно те, в которых могла идти речь о словарном проекте Ягича.

Стоит отметить еще, что в конце сентября 1883 г. Ягич в одном из административных писем к Я. К. Гроту пишет: «Я намерен с нынешнего года приступить к приготовительным работам для сравнительного словаря»[19]. Эти слова не претворились в дело. О сравнительном словаре Ягич упоминает в письме от 25 февраля 1885 г. к Д. А. Толстому: «Опыт последнего времени доказал мне, что я непременно должен стремиться к облегчению моего нынешнего положения, которое вследствие сложных и напряженных занятий по двум учреждениям угрожает серьезным расстройством моему здоровью и при том часть моих научных предприятий (как напр[имер] составление сравнительного словаря славянских языков) отодвигает очень далеко на задний план»[20].

Проект словаря, представленный Ягичем в Академию наук и одобренный ею, непохож на те подробные инструкции, которые в наши дни предшествуют изданию академических словарей: он поражает своей краткостью. Ягич не любил связывать себя детальными программами, считая, что «вопросы возникают во время работы, а не заранее»[21]. Далеко не ясно, как представлял он себе структуру словаря, который должен был быть одновременно и сравнительным, и этимологическим, и историческим, да к тому же, по-видимому, иллюстрированным цитатами из памятников. Нельзя не сказать, что мысль о возможности справиться с подобной работой «в 4—5 лет» была несбыточна. Но по широте размаха проект был достоин Ягича: замысел был грандиозен.

Г. П. Блок и *Т. И. Лысенко*

одобрительный в общей оценке словаря, но содержавший множество частных критических замечаний, принадлежал Брюкнеру (AfslPh, XI, 1, 1888), другой, написанный Ф. Ф. Фортунатовым, ставил в ряде случаев под сомнение этимологии Миклошича (там же, XI, 4, 1888; XII, 1—2, 1889).

[17] AfslPh, XIV, 3, 1892, стр. 453.

[18] Там же, XIV, 2, стр. 300.

[19] Рукописный отдел Ин-та русск. литературы (Пушкинского дома) АН СССР, фонд 88, № 16175, собр. 10.

[20] Отдел рукописей Ленинградского отделения Института истории АН СССР, фонд 238, картон 279/ № 974.

[21] Сб. «А. А. Шахматов. 1864—1920», М.— Л., 1947, стр. 87.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СТИХОВЕДЕНИЮ

В последнее время все чаще возникают споры в связи со старой уже проблемой соотношения языка и художественной литературы и, следовательно, соотношения лингвистических и литературоведческих методов при исследовании литературного текста. Независимо от окончательной оценки этого соотношения, значение языковедческих методов в анализе художественной литературы весьма велико[1] и подчеркивается даже теми литературоведами, которые в принципе продолжают традиционную линию развития своей науки и не вполне компетентны в области методологии языкознания (Э. Штайгер, В. Кайзер и др.). Причина явного сближения некоторых разделов литературоведения с лингвистикой заключается, между прочим, в том, что языкознание разработало более совершенную процедуру языкового анализа, обеспечивающую объективный подход к описываемым фактам. В силу этого современное структурное языкознание первым среди других «гуманитарных» наук осознало новые основания для связей с другими науками и стало ведущей дисциплиной в кругу наук, изучающих различные семиотические системы. Иначе говоря, языкознание ближе всего подошло к осознанию своих собственных методов, во-первых, и методов (уже не вполне лингвистических), приложимых к анализу любой знаковой системы независимо от того, идет ли речь о языке или об искусстве, литературе, религии, не говоря уж о более простых видах семиотических систем. Именно поэтому сейчас лингвистические методы все чаще рассматриваются как средство моделирования и неязыковых знаковых систем. Естественно, что этот путь при его плодотворности в целом чреват рядом опасностей, к числу которых следует отнести как поверхностное следование внешним аналогиям, так и использование в качестве моделей некоторых семиотических систем, весьма опосредствованно связанных с языком[2].

Пожалуй, ни один из разделов традиционного литературоведения не оказался в такой тесной связи и зависимости от языкознания, как стиховедение. Более того, не предрешая вопроса о том, может ли стиховедение в том виде, как оно складывается в настоящее время, входить в круг литературоведческих дисциплин, можно с уверенностью сказать, что, поскольку стихотворная речь может рассматриваться как особым образом организованный язык, изучение поэтического языка является одной из задач лингвистики. Признание этого положения логически вытекает из плодотворной инициативы, проявленной рядом ученых еще в 20-х годах[3], и из специфических особенностей современного структурного языкознания. Очевидно, что начавшееся тогда сближение науки о стихе с языкознанием оказалось взаимно целесообразным и полезным. Известно, что углубленное изучение стиха явилось мощным импульсом для развития фонологии, для исследования таких кардинальных лингвистических проблем, как анализ языковых функций, соотношение письменной и устной речи, сегментация устной речи на минимальные единицы, определение слога, раскрытие природы целого ряда просодических супрасегментных элементов и т. п. С другой стороны, очевидно, что наиболее существенные достижения стиховедения за последние годы связаны с применением лингвистических или некоторых иных (но через посредство лингвистики) методов; ср. работы по аксиоматике стиха, типологии метрических систем, установлению релевантных черт в стихе, по реконструкции доисторических

[1] О многообразии связей между анализом языка и художественной литературы и о том, каким образом язык связан с широкой областью культуры, можно сейчас составить представление по целому ряду авторитетных работ; помимо многочисленных работ Л. Вайсгербера, см. также: M. Wehrli, Allgemeine Literaturwissenschaft, Bern, 1951 (русский перевод: М. Верли, Общее литературоведение, М., 1957); Ch. Morris, Signs, language and behavior, New York, 1946; L. Spitzer, A method of interpreting literature, Northampton, 1949, и др.

[2] См. K. Burke, A grammar of motives, New York, 1945, а также некоторые более ранние работы того же автора.

[3] Ср., например, работы Томашевского, Тынянова, Якобсона, Эйхенбаума, Жирмунского, Якубинского и др., а также ряд публикаций в сборниках «Поэтика», «Ars poetica» и др.

языковых систем, экспрессивному языку и т. д. [4].

Применение к стиховедческим проблемам структурных методов исследования, выработанных в языкознании, дает возможность более глубокого анализа тех сложных вопросов, которые не нашли решения в традиционном стиховедении. Естественно, что использование новых методов в значительной степени преобразовало и самое проблематику стиховедения. С этой точки зрения существенный интерес представляет недавно появившаяся книга по стиховедению болгарского языковеда М. Янакиева [5]. Поэтому в дальнейшем при разборе рецензируемой книги М. Янакиева внимание будет уделено лишь тем теоретическим аспектам исследования, которые имеют отношение к сказанному выше (кстати, эти аспекты, по нашему мнению, и являются наиболее интересным и новым в этой книге, хотя ее автор указывает, что главная цель исследования состоит в конкретном анализе болгарского стиха [6]).

Прежде всего — несколько слов о значении книги Янакиева в истории изучения болгарского стиха. В силу ряда обстоятельств наука о болгарском стихе оставалась одним из наименее разработанных участков славянского стиховедения. Более живой интерес был проявлен болгарскими стиховедами и отчасти музыковедами лишь к изучению стиха народных песен, ср. работы Н. Начова, М. Арнаудова, С. Джуджева [7]. Именно этим, видимо, следует объяснять тот факт, что, хотя независимость ритма стиха от музыкального ритма в принципе признавалась, болгарские ученые часто старались избежать изолированного рассмотрения ритмической организации стиха, включая этот вопрос в более общую проблему ритма (независимо от того, идет ли речь о стихе, музыке или танце). Отсюда — подчеркивание ритмического единства разных видов искусств (включая, между прочим, и живопись), интерес к вагнеровской «Wort-Ton Drama» и опытам, обосновывающим принципы общей науки о ритме (Р. Вестфаль, Т. Вимайер и др.) [8]. Не отрицая важности широкого подхода к проблеме ритма и учитывая даже такие парадоксальные на первый взгляд факты, как наличие в некоторых стихотворениях не словесного, а музыкального ритма [9],— все же приходится сожалеть, что тема ритма не получила должного решения в болгарском стиховедении. Книга Янакиева в значительной степени восполняет этот пробел, причем выводы, к которым пришел автор, основаны на гораздо более широком материале, чем народная поэзия. Не приходится говорить о том, что в отношении ряда других разделов стиховедения у Янакиева вообще не было предшественников среди болгарских специалистов по стиху. Поэтому исследование Янакиева по справедливости следует рассматривать как первую попытку более или менее полного описания болгарского стиха во всех его разновидностях. В этом отношении рецензируемый здесь труд существенным образом пополняет наши сведения о болгарском стихе, недостаточность которых особенно остро осознавалась в последние годы в связи с несомненным оживлением славянского стиховедения [10]. Нужно полагать, что книга Янакиева послужит стимулом для дальнейшего, еще более углубленного изучения болгарского стиха и, может быть, впоследствии — для попыток построения обобщающих типологических работ по славянскому стиховедению.

---

[4] См. J. Lotz, Notes on structural analysis in metrics, «Helicon», IV, Budapest — Leipzig, 1942; R. Jakobson, J. Lotz, Axiomatik eines Verssystems am mordwinischen Volkslied dargelegt, Stockholm, 1941 (ср. R. Jakobson, J. Lotz, Axioms of a versification system exemplified by the Mordvinian folksong, «Acta Instituti hungarici universitatis holmiensis», Ser. B — Linguistica, I, Stockholm, 1952); J. Lotz, Metric typology, сб. «Style in language», New York, 1960; R. Jakobson, Studies in comparative Slavic metrics, «Oxford Slavonic papers», III, 1952; его же, Linguistics and poetics, сб. «Style in language»; S. Chatman, Comparing metrical styles, там же; S. Saporta, The application of linguistics to the study of poetic language, там же; E. Stankiewicz, Expressive language, там же, и т. п.

[5] М. Янакиев, Българско стихознание, София, 1960.

[6] Если это так, то приходится сожалеть, что типологическая классификация болгарского стиха заменена в книге анализом стиха ряда видных болгарских поэтов. Такое расположение материала в известной степени затрудняет понимание эволюции болгарского стиха в отдельных его разновидностях.

[7] Н. Начов, Студия върху стихосложението на нашите народни песни, «Периодическо списание на Българското книжовно дружество в Средец», кн. 49—50, 1895; М. Арнаудов, Очерки по български фолклор, София, 1934; S. Djoudjeff, Rythme et mesure dans la musique populaire bulgare, Paris, 1931; Ст. Джуджев, Теория на българската народна музика, I — Ритмика и метрика, София, 1954.

[8] См. Е. п. Димитров, Изследвания върху строежа на стиха с оглед към българската поезия («Годишник на Софийския. ун-т». Ист.-филол. фак-т, XXXVIII), 1942, стр. 67, и сл.; S. Djoudjeff, Rythme et mesure..., стр. 357 и сл.

[9] См., например, об этом: Б. В. Томашевский, [рец. на кн.:] B. O. Unbegaun, Russian versification, ВЯ, 1957, 3, стр. 130.

[10] См. такие работы, как: M. Dłuska, Prozodia języka polskiego, Kraków, 1947; ее же, Sylabotonizm i jego związki z sylabizmem i tonizmem, «Sprawozdania PAN», 48, 5, 1947; ее же, Studia z historii i teo-

Свою книгу М. Янакиев начинает с определения предмета науки о стихе, под которым он понимает стихотворную речь. Разумеется, такое определение предмета стиховедения достаточно неопределенно и не может считаться операционным. Оно оправдано лишь в том смысле, что благодаря ему указывается на недостаточность нередко встречающегося ограничения предмета стиховедения анализом стихотворного ряда, или строки. Естественно, что автору в дальнейшем приходится определить объем понятия «стихотворная речь». При этом он с самого начала становится на вполне рациональную точку зрения, утверждая, что определение должно быть дано на основе четких формальных критериев. По мнению Янакиева, стихотворная речь всегда является ритмически организованной (поэтому исключается «свободный стих»), но не зависящей от содержания, эмоциональной окраски и, если угодно, осмысленности. Правда, позиция автора в отношении критерия осмысленности заслуживает, вероятно, в известной мере упрека и требует во всяком случае уточнения на более строгой основе. Дело в том, что, разбирая так называемые «заумные» стихи, Янакиев вслед за рядом других ученых считает, что даже такие стихи являются осмысленными, и не только на фонологическом уровне, но и на морфологическом, поскольку они воспринимаются в пределах тех возможностей, которые предусматриваются системой фонологических и морфологических противопоставлений того языка, на котором написаны эти стихи. В свете этой идеи Янакиев анализирует одно из стихотворений В. Хлебникова. Трудно опровергнуть мысль автора о том, что фонологически (как в плане алфавита фонем, так и в плане дистрибутивных возможностей[11]) «заумь» Хлебникова вполне обусловлена системой русского языка. Предполагать то же самое и для морфологического уровня — гораздо труднее, во всяком случае — для целого ряда примеров. Вероятно, анализ «заумных» строк с точки зрения возможностей их трансморфологизации должен быть более дифференцированным. Во всяком случае, осмысленность ряда слов, на которой настаивает Янакиев, остается крайне спорной, поскольку возможность осмысленного восприятия некоторых отрезков «заумы» перекрывается сознательным стремлением поэта вырваться за пределы морфологического и, тем более, лексического пространства русского языка. Поэтому для целой категории случаев разумнее говорить о негативной детерминированности их на морфологическом уровне [12] (случаи, когда задача автора сводится к тому, чтобы специально избежать грамматически осмысленных слов). Как бы ни решался вопрос о критерии осмысленности в стиховедении, дискуссия вокруг него представляет особый интерес в связи с обсуждением этой же проблемы осмысленности, или «отмеченности», в новейшей лингвистике. Важно и другое: презумпция осмысленности, лежащая в основе человеческого восприятия речи и ставящая в тупик ряд исследователей при построении аксиоматических теорий языка [13], должна побудить языковедов вновь обратиться к анализу восприятия таких предельных случаев, как, например, стихи Хлебникова [14].

Следует упомянуть еще об одной проблеме, которая возникла внутри стиховедения и к тому же довольно давно, но приобретает сейчас несколько новую форму в связи с успехами языкознания. Янакиев на протяжении всей книги последовательно разграничивает письменную и устную речь, возможно, даже преувеличивая разницу между ними; так, на стр. 20 и далее он говорит о двух языках, звуковом и письменном, рассматривая чтение как перевод с письменного языка на звуковой, а записывание — как перевод со звукового языка на письменный. Не касаясь деталей, можно указать три рода факторов, в известной степени оправдывающих такое противопоставление письменного и устного языка. Во-первых, следует помнить о существующих между ними различиях, обусловленных разницей в слуховом и

rii wersyfikacji polskiej, I — 1948, II — 1950, Kraków; K. W. Zawodziński, Studia z wersyfikacji polskiej, Wrocław, 1954; K. Budzyk, Spór o polski sylabotonizm, Warszawa, 1957; M. Giergielewicz, Rym i wiersz, London, 1957 и другие работы по польскому стиху; K. Horálek, Počátky novočeského verše, Praha, 1956; J. Hrabák, Úvod do teorie verše, Praha, 1956, а также значительное количество статей по чешскому стиху; К. Тарановски, Руски дводелни ритмови, I — II, Београд, 1953; R. Burgi, A history of the Russian hexameter, Hamden, 1954; B. O. Unbegaun, Russian versification, Oxford, 1956; Л. И. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха, М., 1958, и другие работы по русскому стиху.

[11] Но отнюдь не статистических возможностей, если только они действительны для закрытых текстов, подобных хлебниковским стихам.

[12] Может представиться и такая ситуация, когда «заумь» полнее интерпретируется с точки зрения иного языка по сравнению с тем, на котором она писалась.

[13] См. замечания А. Хилла о критерии «грамматической правильности» Н. Хомского («Word», XVII, 1, 1961).

[14] Вообще следует заметить, что, рассуждая об отношении науки о стихе к семантическим факторам, автор несколько облегчает свою задачу, устраняясь от обсуждения тех случаев, когда, например, содержание текста опосредствованно связано с ритмом (см. об этом: А. Белый, Символизм, М., 1910, стр. 321—322) или же когда наличие определенных лексем обусловливает возможности выбора размера или словораздела (см. И. Н. Голенищев-Кутузов, Словораздел в русском стихосложении, ВЯ, 1959, 4). Помимо этого, нужно помнить, что на известном уровне сама структура (в данном случае — стиха) является элементом содержания.

зрительном восприятии (ср. визуальные рифмы, сложные системы рифмовки с большими интервалами, изощренную строфику, акростихи, carmen cancrinum, carmen griphicum, carmen pythagoricum, carmen antitheticum и некоторые новые образцы вроде отдельных «визуальных» стихотворений. Г. Аполлинера). Во-вторых, в последнее время стало очевидным типологическое различие устной и письменной речи и у́же — асимметрия графической и фонологической систем [15]; впрочем этот фактор имел бы наибольшее значение в иной ситуации, когда, скажем, устный и письменный текст, описывающие одну и ту же реальность, отличаются друг от друга, завися только от описываемой реальности, но не друг от друга. В-третьих, различие между письменной и устной формой стихотворения отчасти напоминает различие между языком и речью, так как не все, что читающий вслух стихотворение делает с ним, является свойством самого стихотворения [16]. Все эти соображения позволяют считать плодотворной мысль, согласно которой письменная и устная формы стиха не могут рассматриваться как две ипостаси (изоморфные друг другу) одного и того же языка. К сожалению, Янакиев упускает из виду, что в принципе можно построить два варианта анализа стиха — на графическом и звуковом уровнях.

Одно из новшеств исследования М. Янакиева заключается в том, что здесь признается недостаточность понятия фонемы для целей стиховедческого анализа, поскольку фонема определяется совокупностью лишь смыслоразличительных признаков и не включает различительных признаков иных типов (демаркационных, эмотивных и других), которые при анализе стиха как раз и оказываются релевантными. Таким образом, Янакиев встает перед необходимостью найти новую единицу, с помощью которой можно бы было анализировать многомерное пространство стиха. Эта единица должна, видимо, отражать сложное сочетание языковых функций [17] и учитывать то, что было уже сделано в работах по экспрессивной и апеллятивной фонологии (Ю. Лазициуш, Н. С. Трубецкой и др. [18]). В качестве такой единицы Янакиев вводит понятие фемы, понимаемой как совокупность всех различительных признаков. Интересно, что эти признаки (автор называет их феморазличительными) в полном соответствии с принципами современной фонологии рассматриваются как дискретные признаки, принимающие два состояния (распространение дихотомической теории и на анализ таких признаков, как эмотивные и т. д.). Несомненно, что эта часть работы весьма поучительна; приходится, впрочем, пожалеть, что теория не подкреплена конкретным анализом возможных феморазличителей. Этот пробел тем более существен, что, по мнению автора, не только вся лингвистическая терминология переводима с помощью понятий фемы и феморазличителя, но и, более того, с их помощью можно описать также те факты, которые до сих пор ускользали от внимания языковедов (ср., в частности, physiognomic indices).

Весьма целесообразны взгляды Янакиева по вопросу о делении слова на слоги и о природе ударения. Следуя Е. Куриловичу и М. Ренскому, он считает, что самостоятельное и независимое определение границ слога внутри слова не вполне закономерно. Реально границы слога выделяются в начале и в конце слова, внутри же слова — они не более чем абстракция, реализуемая в некоторых специфических видах речи (например, при скандировании). Несомненно, есть и иные основания, заставляющие современных исследователей сомневаться в операционности понятия слога [19]. В связи с этим автор отказывается строить ритмические схемы на понятии слога. В известном смысле это предопределило и трактовку Янакиевым ударения. По его мнению, ритмическая схема осуществляется регулярным появлением особых феморазличителей (ударности). При этом, основываясь на интересных опытах Н. И. Жинкина [20], он считает, что различительный признак ударности основан не на общей энергии сигнала (характерной лишь для логического или фразового ударения, причем последнее замещает словесное ударение при произнесении изолированного слова), а на особом тембре звука. Таким

---

[15] См., например: J. Vachek, Some remarks on writing and phonetic transcription, «Acta linguistica», II, København, 1945—1949; C. C. Bazell, [рец. на кн.:] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlæggelse, 1943, «Archivum linguisticum», I, 1949; Т. М. Николаева, Письменная речь и специфика ее изучения, ВЯ, 1961, 3.

[16] См. W. K. Wimsatt Jr., M. C. Beardsley, The concept of meter: an exercise in abstraction, в сб. «Style in language», стр. 193.

[17] Ср. современное состояние этого вопроса (по сравнению с учением К. Бюлера): R. Jakobson, Linguistics and poetics, стр. 353—358.

[18] Из новых работ см.: A. W. de Groot, Phonetics in its relation to aesthetics, в кн. «Manual of phonetics», ed by L. Kaiser, Amsterdam, 1957.

[19] Так, Лотц (J. Lotz, Metric typology, стр. 138) указывает, что понятие слога принадлежит к числу наиболее темных в фонологической теории. По его мнению, оно относится к тому аспекту фонологического анализа, который предшествует контрастно-различительному сравнению отрезков речи и который может быть назван «a matching operation». Любопытно, что даже для сильно регулируемых метрических систем, основанных на силлабификации, метрически релевантным оказывается, по мнению Лотца, не слог, а силлабический «пульс», характеризуемый слоговой доминантой.

[20] См. Н. И. Жинкин, Восприятие ударения в словах русского языка, «Изв. АПН РСФСР», 54, 1954.

образом, в болгарском (и, видимо, в русском) языке безударный гласный отличается от ударного одновременным присутствием признаков компактности и диффузности (стр. 57 и сл.). Вот схема болгарского вокализма, приведенная в книге Янакиева (с некоторыми терминологическими изменениями):

Фонема \ Признак	Компактность (открытость)	Диффузность (закрытость)	Бемольность (лабиальность)	Диезность (палатальность)
а (ударная)	1	0	0	0
ъ (ударная)	0	1	0	0
а (безударная) = *ъ* (безударная)	1	1	0	0
о (ударная)	1	0	1	0
у (ударная)	0	1	1	0
о (безударная) = *у* (безударная)	1	1	1	0
е (ударная)	1	0	0	1
и (ударная)	0	1	0	1
е (безударная) = *и* (безударная)	1	1	0	1

Эта схема, видимо, неплохо объясняющая механизм редукции в болгарском языке, связана, однако, с серьезными акустическими трудностями, вытекающими из своеобразной трактовки автором понятий диффузности и компактности, а также с фонологическими трудностями, объясняющимися супрасегментной природой ударения.

Значительное место в книге уделено проблеме ритма. При этом Янакиев категорически выступает против различения ритма и размера; по его мнению, ритм, описанный в терминах стиховедения, и является размером данного стихотворения. Тем самым автор, по сути дела, выступает против известного понимания ритма, в соответствии с которым ритм определяется «некоторым единством в сумме отступлений от данной метрической формы» (А. Белый). Разумеется, можно анализировать стихотворную речь, и не различая ритма и размера. Труднее, однако, доказать принципиальную необходимость именно такого подхода. Нужно думать, что общее решение вопроса определяется конкретным заданием и, в частности, тем, какую сеть стиховедческих понятий, относящихся к метру, накладываем мы на стихотворную речь. В самом деле, если мы оперируем ямбом, хореем, дактилем, амфибрахием и анапестом (как это часто делается в пособиях по стиховедению), то естественно возникает необходимость различения ритма и размера. Лишь по мере сужения объема понятий, используемых при анализе, различия между ритмом и размером становятся менее актуальными, а для предельного случая и вовсе стираются.

Анализ ритма представляет особый интерес, поскольку вводит исследователя в изучение гораздо более сложных структур, чем те, которые отражаются в стихотворной строке. Янакиев вполне понимает ответственность, которую берет на себя стиховед, изучающий вопросы ритмической организации. Следуя лингвистическим аналогиям, автор вводит понятие ритмемы, выступающей в качестве единицы ритмической организации стиха. Необходимость введения этой единицы (у Янакиева она не получила определения, но достаточно хорошо описана, чтобы понять, о чем идет речь) вполне очевидна и с практической (поскольку ритмема далеко не всегда совпадает со строфой) и с теоретической точки зрения (ср., между прочим, отношения: фема — феморазличитель и ритмема — ритморазличитель [21]). В частности, именно введение понятия ритмемы позволяет автору осуществить попытку построения учения о ритморазличителях как минимальных различителях отдельных ритмем. В связи с этим предлагается классификация ритморазличителей: анакрустические (например, ямб отличается от хорея только наличием анакрузы), клаузульные (в зависимо-

[21] Ср. также понятие response, определяющее отношение между сопоставимыми элементами метрических структур (J. Lotz, Metric typology, стр. 139).

сти от типа окончания: мужского, женского или дактилического), нуклеарные. Последний тип ритморазличителей связан с введением понятия ядра стиха; по мысли Янакиева, ядро начинается там, где кончается переходный процесс (т. е. анакруза) и начинается детерминированная стиховой организацией последовательность; конец ядра определяется клаузульной константой (т. е. зависит от последнего ударения в стихе). Между прочим, с помощью понятия ядра и определения (количественным образом) его отношения ко всему стиху можно получить существенную характеристику структуры стиха (степень однородности в организации стиха).

Заключительная часть книги Янакиева посвящена анализу болгарских народных песен и стихотворений Ботева, Вазова, Славейкова, Яворова, Лилиева, Дебелянова и некоторых других поэтов. При этом специфика стихотворной речи каждого из этих авторов описывается в терминах ритморазличителей. В принципе заслуживает одобрения стремление автора встать на теоретико-информационную точку зрения при анализе ряда стиховедческих проблем (ср. понятия корректирующего кода, переходного процесса и т. п.) [22]. К сожалению, в книге отдельные теоретико-информационные соображения не связаны со статистическим анализом, о котором, впрочем, говорится в разных местах книги. Следует указать, что автор неоднократно прибегает к ссылкам на достижения точных наук и к различного рода аналогиям; некоторые из них производят впечатление известной неорганичности. Тем не менее, частные недочеты не могут существенно повлиять на положительную оценку полезного исследования болгарского ученого. Важно и другое: непредубежденный читатель увидит, какие перспективы открываются перед стиховедением как лингвистической дисциплиной.

И. И. Ревзин, В. Н. Топоров

T. Slama-Cazacu. **Langage et contexte.** Le problème du langage dans la conception de l'expression et de l'interprétation par des organisations contextuelles. — 's-Gravenhage, 1961. 251 стр.

Рецензируемая книга завершает собой ряд публикаций Т. Слама-Казаку, посвященных общей теории языка [1]. Книга открывается «Историко-методологическими пролегоменами», где автор рассматривает развитие научных представлений о языковой деятельности. Т. Слама-Казаку выделяет две основные тенденции в трактовке языковых явлений: понимание языка как абстрактной системы, особенно характерное для копенгагенской лингвистической школы, и изучение языка в его реальности и целостности как динамического процесса с учетом обусловливающих языковую деятельность социальных и биологических факторов, безоговорочно становясь на эту последнюю точку зрения.

Первая часть — «Сущность языковой деятельности» — разделена на три главы: «Сущность языковой деятельности», «Координаты языковой деятельности» и «Составные элементы языка».

В первой главе дается определение языковой деятельности, языка и речи. Языковая деятельность (langage) определяется как «сложная совокупность процессов, которая (будучи результатом определенной психической активности, детерминированной социальной жизнью) делает возможным усвоение и конкретное использование того или иного языка» (стр. 20). Это объект психологии. Язык (langue) состоит из грамматической, лексической и фонетической системы; его наиболее полное определение дается ниже, в третьей главе. Речь (parole) — «акт индивидуального и конкретного использования языка». Автор специально отмечает тот факт, что «языковая деятельность есть социальное явление не только с генетической точки зрения..., но и по самой своей природе» (там же). Давая характеристику основным формам языковой деятельности, автор особенно подробно останавливается на «языке» животных. В отличие от многих современных психологов и лингвистов Т. Слама-Казаку ясно видит принципиальное отличие этого «языка» от человеческого языка и резко выступает против «антропоморфизации» средств коммуникации у животных.

Общее впечатление от главы несколько снижается из-за отсутствия четко сформулированного принципа классификации видов речи. Между тем очевидно, что соотношение звуковой речи и «кинетической» речи, а тем более — звуковой речи и «языка» животных в корне отлично от соотношения звуковой и внутренней речи. Вероятно, было бы целесообразно по крайней мере терминологически разграничить классификационные ряды, например, говорить, с одной стороны, о внутренней речи, но, с другой — о кинетической форме речевой деятельности.

---

[22] Плодотворность введения теоретико-информационных соображений в анализ стиха становится очевидной в свете последних работ А. Н. Колмогорова.

[1] Из них следует отметить статьи «Принцип приспособления к контексту» («Журнал языкознания», I, Бухарест, 1956) и «La „structuration" dynamique des significations» (сб. «Mélanges linguistiques publiés à l'occasion du VIII Congrès international des linguistes à Oslo», Bucarest, 1957). Вышедшая в 1959 г. в Бухаресте книга «Limbaj şi context» представляет собой первую редакцию рецензируемой работы. Вопросы развития мышления и речи ребенка-дошкольника разработаны автором в монографии «Relaţiile dintre gîndire şi limbaj în ontogeneză (3—7 ani)», Bucureşti, 1957.

Вторая глава посвящена анализу факторов, обусловливающих языковую деятельность. Рассматривается анатомо-физиологическая и психологическая основа процесса говорения. Этим исчерпываются «внутренние» координаты языковой деятельности. Далее анализируются «внешние» координаты, т. е. влияние на язык объективной предметной реальности, отраженной в языке, и среды, в первую очередь — общества. В заключение автор высказывает ряд в высшей степени интересных и плодотворных соображений, касающихся реального функционирования координат в языковой деятельности.

Третья глава открывается положением, гласящим, что «язык не может рассматриваться как чистая данность, „внешняя" по отношению к индивиду в момент коммуникации», и что никакой анализ, затрагивающий язык в отрыве от речи и языковой деятельности, не может обеспечить достаточно полное освещение сущности языка (стр. 62). Далее под этим углом зрения рассматриваются различные языковые единицы. Говоря о звуках, Т. Слама-Казаку обращает внимание, между прочим, на то, что в языковой деятельности фонема, как правило, выступает в функции лишь потенциального словоразличителя.

Говоря о причинах и факторах вариативности языковых единиц, автор отмечает, что в реальной языковой деятельности «слово никогда не выступает в абсолютном одиночестве, как в словаре» и что оно «всегда соединено с известной ситуацией, которая придает ему определенную валентность» (стр. 84). Описывается целый ряд интереснейших экспериментов, иллюстрирующих обусловленность значения, атрибутируемого тому или иному слову, особенностями ситуации. По мнению автора, слово, рассматриваемое как объект изучения лингвистики, не может быть определено точно через самое себя или через «чисто лингвистические» отношения (стр. 95): оно определяется всей совокупностью лингвистических и экстралингвистических отношений, в которую оно включается в любой данный момент коммуникации.

По мнению Т. Слама-Казаку, не следует говорить о системе значений как о части общеязыковой системы. Системные отношения в лексике (в отличие от фонологии и грамматики) определяются общественной средой, в которой существует и развивается язык — в частности единством жизненного опыта членов языкового коллектива: «способ организации различных отношений внутри семантической системы соответствует, по существу, тому или иному характеру отражения действительности» (стр. 119). Системность в лексике следует поэтому понимать в статистическом смысле: это — отражение наиболее распространенных, особенно часто встречающихся у членов языкового коллектива ассоциаций (в связи с общностью условий их жизни и в связи с самим фактом существования общества). В этой связи автор высказывает очень важный и, по нашему мнению, совершенно правильный тезис о том, что системная организация отдельных «уровней» языка совершенно не обязательно должна быть всюду аналогичной; единство языка определяется не единством его системы как целого, а взаимодействием его «подсистем» (стр. 125), т. е. единообразием языковой деятельности. Именно эту сторону подчеркивает Т. Слама-Казаку, определяя язык, как «совокупность средств словесного выражения, общую членам коллектива и усваиваемую каждым из них в течение жизни в процессе „избирательного" усвоения» (стр. 125).

Вторая часть книги — «Говорение и восприятие речи (Функциональные аспекты языка)» — также состоит из трех глав: «Знак и его ценность», «„Техника" языковой деятельности» и «Контекст».

В первой главе второй части автор излагает уже известную нам концепцию в терминах знаковой теории. Во второй главе автор обращается к теории коммуникации, справедливо констатируя ограниченность узко «коммуникативного» подхода к языку (стр. 153—154), характерного для многих зарубежных ученых.

По мнению Т. Слама-Казаку, в психике каждого из участников коммуникации потенциально существует языковая система (или языковые подсистемы), которая актуализуется в момент речевой активности. В процессе этой актуализации обнаруживается, между прочим, двоякая структурация семантической стороны языка, т. е. два типа связей, в которые могут вступить *языковые значения*: речь идет о «семантических микроструктурах» (система ассоциаций данного слова с предметами и явлениями реальной действительности; эта система ассоциаций образует его предметное содержание) и «семантических макроструктурах» (система ассоциаций данного слова с другими словами) (стр. 155). В момент речевой активности говорящий или слушающий производит бессознательный отбор определяемых данными условиями общения (данным контекстом) семантических связей. Оба вида связей суть связи динамические, постоянно развивающиеся и изменяющиеся под влиянием внешней среды и психического состояния индивида. Понимание речи «не есть чисто ассоциативная, механическая реакция, вызываемая восприятием слова» (стр. 192), но активный процесс, при котором устанавливается определенное отношение между «ситуацией», знаком и значением.

В третьей главе охарактеризованы установленные в ходе предшествующего анализа основные функции контекста: выбор слова и уточнение его смысла, индивидуализация смысла слова и т. д. В качестве основного закона функционирования языка автор выдвигает принцип приспособления к контексту. Сам контекст может быть реальным или вербальным (лингвистическим), имплицитным или эксплицитным. Но по существу и лингвистический, и нелингвистический контексты образуют одно единое целое, одну единую ситуацию говорения (стр. 216). Основные выводы автора

сформулированы в пространном «Заключении».

Здесь не ставилась задача полностью изложить содержание книги, да это и невозможно. Нам хотелось обратить внимание читателя на те моменты концепции Т. Слама-Казаку, которые представляются наиболее плодотворными. В целом книга, безусловно, заслуживает положительной оценки. Появление в серии «Janua Linguarum» теоретической работы, предметом которой является не языковая с и с т е м а, а реальное функционирование языка, языковая д е я т е л ь н о с т ь, уже само по себе следует приветствовать. Тем более ценно, что такая монография написана Т. Слама-Казаку, которая известна не только как лингвист, но и как психолог. Книга увлекательна по содержанию и оригинальна по форме; привлечен колоссальный библиографический аппарат (около 700 названий); в ряде случаев автор опирается на собственные экспериментальные исследования, представляющие значительный самостоятельный интерес.

Работа Т. Слама-Казаку вызывает вместе с тем ряд серьезных вопросов и критических замечаний. Начнем с библиографии, которая здесь отнюдь не является простым «приложением» к книге: в тексте действительно использована большая часть перечисленных работ, и, следовательно, наличие или отсутствие той или иной работы в библиографическом списке определенным образом характеризует и саму книгу. Поэтому вызывает удивление тот факт, что автором совершенно не использованы работы русских языковедов конца XIX — первой четверти XX в., очень близко подошедших к излагаемой в книге концепции, а кое в чем шагнувших и дальше. Мы имеем в виду И. А. Бодуэна де Куртенэ (имя которого в книге вообще отсутствует) и его школу, прежде всего — Л. В. Щербу, Е. Д. Поливанова, Л. П. Якубинского. Трудно представить себе книгу по общей теории языковой деятельности, где отсутствовало бы упоминание о статье Л. В. Щербы «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», о статье Е. Д. Поливанова «О звуковых жестах японского языка» и т. д. Тем не менее целое обширное направление в мировой науке, причем исследовавшее язык именно в плане отношений языка и контекста, осталось вне поля зрения автора. Кстати, упомянута только одна работа В. В. Виноградова (и та — «Итоги обсуждения вопросов стилистики»); в списке Т. Слама-Казаку нет «Семасиологии» В. А. Звегинцева; нет ни одной работы Вяч. В. Иванова, С. И. Бернштейна и многих других.

Неполно отражены в библиографии и зарубежные работы по общей теории языка. Указана всего одна работа (к тому же — рецензия) Р. Брауна [2]; нет совсем упоминания о трудах Э. Косериу, Дж. Гринберга [3]. Явно недостаточно представлены работы В. Дорошевского [4] и А. В. де Гроота (нет его известнейшей работы [5]); совершенно не отражены работы А. Рейхлинга — нет даже его монографии о слове [6]. Отсутствует в библиографии классическая книга Ч. Осгуда, Дж. Сучи и П. Танненбаума «Измерение значений» [7] и почти вся литература, вышедшая из школы Осгуда. Не указаны и работы Ципфа (но, как ни странно, есть рецензия на одну из его книг). Однако почему-то в списке фигурируют такие явно ничего не дающие для исследуемого вопроса статьи, как хроника В. А. Артемова в журнале «Вопросы психологии», статья Н. И. Касаткина «Групповая речь как особый вид речи» (там же), мало осмысленная книга А. Робака «Судьба и обусловленность в языке» [8] и многие другие, не говоря уже о большом числе компилятивных работ из различных сборников 20—30-х гг.

Объясняется это, по-видимому, тем, что автор в какой-то степени не смог преодолеть «сопротивление» материала и подчинить его отбор и осмысление определенной, до конца последовательной системе теоретических взглядов. Потому-то в списке иногда отсутствует научная продукция целых школ: она, видимо, просто не попала в поле зрения автора из-за великого множества менее важных работ, случайно привлеченных к исследованию. Благодаря этому книга получила налет как бы эклектичности: при чтении ее создается впечатление, что автор черпает полной мерой из самых разных источников, не очень считаясь с тем, насколько они соответствуют в целом излагаемой концепции.

Это впечатление усиливается тем более, что в книге Т. Слама-Казаку совершенно не затрагивается вопрос о том, как должна быть преобразована система лингвистических категорий и, в частности, система лингвистических единиц, под предлагаемым автором углом зрения на язык. Нет нужды говорить, что этот вопрос должен был быть поднят. В частности, трактовка Т. Слама-Казаку языковой деятельности никак не укладывается в традицион-

[2] Отсутствует, однако, упоминание о его книге: R. B r o w n, Words and things, Glencoe, 1958

[3] См. E. C o s e r i u, Sistema, norma y habla, Montevideo, 1952; е г о ж е, Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, Montevideo, 1954, и др.; J. H. G r e e n b e r g, Essays in linguistics, New York, 1957.

[4] Не указан, например, его доклад: W. D o r o s z e w s k i, Le structuralisme linguistique et les études de géographie dialectale, «Proceedings of the 8-th International congress of linguists», Oslo, 1958.

[5] A. W. de G r o o t, Structural linguistics and phonetic law, «Lingua», I, 2, 1948.

[6] A. R e i c h l i n g, Het woord, Amsterdam, 1935.

[7] Ch. E. O s g o o d, G. J. S u c i, P. H. T a n n e n b a u m, The measurement of meaning, Urbana, 1957.

[8] A. A. R o b a c k, Destiny and motivation in language, Cambridge (Mass.), 1954.

ную соссюровскую дизъюнкцию языка и речи, основанную на откровенном «социологическом» понимании сущности языка; это естественно, поскольку концепция «Курса» Соссюра в этой своей части в настоящее время представляет уже чисто исторический интерес. Впрочем, как выяснилось при публикации Р. Годелем соссюровских материалов, сам де Соссюр тяготел к выделению трех, а не двух категорий — речи (точнее — речевой деятельности), языка как системы и языка как языковой способности [9].

Развивая эти взгляды де Соссюра, можно представить систему основных категорий общей теории языка, в частности, следующим образом. Языковая способность есть совокупность психологических и физиологических факторов, обеспечивающих постоянное воспроизведение и адекватное восприятие элементов языкового стандарта членом языкового коллектива и, таким образом, делающих возможным процесс мышления и процесс коммуникации. Языковая деятельность есть процесс реализации языковым коллективом языковой способности в определенных социально-экономических и культурных условиях — как для целей коммуникации, так и для целей мышления; процесс этот рассматривается в отвлечении от речи конкретного члена языкового коллектива. Языковой стандарт есть совокупность константных элементов языковой деятельности, обязанных своим существованием, с одной стороны, общности условий протекания языковой деятельности, с другой — общим чертам, присущим языковым способностям разных членов языкового коллектива. Языковый стандарт в свою очередь может быть представлен как единство и взаимодействие элементов языковой системы и языковой нормы [10].

Развивая свою концепцию системы языка и, в частности, принципиально различая разные виды системности, Т. Слама-Казаку оперирует, тем не менее, одними и теми же, традиционно сложившимися лингвистическими единицами — «фонема», «морфема», «слово» и т. д. Это ведет, однако, к некоторому смешению понятий, чуть дело доходит до функциональной роли этих единиц в системе языка. Впрочем, понятие слова, по нашему мнению, не удовлетворяет с методической точки зрения и требованиям современной структурной лингвистики. Как указывал в свое время Е. Д. Поливанов, слово как совокупность морфем совершенно не обязательно должно совпадать со словом как семантической единицей и фонетическим словом: это единицы совершенно разнохарактерные и лишь частично покрывающие друг друга [11].

Что касается психологической и физиологической аргументации Т. Слама-Казаку, она тоже вызывает некоторые возражения — и тоже в силу стремления автора сформулировать свои идеи в терминах сразу нескольких, зачастую взаимоисключающих научных направлений. В книге учение И. П. Павлова мирно соседствует с физиологической концепцией Вундта, ассоцианизм в лучших традициях середины прошлого века — с гештальтизмом и самым утонченным бихевиоризмом. При всем этом особенно жаль, что так мало и односторонне использованы работы Л. С. Выготского и его школы: имя А. Р. Лурия появляется, как правило, лишь там, где речь заходит об афазии; нет упоминания о трудах П. Я. Гальперина, хотя для рассматриваемого вопроса некоторые его работы имеют существенное значение [12]; к сожалению, неизвестна автору логическая концепция Г. П. Щедровицкого [13] и его школы.

Все это хотя и снижает впечатление от книги Т. Слама-Казаку, но никак не может перевесить ее достоинств. Работа Т. Слама-Казаку прокладывает новые пути в лингвистической науке, и при этом было бы совершенно неоправданно требовать, чтобы она была во всех отношениях безукоризненной.

А. А. Леонтьев

«Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», hrsg. von R. Klappenbach, W. Steinitz, Lf. 1—2. — Berlin, Akademie-Verlag, 1961. 160 стр.

Немецкая лексикография хотя и имеет богатую традицию, тем не менее еще не располагает опытом составления больших словарей, призванных отражать лексическую систему современного немецкого литературного языка. Недавно доведенный до конца словарь братьев Гримм [1], работа над которым велась больше ста лет, вряд ли можно считать словарем современного языка. Восьмитомный словарь

[9] См. R. Godel, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure, Genève — Paris, 1957, стр. 147 и сл.

[10] См. о системе и норме перечисленные выше работы Э. Косериу, а также Н. Н. Коротков, Понятие системы и его место в анализе и описании строя языка, «Тезисы дискуссии о проблеме системности в языке», М., 1961.

[11] См. об этом: А. А. Леонтьев, И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа русской лингвистики, ВЯ, 1961, 4.

[12] См., например, П. Я. Гальперин, К вопросу о внутренней речи, «Доклады АПН РСФСР», 1957, 4.

[13] См., например: Г. П. Щедровицкий, Языковое мышление и его анализ, ВЯ, 1957, 1; а также цикл его публикаций под общим заголовком «О строении атрибутивного знания» в «Докладах АПН РСФСР» (1958—1, 4; 1959—1, 2, 4) и мн. др.

[1] J. Grimm, W. Grimm, Deutscshes Wörterbuch, Leipzig, 1854—1960.

А. Гётце [2] и словарь Г. Кюппера [3] являются словарями дифференциальными. Неоднократно переиздававшиеся однотомные словари последних лет [4] не содержат достаточно полного описания лексического запаса немецкого языка. Поэтому «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», работа над которым ведется в Институте немецкого языка и литературы Германской Академии наук в Берлине и два выпуска которого уже вышли в свет, является чрезвычайно нужным и своевременным лексикографическим предприятием. На основании этих выпусков, содержащих словарные статьи на слова от *A* до *annehmen*, пока еще трудно судить о словаре в целом. Однако уже и этот материал вместе с развернутым предисловием, которое по существу является изложением основных принципов всего издания, дают представление о рецензируемом лексикографическом труде. Ниже мы остановимся преимущественно на некоторых общих лексикографических вопросах и решении их в рассматриваемом словаре.

Словарь ставит своей задачей не только отразить словарный состав современного немецкого языка и раскрыть значение слов, но (что очень существенно) показать и типические случаи употребления их. В словарь включается прежде всего типичное, общеупотребительное и вовсе устраняется индивидуальное, единичное. В словарь свободно вводятся иноязычные слова, активно входящие в современный язык. Специальная и областная лексика дается с разумным ограничением. Эти общие принципы, определяющие характер словника (номенклатуры), вполне обоснованы и убедительны. Кроме лексики активного запаса, составители предусматривают возможность включения такой устарелой лексики, которая встречается в произведениях классиков XVIII—XIX вв. Все это придает словарю несколько эклектический характер и находится в противоречии с общей задачей — описывать типическое и распространенное. Ведь непонятны в старых текстах слова, обычно малоупотребительные или совсем ушедшие из современного языка; слой устарелой лексики в словаре стоит известным образом в оппозиции к остальному материалу, а понятие лексической системы современного немецкого языка затемняется. Нам кажется, что архаизмы имеют законное право присутствовать в словаре лишь в том случае, если они еще сохранились в пассивном запасе носителей языка и могут и в настоящее время использоваться в особых условиях, со стилистическими заданиями. Слова же, которые выпали из словарного состава и не входят даже в пассивный запас говорящих, должны быть объектом особых словарей-справочников. Правда, словари, описывающие состав современного языка, обычно в справочных целях помещают и часть устарелой, вышедшей из употребления лексики, но это оправдывается лишь отсутствием для того или иного языка исторических словарей.

Основная ценность словника рецензируемого словаря — разнообразие и богатство представленной в нем лексики. Сравнение реестра слов вышедших выпусков с прежними словарями немецкого языка убеждает в объективности подбора слов и в тенденции к обогащению словника. Например, на сто слов (от *abständing* до *Abstreicher*) по сравнению со словарем Макензена введено 58 слов (из них 35 сложных) таких, как *Abstandsgefühl*, *Abstandszahlung*, *Abstellhahn*, *Abstellplatz*, *Abstellraum*, *Abstelltisch*, *Abstichöffnung*, *Abstichprobe*, *Abstichrinne*, *Abstichstange*, *Abstiegsgefahr*, *Abstiegskandidat*, гнездо с первой частью *Abstimmungs*-(18 слов) и др. Это свидетельствует о намерении составителей словаря шире, чем в предшествующих словарях, включать сложные слова [5]. В этой связи можно предполагать, что со стороны словника рецензируемый словарь окажется значительно богаче словаря братьев Гримм.

Опаздывание словарей с регистрацией новых слов общеизвестно и объясняется как объективными, так и субъективными причинами. В рецензируемый словарь обильно включаются неологизмы (они сопровождаются пометами «Neuwort» или «Neuprägung»: *Automation*, *Agrobiologie*, *Agrotechnik*, *Akademismus* и др.). Отмечено много новых значений — *Aktivist*, *Administration* 2 [6], *abdunkeln* 2, *abfliegen* 2, *andienen* 1, *anfahren* 7, *anliegen* 2, *Anlandung* 1, *anmessen* 2, *abkassieren*. Широко представлена в словаре специальная лексика. Известно, что в настоящее время особенно интенсивно входят в общее употребление слова и выражения, связанные с техникой и спортом. К области техники относятся, например, *Abbrand*, *Abdampf*, *abfedern*, *Absperrhahn*, *Absperrklappe*, *Absperrventil*, *Aggregat*, *Akkumulator*, *Alwegbahn* и др. Из спорта заимствованы *ablocken*, *Abseits*, *Abspiel*, *Absprungsbalken*, *Abstauber*, *Abstiegskandidat* и др.

В построении словарных статей авторы следовали двум основным, совершенно бесспорным для словаря современного языка положениям: 1) употребительные значения выдвигаются на первое место; 2) переносные значения следуют за первичными, основными. Если эти два принципа сталкиваются, отдается предпочтение второму, за исключением тех случаев, когда первичные (конкретные) значения совершенно устарели или очень ограничены в своем употреблении.

Основной семантической единицей в слове является значение, которое дается арабской цифрой. Раскрывая значение слова,

[2] A. Goetze, Trübners Deutsches Wörterbuch, Berlin, 1936—1952.

[3] H. Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Hamburg, 1955.

[4] «Der Sprach-Brockhaus. Deutsches Wörterbuch», 1950; L. Mackensen, Deutsches Wörterbuch, Laupheim, 1955; R. Pekrun, Das deutsche Wort, Heidelberg — München, 1959.

[5] См. рец. словарь, «Vorwort», стр. 016.

[6] Арабская цифра обозначает номер значения.

авторы в необходимых случаях показывают возможности употребления, отмечают сочетания, выпадающие из сформулированных значений, смысловые варианты и т. п.; однако многие лексико-семантические вопросы остаются для авторов неясными в результате недостаточно разработанных вопросов семантической теории [7].

Удачным приемом лексикографической символики следует признать применение в словаре римских цифр для разграничения далеких значений, стоящих на грани омонимических, например при словах *Ameise*, *Amerikaner* и др.

Толкования слов, как правило, лаконичны, причем, давая определения, составители избегают пользоваться теми словами, которые не представлены в их словаре. Для толкования значений даются два типа определений: 1) описательное (или дефиниция), 2) определение путем близкого по значению слова (или через синоним). Успешно обходятся нередкие в словарях взаимно-отсылочные синонимические толкования. На примере глаголов *abhetzen* и *abjagen* показано, что первый, принадлежащий к нормативной речи, сопровождается более подробным толкованием, второй раскрывается через синоним.

Небольшая часть словаря еще не дает возможности судить о том, выработаны ли модели определений для тех или иных разрядов лексики, например для слов, обозначающих животных или растения, для наименований народов, предметов материальной культуры, для грамматически однотипных слов и т. п. В словаре дается, например, очень обстоятельное определение при слове *Adler*: «großer, seltener Raubvogel mit hakenförmigem Schnabel und stark gekrümmten Krallen, der seinen Horst gern in großen Höhe auf hervorspringenden Felsplatten baut» и очень сжатое, лишь с отнесением к классификационному разряду при слове *Ammer*: «Singvogel aus der Familie der Finken». Название стихотворного размера *Anapäst* имеет такое определение: «Dreisilbiger Versfuß aus zwei kurzen und einer langen Silbe», а аналогичное слово *Alexandriner* имеет лишь общее указание в скобках «Versmaß».

Нельзя согласиться с компромиссом, на который пошли авторы словаря, допустив все же возможность взаимно-синонимических толкований в тех случаях, когда определение стилистически неудовлетворительно и поэтому плохо сочетается с иллюстративными примерами. Так, довольно многочисленны примеры определений через несколько синонимов: *Abgabe* 1 «Ablieferung» и *Ablieferung* «Abgabe, Aushändigung»; *Ablehnung* «Abweisung» и *Abweisung* «Zurückweisung, Ablehnung»; *Abstimmung* 2 «Angleichung, Anpassung» и *Angleichung*, «Anpassung, Abstimmung». Если *Aushändigung*, Zurückweisung, Anpassung в свою очередь будут иметь синонимические определения, то круг замкнется, и эти слова останутся в словаре неистолкованными. Неумеренное использование синонимов в роли определения, бесспорно, затемняет смысловые различия, которые свойственны синонимам и показать которые — одна из важных задач словаря.

Широко применяется и способ толкования значений через антонимы, например *Altertum* 1 «Ggs. Neuzeit», *alt* 5 «Ggs. modern»; *aktiv* 1 «Ggs. passiv», *Abstieg* 1 «Ggs. Aufstieg», *absetzen* 3 «Ggs. ansetzen». Этот прием толкования также нельзя считать удачным. Зато, как правило, удачно использованы синонимы и антонимы в составе дефиниций, в качестве уточняющей, дополнительной части определения, например *abtransportieren* «jmdn. mit einem Fahrzeug fortschaffen, abfahren»; *abzehren* 2 «kraftlos werden, abmagern»; *abschrauben* «etw. losschrauben, Ggs. anschrauben»; *Abstieg* 2 «Weg bergab, Ggs. Ausstieg»; *achtsam* «aufmerksam, Ggs. achtlos»; *alt* 2 «bejahrt, reich an Jahren, Ggs. jung»; 3 «gebraucht, Ggs. neu». Нам кажется, что именно так и должны быть использованы синонимы и антонимы как средство толкования в словарях.

Особенного внимания заслуживает принятый в словаре принцип иллюстрации, так как именно в употреблении слова и раскрывается обычно его индивидуальный характер, проясняются черты сходства с близкими по значению словами и отличие от них. Иллюстративная часть приобретает первостепенное значение еще и потому, что рассматриваемый словарь зачастую ограничивается крупными семантическими делениями — значениями (иногда внутри значения вводятся буквенные разделы), и детализация производится внутри значения преимущественно при помощи иллюстративного материала, который призван раскрыть оттенки в употреблении слова, продемонстрировать типичность или устойчивость речевых оборотов. Таким образом, цитаты и авторские речения, с одной стороны, подтверждают и дополняют толкование, с другой — сами являются объектом толкования.

Иллюстративная часть словарных статей содержит речения, составленные авторами словаря, и примеры из произведений писателей, из фольклора, из газетных и журнальных статей, из научно-популярных изданий. Художественная литература представлена как классиками XIX в. (частично XVIII в.), так и, прежде всего, современными писателями. Удельный вес цитат из произведений писателей XX в. значителен, и это отвечает задаче словаря — отразить прежде всего язык нашего времени. К сожалению, источники словаря в предисловии указаны лишь в общем виде (список использованных материалов предполагается дать в конце первого тома). В самом тексте словаря, кроме имен писателей прошлого — Гёте, Гофман, Шиллер, Гауптман, Эйхендорф, Раабе, О. Людвиг, Гейне — нам встретились Зегерс, Фейхтвангер, Фаллада, Т. Манн,

[7] Ср. В. М. Жирмунский, [рец. на:] «Althochdeutsches Wörterbuch», ВЯ, 1956, 5, стр. 148.

Г. Манн, А. Цвейг, Ремарк, Верфель, Фибих, О. М. Граф и др.

Хотелось бы поддержать авторов в их обращении к живому, активному газетному материалу, журналистике, публицистике. Это чрезвычайно важный и ценный источник: именно в этих жанрах быстрее, чем в художественных произведениях, находит свое отражение новое в языке, а также та лексическая струя, которая только для них и характерна.

При помощи иллюстраций показывается употребление слова, подтверждаются толкования, стилистические пометы и т. п. Нужно сказать, что иллюстративная часть словарных статей может считаться одной из удач словаря. Детально разработанные правила иллюстрирования позволили очень сжато, но достаточно полно показать живое функционирование слова в речи. Точные библиографические справки при цитатах с указанием фамилии автора, названия произведения, делений внутри произведения (часть, глава, сцена и т. п.) или тома и страницы собрания сочинений облегчают возможность обращения к источнику.

Весьма часто используются речения, которые дают обычные, типические употребления слова и для которых вовсе не нужно подтверждение цитат, например: ***Ablösung*** 1. — *die A. des Senkers, der Briefmarke, des Verbandes*; ***Abordnung***. 1. — *seine A. stand bevor*; *bei einer A. über 30 Tage*. 2. — *eine A. schicken, empfangen, Abordnungen der Jugend (aus aller Welt) trafen ein*; *abwürzeln — etw. mit Pfeffer, Salz, Rotwein a.*

Текст из произведений писателей дается в минимальном объеме, например: ***abhauen*** 1. — «Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen (gefällt)», Brecht, Gedichte, 35; «Die Hand hätt ich mir abhauen lassen», G. Hauptm., Einsame Menschen, IV. Допускается синтаксическая незаконченность фразы: ***abkl¨ren*** «das Chaos, welches sich wieder aufs schönste abklärte», G. Keller, 4, 87 (Gr. Heinrich); ***abklopfen*** 1 «während Sie . . . die Asche Ihrer Zigarette abklopfen», Andres, Portiuncula, 21; ***abknallen*** 1 «Als ob sie nicht Hunderte von unseren Kameraden abgeknallt hätten . . .», Remarque, Zeit zu leben, 15. 2 «unter dem Abknallen von Polizeigewehren», Seghers, 1, 182 (Gefährten).

Предельная краткость примеров сближает их с речениями, например: ***Abkömmling*** 1 «der letzte Abkömmling des Julian», Stifter, 1, 183, «Abkömmling eines wildfremden Abenteuers», G. Keller, 4, 469 (Gr. Heinrich). Думается, что иногда словарные статьи выиграли бы от более широких контекстов цитат. Наряду с этим имеются очень развернутые речения, похожие на цитаты, например: ***abwandern*** 2 — *er ist, hat in seiner Jugend die ganze Gegend abgewandert.*

Вполне оправдано иллюстрирование литературными цитатами тех значений (или речевых оборотов), которые необходимо доказать, так как они могут вызвать сомнения, а также устарелых или редких слов. Именно поэтому имеются цитаты при словах: *abändern* 2, *absprechen* 3, *abtrumpfen* — с пометой «selten»; *Abart* 2, *abbrüchig* 2, *abdienen* 2, *abdrängen* 2, *abfragen* 2, *abführen* 4, *abkämpfen* 1, *abnehmen* 5, *abschatten* 3, *Abschattung* 2, *Abschuß* 4, *abschwören* 2, *absehen* 6, *abspeisen* 2, *abtafeln*, *Abteilung* I, 2, *Abtrag* 2, 3, *Amt* 3, *anders* 3, *anerbieten*, *anfesseln*, *angeraucht*, *anhängig* 2, *Anhängsel* 1, *anher*, *Anlage* 7, *anläuten* 3, *anmahnen* 2, *anmäßlich*, *anmuten* 2 и др. с пометой «veralt.» или «veraltend». В редких случаях наблюдается отступление — устарелое или редкое слово иллюстрируется не цитатой, а речением, например: *Abänderung* 2, *abmüßigen*, *Almosen*, или вообще без иллюстраций — *andienen*, *Achselträger*. Можно полагать, что это случайные отклонения.

Иную роль, очевидно, должны играть цитаты, предусмотренные первым пунктом раздела предисловия о цитатах. К сожалению, этот пункт правил недостаточно развернут. Он гласит: «Цели словаря — приводить прежде всего употребительное и типичное — соответствует первая группа цитат, к которым принадлежат широко распространенные, воспринимаемые как крылатые слова, примеры. Они тесно связаны с заглавным словом»[8]. Если речь идет о том, чтобы ввести в словарь известные цитаты для подтверждения тех или иных употребительных и типичных значений, то будут сталкиваться два противоположных задания — иллюстрировать цитатами употребительное, типическое, с одной стороны, и редкое, устарелое, необытное — с другой. Тогда неясно, что же именно можно иллюстрировать не цитатами, а речениями. Если же имеется в виду привлечение подобных цитат как особого фразеологического материала, тогда они перестают быть иллюстрациями, а приобретают самостоятельное значение в структуре словарной статьи, наряду с различными речевыми оборотами, употреблениями и т. п. Так, в статье *Aber* после речений *wenn das A. nicht wäre*; *viele Wenn und A.* приводится цитата «Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht», Bürger (Kaiser u. Abt.). Очевидно, она удостоверяет одно из возможных употреблений слова. В статье *ablaufen* 6-е значение иллюстрируется несколькими речениями, после которых, с пометой «bildl.» идет цитата из Шиллера: «Fort mußt du, deine Uhr ist abgelaufen» Tell, IV, 3. Здесь роль цитаты совсем иная, чем в слове *Aber*. Ср. аналогичное употребление цитат в словах *abstellen* 3d, *abtun*.

Если обратиться к цитатным примерам в словаре, то можно убедиться в том, что авторы несколько свободнее, чем это предусмотрено правилами словаря, иллюстрировали значения слов цитатами из произведений писателей. Например, в словарной статье ***Affe*** 1. «menschenähnliches Säugetier, das in großen Verbänden auf Bäumen in der Tropen lebt» дается цитата из Брема, дополняющая определение: «Die Affen gehören... zu den lebendigsten und beweglichsten Säugetieren», Brehm, Tierleben, 4,

[8] Рец. словарь, «Vorwort», стр. 020.

389. К *abwechseln*, наряду с речениями, дается цитата: «die farbigen Hemden, von denen er immer mehrere abwechselnd trug», H. Mann, 4, 30 (Untertan). Ср. также использование цитат при словах *Adresse* II, adrett.

Нередко подкрепляются цитатами употребления, стилистически окрашенные или ограниченные, например, с пометой «dicht.» при слове *Ader*, «landsch.» при слове *Abkommen* 5.

В словаре разработана и применяется детальная система стилистических и специальных помет; стилистическая характеристика слова признается одной из важнейших задач словаря. В этом отношении рецензируемый словарь идет дальше своих предшественников. Стилистическими пометами снабжаются не только отдельные слова и значения, но и обороты, устойчивые сочетания, идиомы.

Один разряд помет показывает приуроченность слова к той или иной сфере литературного языка, другой — касается ограничений иного рода: при помощи помет указывается время появления или употребления слова, локальные или профессиональные границы словоупотребления. Стилистическая характеристика основана на положении о четырех основных стилистических пластах языка. Основной пласт (не имеющий в словаре особых помет) — нормативный (normalsprachliche Schicht) состоит из нейтральных слов, свойственных письменному и устному употреблению и принятых в общественной жизни (в широком смысле слова) [9]. Вариантом нейтрального слоя является разговорный, характерный для устной речи. Нейтральному слою противопоставлены, с одной стороны, высокий (gehobene Schicht), а с другой — разговорный с оттенком грубости, небрежности (salopp-umgangssprachliche Schicht) и вульгарный (vulgäre Schicht). Учитывается и экспрессивная окраска слова, предусмотренная пометами «scherzhaft», «vertraulich», «verhüllend», «gespreizt», «spöttisch» и некоторые другие.

Используются в словаре пометы: «veraltet» для слов, которые не употребляются сейчас, но встречаются в литературе и понятны современнику; «veraltend» для слов, употребляющихся преимущественно людьми старшего поколения; «historisch» для слов, обозначающих предметы, явления исторического прошлого, «nazistisch» при словах и оборотах, типичных для времен нацизма; «Neuwort, Neuprägung, Neubedeutung» при неологизмах, наконец «Modewort» при словах, употребляющихся предпочтительно, как бы под влиянием моды.

Уже один этот перечень говорит за себя: в словаре ставится задача очень тонкого и всестороннего анализа стилистической и экспрессивной стороны слова. Авторы отдают себе отчет в том, какую трудную задачу предстоит им решить. «Чувство языка не у всех людей одинаково, так что возможны колебания в стилистических оценках слов» [10]. Предполагается, что избежать субъективности возможно путем взаимного обсуждения и контакта со специалистами, с тем, чтобы «стилистическое членение словарного состава предстало возможно более объективно». Внимание к стилистической стороне слова, проявляемое лексикографами, нельзя не приветствовать. Очень ценны стилистические оценки путем сравнения понятий лексического поля (Wortfeld); в словаре ставится широкая задача многопланового стилистического анализа. На основании двух имеющихся выпусков рецензируемого словаря, как нам кажется, можно ожидать, что в этом словаре будет собран очень ценный материал для стилистических лексикологических исследований и для целей культуры речи.

Областные слова, включаемые в словарь, сопровождаются или точным территориальным указанием — «berlinisch», «süddeutsch», или общей пометой «landschaftlich». Наконец, еще одна группа помет характеризует терминологическую лексику или терминологические, профессиональные значения общего слова. Применяются дифференцированные пометы, указывающие на отрасль производства, область знаний и т. п., например: «Techn.», «Naturwiss.», «Phys.», «Astron.», «Math.», «Mil.», «Opt.», «Rel.», «Bank». Специальные пометы имеют двойственный характер. С одной стороны, они сопровождают действительно специальные слова и выражения, лишь пассивно известные большинству говорящих, с другой стороны, слова, которые широко вошли в употребление, хотя и относятся к специальной области. В последнем случае роль пометы — уточнять определение. Это в известной мере снижает ценность подобных помет, так как в словаре будут одинаково квалифицированы разные явления. Полагаем, что следовало бы пользоваться пометами лишь для первой цели, во втором же случае следует давать указание на область применения слова в самом определении, как это делается, например, при слове *Abt.*

Полиграфическая и техническая сторона словаря производит весьма благоприятное впечатление. Разнообразие шрифтов, отделяющих разные части словарной статьи, простота лексикографической символики делает словарные статьи легко обозримыми, не требует частого обращения к справочному аппарату. Следовало бы, пожалуй, особым шрифтом выделить идиомы, чтобы показать их отличие от других сочетаний. Кроме того, кажется излишним помещать идиомы под каждым входящим в их состав словом. Достаточно дать под каким-либо одним словом, а при других словах — ссылку. Пользование выходящими выпусками было бы удобнее, если бы списки сокращений (помет, фамилий авторов и др.) были предпосланы уже первому выпуску.

---

[9] Рец. словарь, «Vorwort», стр. 010.

[10] Рец. словарь «Vorwort», стр. 010.

«Словарь современного немецкого языка», подготовляемый учеными Германской Демократической Республики, представляет собой значительный интерес не только для германистов, но и для лексикографов, работающих над толковыми словарями других национальных языков.

Е. Э. Биржакова, А. М. Бабкин

Е. А. Бокарев. **Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков.** — Махачкала, 1961. 100 стр. [Дагестан. гос. ун-т].

Рецензируемая работа представляет собой учебное пособие по курсу «Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков», предназначаемое для студентов-кавказоведов. Учебный характер книги заставляет ее автора излагать материал очень сжато, конспективно. Это, однако, не повлияло на содержательность книги. Проф. Е. А. Бокарев стремится так отобрать и комментировать излагаемый материал, чтобы читатель мог получить основные сведения, без которых немыслимо сравнительно-историческое изучение дагестанских языков.

Нам кажется, что данное пособие не только будет представлять собой «материал к курсу», как скромно называет его сам автор, но и послужит важным отправным пунктом для дальнейших интенсивных исследований в области сравнительно-исторического изучения дагестанских языков, так как в нем впервые дано обобщение всех предшествующих изысканий. Если учесть, как многоязычен Дагестан и какой исключительный культурно-исторический интерес представляют для науки бытующие в нем языки, станет очевидным особое научное значение сравнительно-исторического изучения дагестанских языков (вместе со всеми их диалектами). Тем более, что до сих пор наука не знала труда, где был бы собран рассеянный по многим специальным работам материал, который мог бы подтвердить генетическое родство огромного множества дагестанских языков иберийско-кавказской семьи. Поэтому выход в свет книги Е. А. Бокарева следует приветствовать.

Исследования в области изучения дагестанских языков, осуществляемые языковедами Тбилиси, Махачкалы, Москвы и др. (см. научный аппарат, приведенный автором в книге), дали Е. А. Бокареву возможность приступить к реконструкции общедагестанского праязыка. Несомненно, что в решении поставленной проблемы определенное значение имеет и личный исследовательский опыт ученого, внесшего самостоятельный вклад в изучение почти всех групп дагестанских языков.

Рецензируемая книга состоит из пяти глав. В первой главе дается краткий обзор научных достижений в области сравнительно-исторического изучения различных групп и семей генетически родственных языков. Заслуживают внимания те задачи, которые Е. А. Бокарев выдвигает перед исследователями. Так, автор обращает внимание на серьезные трудности, с какими приходится сталкиваться историкам младописьменных и бесписьменных языков и которые не встречаются при изучении, например, таких древнеписьменных языков, как индоевропейские. К этим трудностям автор относит отсутствие памятников древней письменности и богатого опыта изучения их истории.

По мнению Е. А. Бокарева, преимущества древнеписьменных языков перед младописьменными и бесписьменными только кажущиеся. Во-первых, потому, что «эпоха, которой удается достичь применением сравнительно-исторического метода, обычно является хронологически гораздо более древней, чем памятники древней письменности, которыми располагает исследователь. Во-вторых, памятники письменности иногда могут натолкнуть исследователя на неверные выводы, так как, отражая данные какого-либо одного диалекта, они создают впечатление о том, что зафиксированные явления являются общими для всего языка в целом, а не только для данного диалекта; иногда памятники письменности в разные эпохи писались на разных диалектах, что может создать иллюзию о едином процессе исторических изменений, в то время как речь могла идти лишь о длительном сосуществовании различных явлений, характерном для различных диалектов одного и того же языка» (стр. 5—6). В качестве примера успешного сравнительно-исторического изучения младописьменных языков автор указывает на финно-угорские языки, самые древние памятники которых не старше пяти-шести столетий.

В своей работе Е. А. Бокарев умело сочетает исследование, идущее по существу в рамках традиционной компаративистики, со специальными методами, выдвинутыми в новое время структурной лингвистикой. В частности, автор говорит, что «...не следует отбрасывать и глоттохронологический метод М. Свадеша, который на основе учета степени сохранности основного словарного фонда судит о большей или меньшей давности различных степеней языкового родства. По подсчетам Свадеша, за тысячелетие исчезает около 15% основного словарного состава. Эту цифру по отношению к дагестанским языкам подтверждают приблизительно и данные археологии о том, что общедагестанское единство следует отнести к III тысячелетию до н. э. Правда, точность этого метода очень относительна. Но выводы, основанные на применении этого метода, могут быть сопоставлены с другими приемами хронологизации» (стр. 17—18).

Автор правомерно выделяет основной и дополнительные источники, по которым нужно проводить сравнительно-историческое исследование младописьменных и бесписьменных (в данном случае дагестанских) языков. К основному источнику отнесены

данные всей совокупности современных родственных языков и диалектов (основной лексический фонд, грамматический инвентарь и т. д.). К дополнительным источникам относятся: 1) «зачаточные формы письменности» (различные переводы слов и текстов, сделанные в разные периоды истории, из разных языков на местные языки; рукописные документы на этих языках; географические сочинения древних авторов, например, Птолемея, Страбона и др., у которых дается ряд географических названий, относящихся, например, к Кавказу и другим местам; описания путешествий, где часто приводятся отдельные слова и фразы на местных языках, и др.). Но, однако, автор предупреждает читателя о том, что возможность использования подобного рода данных очень ограничена (бедность материала, неточность записи и т. д.); 2) данные историч и археологии (поскольку они «характеризуют хозяйство, быт и культуру народов, языки которых подвергаются исследованию, различных и часто очень древних эпох») (стр. 7—8). «Большую помощь исследователю могут принести,— заканчивает автор,— топонимические названия (названия селений, рек, гор и т. п.), которые часто представляют собой пережитки в истории языков» (стр. 8).

Выявлению исконно общего словарного фонда для группы родственных языков Е. А. Бокарев придает большое значение. Он пишет, что «исконно общий фонд дает возможность характеризовать ту культуру, которая существовала в эпоху единого праязыка. Так, например, совершенно определенное наличие в общедагестанском словарном фонде таких слов, как *овца*, *коза*, и сомнительность отнесения к нему таких слов, как *корова* и *лошадь*, дает возможность предположить, что в эпоху существования общедагестанского праязыка население Дагестана занималось разведением преимущественно мелкого рогатого скота и только начинало заниматься разведением крупного рогатого скота и коневодством» (стр. 9).

После нахождения исконно общего лексического фонда Е. А. Бокарев методически правильно рекомендует исследователям уделять основное внимание установлению всех возможных рядов звукосоответствий, особенно рядов регулярных звукосоответствий, так как они дают возможность приступить к реконструкции фонетической системы праязыка. «Каждый из таких рядов,— говорит автор,— представляет собой совокупность рефлексов того или иного празвука, если, конечно, не удается разъяснить его как позиционный вариант какого-либо другого» (стр. 12). Например, в звукосоответствии: авар. *лъ* (*лълъ*), лакск. *хь/шш* (*щ*), дарг. *хь/ш*, лезг. *хь/й*, табасаран. *хь/ш* (авар. *лълъин* «вода», лакск. *шшин*, дарг. *шин*, лезгин. *йад*, табасаран. *шид*) автор считает исконным, восходящим к эпохе общедагестанского единства, глухой латеральный *лъ* (*лълъ*) и думает, что ни *хь*, ни *ш*, ни *й* не могут рассматриваться в этом звукосоответствии как исконные, потому что исконные *хь*, *ш*, *й* в этих языках дают совершенно другие звуковые соответствия.

На наш взгляд, автор прав, говоря, что основная трудность при выяснении того, какой исконный звук лежит в основе какого-либо звукосоответствия, состоит в том, что звуковые ряды в различных языках перекрещиваются друг с другом, так как в процессе исторического развития в отдельных языках происходит совпадение исконно различавшихся звуков. Например, в аварском языке в сочетании *цIцI* совпали исконные *цIцI* и *дз*, в латеральном смычно-гортанном аффрикате *кь* совпали праязыковое *кь* и увулярный геминированный смычно-гортанный аффрикат $\overline{къ}$; в *тI* совпали исконный *тI* и пятый латеральный $кь_1$. В лезгинском языке в увулярном смычном *кь* (*къ*) совпали исконные *къ*, увулярный аффрикат $\overline{къ}$, пятый латеральный $кь_1$ и заднеязычный аффрикат *кIкI*; в смычно-гортанном *кI* совпали исконный *кI* и латеральный аффрикат *кь*. «Решающим для реконструкции фонетической системы праязыка,— заключает автор,— является ее системность, которая позволяет реконструкцию каждого отдельного ряда звукосоответствий связать с реконструкцией всей системы в целом» (стр. 13).

Современное состояние сравнительно-исторического изучения фонетической системы дагестанских языков заставляет автора книги при изложении им реконструкции фонологической системы общедагестанского языка-основы принимать ряд оговорок. Так, Е. А. Бокарев предупреждает (и мы здесь целиком согласны с его мнением), что некоторые из восстанавливаемых празвуков, возможно, окажутся лишь позиционными вариантами каких-либо иных фонем.

Во второй главе даются краткие сведения о дагестанских языках, об истории их изучения и классификации на основе новейших достижений дагестанского языкознания; здесь же указывается территория их распространения (в Даг. АССР, а также частично в некоторых районах северной части Азерб. ССР). «Вряд ли можно найти,— пишет автор,— на земном шаре другую территорию с таким сложным переплетением языков, как Дагестан. Исключительное многоязычие Дагестана, как и Кавказа в целом, отмечалось уже в глубокой древности. У арабских средневековых географов Дагестан был известен не только как „страна гор“, но и как „гора языков“ (стр. 18).

Е. А. Бокарев указывает, что сравнительно-историческое изучение дагестанских языков началось, в основном, в советский период, хотя их материальная близость была замечена уже первыми исследователями. В частности, автор справедливо отмечает большие заслуги тбилисской лингвистической школы, возглавляемой проф. А. С. Чикобава, в развитии сравнительно-исторического изучения дагестанских языков. В конце второй главы Е. А. Бокарев выражает надежду на то, что плодотворная большая работа совет-

ских исследователей в области сравнительно-исторического изучения дагестанских языков приведет в скором времени к созданию сравнительно-исторических грамматик их отдельных генетических групп, а затем и к написанию сравнительно-исторической грамматики дагестанских языков в целом.

В третьей главе книги делается сравнительный обзор отдельных дагестанских языков (аварского, андийских, цезских, лакского, даргинского и лезгинских); устанавливаются звукосоответствия в части лексики, возводимой автором к общедагестанскому (исконному) словарному фонду; приводятся лексические расхождения и схождения; перечисляются основные фонетические особенности не только каждой группы дагестанских языков, но и почти каждого (крупного) языка, входящего в ту или иную группу, а также диалектов дагестанских письменных языков (аварского, даргинского, лакского, лезгинского и табасаранского).

При этом, перечисляя фонетические особенности отдельных дагестанских языков и диалектов, автор в ряде случаев не просто показывает звуковые соответствия в разных дагестанских языках, но и высказывает ряд ценных замечаний об истории их возникновения. По-видимому, отсутствие фронтального исследования говоров аварского языка, расположенных в Закатальском и Белоканском районах Азерб. ССР, дало основание Е. А. Бокареву (вслед за Р. А. Махмудовым и Ш. И. Микаиловым) заявить, что «латеральные согласные совершенно (разрядка наша. — *Я. С.*) отсутствуют в закатальском диалекте» (стр. 33). Однако в противоположность этому мнению, нами выявлено, например, наличие придыхательного (негеминированного) глухого латерального щелевого *лъ* в говоре с. Мазунчай закатальской группы аварских говоров. Приведем некоторые примеры на фонему *лъ*: *белъзила* «варить», *лъезила* «положить», *лъазила* «знать», *малъ* «коготь, ноготь», *лъабгу* «три» и т. д.

В данном же говоре обнаружено также наличие латерального глухого непридыхательного (геминированного) щелевого *лълъ*, полученного, очевидно, из исконного *лI* (аффриката), например: *анлълъгу* (ср. с авар. лит. *анлIго*) «шесть», *ролълъ* (ср. с авар. лит, *ролI*) «пшеница» и т. д. Вопрос о качестве *лълъ* нуждается в экспериментальном изучении.

Возражения вызывают и утверждения автора книги об утрате цезскими языками корреляции «геминированные — негеминированные» вообще, а также и о переходе общепрадагестанских *цIцI* > *ц*, *чIчI* > *ч* в частности. По нашим наблюдениям, например, аварским *цIцI*, *чIчI* в цезских языках регулярно соответствуют *цц*, *чч* (геминаты), а в книге (стр. 41, 70—73) сказано, что аварским *цIцI*, *чIчI* в цезских соответствуют *ц*, *ч* (негеминаты). Ограничимся примерами самого автора: *цIцI*: *цц* («язык» = авар. *мацIцI* > цезск., хварш., гинух. *мецц*, бежитин. *мицц*, гунзеб. *мыцц* (*мец/миц* — местное кушанье); *чIчI*: *чч* («крапива» = авар. *мичIчI* > цезск. *мечча*, гунзеб. *мичч*) и т. д. В увеличении числа примеров такого рода нет необходимости, потому что доказательство наличия в цезских языках корреляции «геминированные — негеминированные» выходит за рамки данной рецензии.

Поскольку переход смычно-гортанных геминированных в несмычно-гортанные геминаты закономерен не только в языках аварской группы, но и в других дагестанских языках, то нельзя ожидать перехода смычно-гортанных геминированных в несмычно-гортанные негеминированные.

В четвертой главе книги дается довольно удачная историческая характеристика реконструированной звуковой системы общедагестанского праязыка, приводится схема классификации его согласных. Автор книги предполагает в системе общедагестанского праязыка наличие не только *и*, *у*, *е* (*о*), *аь*, *а*, но и носовых (назализованных) и фарингализованных гласных. Здесь же (в начале главы) сформулированы наиболее общие выводы, вытекающие из всего того, что было изложено в третьей главе.

Предположение автора о наличии «носовых (назализованных) гласных» в общедагестанском праязыке (стр. 82), по нашему мнению, недостаточно мотивировано. Для этого, может быть, следовало выяснить, не являются ли *м*, *н* в приводимых автором примерах новообразованиями (фонетическими наращениями), вызванными определенными фонетическими условиями; не являются ли *м*, *н* в этих словах исконными? Нам известно, например, об исчезновении в ряде дагестанских языков *м*, *н* в интервокальном положении, как и после гласного в абсолютном конце слова, перед паузой (при ослаблении их артикуляции), когда остается лишь след в виде назализации, обычно предыдущего гласного. И это явление характерно для ряда дагестанских языков. Обратного явления, за редкими исключениями, исследователями этих языков до сих пор не наблюдалось. Поэтому нет сомнения в том, что данный вопрос (как и вопрос о наличии фарингализованных гласных) в общедагестанском праязыке нуждается в дополнительном изучении.

Систематическое сравнение дагестанских языков, проведенное автором книги, позволило ему установить существование общедагестанского основного словарного фонда, восходящего к той далекой эпохе, которая непосредственно предшествовала распаду (дифференциации) прадагестанского языкового единства на отдельные языки. К этому общему для всех дагестанских языков словарному фонду Е. А. Бокарев относит, например, названия частей тела, наименования некоторых диких и домашних животных, дикорастущих и культурных растений, явлений и предметов быта и орудий; понятий, связанных с семейными и родственными отношениями; некоторых элементарных действий и качеств, простейших числительных и местоимений.

«Этот общий лексический фонд,— говорит автор,— характеризуется определенными регулярными звуковыми соответствиями, что свидетельствует об его исконности, а следовательно, и о генетическом единстве дагестанских языков. Иными словами, это свидетельствует об их происхождении из одного и того же праязыка, который впоследствии в процессе исторического развития распался на ряд отдельных языков» (стр. 57). Выявление основного словарного фонда общедагестанского праязыка, характеризующегося регулярными звукосоответствиями, по нашему мнению, является бесспорной удачей автора книги.

В пятой (последней) главе излагаются основные фонетические процессы в истории крупных дагестанских языков (аварского, даргинского, лакского, лезгинского и табасаранского). При этом особое внимание сосредоточивается на фонетических процессах, наиболее характерных для развития каждого из дагестанских языков в отдельности, начиная с периода распада общедагестанского языкового единства на отдельные дагестанские языки и кончая их современным состоянием.

Пятая глава представляется особенно значительной по своему содержанию, поскольку в ней дается теоретическое обобщение материала, изложенного в предыдущих (3-й и 4-й) главах. Приведем ниже наиболее ценные выводы и предположения Е. А. Бокарева, к которым он пришел на основе сравнительно-исторического анализа фактов дагестанских языков.

Система согласных фонем общедагестанского языка-основы была богаче консонантизма современных дагестанских языков. Только некоторые черты фонетической системы этого языка-основы сохранились в каждом из них. Например, в ахвахском лучше сохранилось противопоставление геминированных и негеминированных, чем в аварском и остальных андийских языках. В лакском, по сравнению с аварскими языками, оно сохранилось еще в меньшей степени и совершенно исчезло в даргинском, лезгинском и цезских языках. В ахвахском, каратинском и в некоторых диалектах аварского языка лучше всего сохранились также глухие латеральные согласные, несколько в меньшей степени — в большинстве аварских диалектов, в остальных андийских языках, а также в цезских и арчинском языках. Во всех дагестанских языках сильно упростилась серия увулярных согласных: ни один из них не сохранил полностью противопоставления смычных увулярных смычно-гортанным аффрикатам. В аварских языках, за исключением ахвахского и андийского, это противопоставление сохранилось в наименьшей степени и т. д.

Фонетические процессы, которым подвергались дагестанские языки, по мнению Е. А. Бокарева, привели к тому, что в ряде звуков совпали рефлексы различных звуков общедагестанского праязыка. Так, например, в лакском языке «в *цI* совпали геминированный *цIцI*, негеминированный *цI*; в *чI* совпали геминированный *чIчI*, негеминированный *чI* и звонкий аффрикат *дж*; в *з* совпали спирант *з* и аффрикат *дз*; в *с* совпали спирант *с* и аффрикат *ц*; в *гь* совпали заднеязычный и увулярный спиранты *хь* и *х*; в *кь* совпали увулярные *кь*, *къ*, *къг*, *$\overline{\text{къ}}$*; в *кI* совпали заднеязычные *кI* и *кIкI*, увулярный *къ* и латеральные *кь*$_1$ и *кь*; в *хь/ш* и *хьхь/шш* совпали латеральные спиранты *лъ*, *лълъ* и заднеязычный и несмычно-гортанный аффрикат *кк*» (стр. 89) и т. д.[1]

Подводя итоги рассмотрению книги проф. Е. А. Бокарева, следует еще раз подчеркнуть, что она является большим вкладом в советское языкознание и особенно — в кавказоведение. Выводы и предположения автора книги о культуре и быте носителей общедагестанского праязыка, о правилах звуковых соответствий между дагестанскими языками, о фонетических процессах, протекавших (и протекающих) в историческом развитии данных языков с периода их распада на самостоятельные языки и кончая их современным состоянием, и, наконец, об особенностях методики сравнительно-исторического исследования младописьменных и бесписьменных языков Дагестана — все это представляет большую научную ценность, открывая новый этап в изучении дагестанских языков. Работа Е. А. Бокарева заслуживает большого внимания не только ученых — языковедов вообще и кавказоведов в особенности, аспирантов, студентов-филологов, но и широкого круга читателей, интересующихся историей народов Кавказа, главным образом потому, что родственные связи дагестанских языков между собой в таком сводном труде как в советской, так и в зарубежной лингвистической литературе освещаются научно впервые.

Я. Г. Сулейманов

---

[1] Чисто внешним, но весьма существенным недочетом рецензируемой работы является то, что в ней совершенно непоследовательно чередуется фонетическая транскрипция автора с практическим письмом (это связано, очевидно, с отсутствием общепринятой фонетической транскрипции и со стремлением автора сделать книгу более популярной). Читатель поэтому не может быть всегда уверенным в правильности чтения приводимых примеров, тем более что в книге большое количество невыправленных опечаток.

Г. Ахвледиани. **Сборник избранных работ по осетинскому языку, I.** — Тбилиси, 1960. 240 стр. (Тбилисск. гос. ун-т. «Труды кафедры общего языковедения», 5).

Почти все работы, вошедшие в рецензируемый сборник, уже публиковались в разное время (начиная с 1923 г.) в различных изданиях, но главным образом на грузинском языке. Переиздание их в одной книге и к тому же на русском языке делает эти работы доступными для значительно более широкого круга читателей, интересующихся осетинским языком. «Однако,— пишет сам автор,— стереотипное переиздание работ, написанных десятки лет назад, я нашел нецелесообразным, поскольку за это время осетиноведение в целом значительно продвинулось вперед, особенно благодаря известным исследованиям В. И. Абаева; в частности же — по некоторым рассмотренным мной в этих работах вопросам. Поэтому, воспользовавшись переизданием этих работ, я, по мере возможности, постарался „освежить" их...» (стр. 3). Таким образом, к оценке рецензируемых исследований можно подходить с позиций современного состояния осетинского языкознания.

Одна из важнейших особенностей осетиноведческих работ проф. Г. С. Ахвледиани заключается в том, что в них впервые привлекается в широких масштабах язык южных осетин, имеющий ряд отличительных черт, недостаточно изученных до сих пор.

Почти половина исследований, данных в сборнике (8 из 18), посвящена фонетике осетинского языка. Первое из них «К вопросу о протетическом гласном в осетинском языке» (стр. 7—14) написано на материале перевода церковных книг, сделанного в начале XIX в. создателем первого осетинского алфавита на грузинской графике И. Ялгузидзе, чьи осетинские тексты упорно вводятся Г. С. Ахвледиани в научный оборот вот уже третье десятилетие[1]. Благодаря тонкому и скрупулезному изучению текстов И. Ялгузидзе автору удалось вскрыть за весьма несовершенной графикой и орфографией фонетические явления, говорящие о наличии в этих текстах протетического гласного тембра *и*. В иронском диалекте осетинского языка (который охватывает и югоосетинские говоры) ему соответствует гласный *ы*, а в дигорском — *и* (наряду с æ). Как заключает сам автор, «выясняется, таким образом, важное для истории осетинского языка явление, а именно: в начале прошлого столетия не было различия, в отношении протетического *и*, между дигорским и иронским, поскольку в переводах И. Ялгузидзе представлен иронский диалект» (стр. 14).

Вторая работа сборника «Три *т* в осетинском языке» (стр. 15—25), появившаяся в первом своем варианте еще в 1923 г., обратила внимание осетиноведов на наличие в осетинском так называемого «четвертого ряда смычных», из которых Г. С. Ахвледиани выявил один — непридыхательный и несмычногортанный *т*. Дальнейшее изучение поднятого вопроса привело В. И. Абаева к выводу, что наряду с указанным *т* в осетинском наличествуют такие же «непридыхательные» и «несмычногортанные» *к*, *п*, *ц*, *ч*, названные им смычными «четвертого ряда»[2] (1 — ряд звонких, 2 — ряд глухих придыхательных, 3 — ряд смычногортанных, 4 — ряд глухих непридыхательных и несмычногортанных). Вновь выявленный тип осетинских смычных, выступающих после глухих спирантов (щелевых) *с*, *х*, *ф* и в геминации, описан также В. С. Соколовой, которая на основе экспериментальных данных уточнила их характеристику[3].

Следующие две фонетические работы «К вопросу о геминированных и „назализованных" аффрикатах в двальском (джавском) диалекте осетинского языка» (стр. 107—116) и «К вопросу о геминации и геминатах в осетинском» (стр. 117—121) охватывают конкретные случаи геминации и ее характер в осетинском. Наблюдения автора над конкретным языковым материалом и его обобщения, «освеженные» позднейшими работами В. И. Абаева и В. С. Соколовой, привели к ряду выводов, представляющих подчас большой исторический интерес.

В этом отношении следует остановиться на положении Г. С. Ахвледиани о большей архаичности стародвальских («джавских», по В. И. Абаеву) шипящих аффрикат *ч*, *дж*, *чъ* по сравнению с соответствующими дигорско-иронскими свистящими (зубными) *ц*, *дз*, *цъ*. Основанием для подобного суждения послужили главным образом три предполагаемых осетинских заимствования в венгерском: *tölgy* — ирон. *тулдз*, диг. *толдзæ* «дуб»; *csatak* «мокрый» — ирон. *цад*, диг. *цадæ* «озеро»; *kutya* — ирон. *куыдз*, диг. *куй* «собака». «Главное то,— пишет Г. С. Ахвледиани,— что шипящие аффрикаты действовали в осетинском с давних пор, что доказывается наличием в венгерском слова *tölgy*, заимствованного из осетинского в те времена, когда осетины-аланы могли соприкасаться с венгерцами» (стр. 109).

Однако такое обоснование представляется недостаточным. Во-первых, иранский (осетинский) характер этих слов оспаривает ряд ученых. Так, в «Этимологическом словаре» Bárezi Géza указывается, что слово *csatakos* «мокрый, загрязненный», зафиксированное с 1784 г., звукоподра-

[1] См. также следующие работы в рассматриваемой книге: «К истории осетинского языка: II — Иван Ялгузидзе и его переводы с грузинского на осетинский» (стр. 80—90), «Осетинская рукопись А 1802 года» (стр. 91—106) и др.

[2] В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949, стр. 512 и сл.

[3] В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, II, М.— Л., 1953, стр. 35 и сл.

жательного происхождения[4]. Слово *tölgy* «дуб» (зафиксировано с 1181 г.) возводится к старым формам того же слова *tül*, *töl* (засвидетельствованным с 1231 г.), хотя и допускается связь с аланским (осетинским) *тулдз/толдзæ*. В этом же словаре говорится, что слово *kutya* (известно с 1511 г.) «собака» невыясненного происхождения. Однако в древнеиранском оно звучало *kuti* и уже поэтому не должно приводиться в связи с вопросом о характере осетинских аффрикат. Во-вторых, палатальные аффрикаты в приводимых словах могли появиться, как указывает, например, проф. К. Е. Майтинская, и на почве самого венгерского языка в том случае, если они заимствованы из аланского (осетинского) с зубными аффрикатами.

Принять точку зрения Г. С. Ахвледиани мешают также факты, говорящие о наличии в осетинском свистящих аффрикат с древнейших времен. Так, в «Списке слов на языке ясов, венгерских алан», опубликованном Ю. Неметом, находим пять слов со свистящей аффрикатой *c*(*ц*): *car*(*i*)*t* «масло», *cugan* «чугунная (кастрюля)», *doc*(*e*)*gä* «дойная (корова)», *heca*(*v*) «хозяин», *karbac* «ячмень»[5]. Памятник датируется первой половиной XV в. (1422).

Звуковые изменения исследуются в ряде статей: «К вопросу о звонком анлауте второго члена композита в осетинском» (стр. 122—131), «К вопросу о действии закона Вернера в осетинском языке» (стр. 132—135), «К истории осетинского языка: III — Диссимилятивное озвончение смычных в осетинском языке» (стр. 136—154). В этих работах (в особенности же в последней) читатель найдет много интересных выводов, выдвинутых автором на основе тонкого анализа фактов фонетики языка.

Важное место в книге занимает положение Г. С. Ахвледиани о наличии в осетинском не двух, а трех диалектов, которое он развивает в ряде работ: «К истории осетинского языка. I — Распределение диалектов осетинского языка по палатализованным велярным смычным и аффрикатам» (стр. 48—59), «„Южноосетинский“ или „двальский“»? (стр. 60—64), «Историческая справка о Двалети и двалах» (стр. 65—79) и др. Автор книги вслед за акад. А. Шегреном считает, что в осетинском наравне с дигорским и иронским существует третий, двальский диалект. «По вопросу о распределении диалектов осетинского языка последнее слово сказано академиком Всев. Миллером»,— пишет (стр. 48) Г. С. Ахвледиани и спорит с В. Ф. Миллером, насчитывавшим в осетинском только два диалекта. К сожалению, Г. С. Ахвледиани не останавливается на мнении В. И. Абаева, которому на самом деле принадлежит «последнее слово» по данному вопросу. Говоря о говорах Южной Осетии и полемизируя с первым вариантом данной работы Ахвледиани (1925 г.), Абаев пишет: «Все эти наречия представляют разновидности одного диалекта осетинского языка — именно иронского. Стало быть и при учете юго-осетинских наречий, основных осетинских диалектов надо считать не три, а два: иронский и дигорский»[6].

Представляется, что и после работ Г. С. Ахвледиани (в которых, кстати сказать, очень много тонких наблюдений) приведенное выше положение В. И. Абаева о количестве диалектов в осетинском остается в силе. Что касается исследованных Ахвледиани особенностей речи двальцев, то они хотя и имеют несомненно большой интерес для истории осетинского языка, но укладываются все же в рамки говоров внутри иронского диалекта.

Ряд отдельных работ по вопросам осетинско-грузинских языковых взаимоотношений почему-то объединен под одним общим названием «По поводу обнаружения Заромагской псалтыри» (стр. 160—210). В них автор на основе исследований В. И. Абаева и своих наблюдений освещает проблему взаимопроникновения осетинского и грузинского языков в различных областях. Значение этого цикла работ Г. С. Ахвледиани заключается во всестороннем охвате данной проблемы, а также в постановке целого ряда не выясненных еще вопросов. По некоторым из них автор в предварительном порядке высказывает свое мнение, с которым, однако, не всегда можно согласиться полностью. Прежде всего нельзя не сожалеть о том, что автор решил не касаться «направления проникновения того или иного языкового факта из одного языка в другой, т. е. кто у кого заимствовал его»; не касаться также «происхождения языковых фактов, ставших общими для грузин и осетин» (стр. 173). По нашему мнению, выяснение направления процессов взаимопроникновения языков всегда имеет первостепенную научную ценность.

К отдельным спорным выводам автора относится также заявление о том, что увулярный смычный (по Ахвледиани, «фарингальный абруптив») *хъ* является «вкладом грузинского в осетинский» (см. стр. 175—176). До сих пор этот согласный считали тюркским заимствованием[7], а автор не приводит никаких доводов в защиту своего нового положения. Неприемлемым является тезис Г. С. Ахвледиани о том, что «число гласных в осетинском подверглось ограничению (или они не развились в нем) под влиянием окружающих его иберийско-кавказских языков...» (стр. 176). Как известно, деление осетинских гласных на сильные и слабые вполне удовлетворительно объясняется из истории иранских языков. Оно является наследием существовавшего в древнеиранском языке-основе (и сохранившегося в некоторых языках

[4] См. Bárezi, Géza, Magyar szófejtö szótar, Budapest, 1941.

[5] См. Ю. Немет, Список слов на языке ясов, венгерских алан, перевод с немецкого и примеч. В. И. Абаева, Орджоникидзе. 1960, стр. 21.

[6] См. В. И. Абаев, указ. соч., стр. 495.

[7] См. В. И. Абаев, указ. соч., стр. 25.

до сих пор, например в белуджском) деления гласных на долгие и краткие[8].

Особенную ценность, на наш взгляд, представляют некоторые лексические и фразеологические параллели грузинского и осетинского. Но, по-видимому, не все этимологии и сопоставления автора могут быть окончательными. Например, Г. С. Ахвледиани, уточняя объяснение, данное В. И. Абаевым для слов: ирон. *фæныкгуыз*, диг. *фунуктъис* «домосед, бездельник»[9], сближает их с груз. *muguzali* «головешка» и *ganţisnva* «набить что чем; покрыть...» (стр. 209). На наш взгляд, поиски можно было бы продолжить по линии объяснения из кабардинского языка: аналогичные по значению слова звучат по-кабардински: *унэдэс* (буквально: «дома сидящий»), *пщIантIэдэс* (буквально: «во дворе сидящий»)[10]. Как видно, с этими конструкциями модель осетинских слов полностью совпадает. А в слове *фунуктъис* (буквально: «в золе сидящий») последний элемент тоже может восходить к кабард. *дэс* «сидеть».

Из данного цикла объединенных под одним общим названием самостоятельных работ надо особо выделить исследование «Об осетинских и грузинских превербах» (стр. 179—184), в котором автор сопоставляет в этих языках такие интереснейшие функции превербов, как «ориентация» и перфективность. «Вот эти две функции превербов с указанными ограничениями и составляют общее достояние грузинского и осетинского — и только им принадлежащее. В отдельности этими двумя функциями могут располагать превербы и в других языках..., но когда мы видим, что превербы имеют обе специфические функции одинаково в обоих соседних неродственных языках, какими являются осетинский и грузинский, resp. картвельские, обнаруживающих и много других схождений, то это можно считать уникальным явлением, позволяющим дать ему соответствующую квалификацию общественно-исторического характера» (стр. 182).

Не останавливаясь на других статьях[11], следует еще раз подчеркнуть, что книга Г. С. Ахвледиани несомненно представит значительный интерес для большого круга иранистов и кавказоведов. Особенно же важное место сборник Г. С. Ахвледиани должен будет занять в осетиноведческой литературе.

М. И. Исаев

С. Е. Малов. **Уйгурские наречия Синьцзяна.** Тексты, переводы, словарь. — М., Изд-во восточной литературы, 1961. 183 стр.

Уйгуры и их язык — одна из любимых тем С. Е. Малова. Ею он занимался с большим энтузиазмом всю жизнь. Две поездки по Китаю (1909—1911, 1913—1915 гг.) принесли С. Е. Малову обильный материал по уйгурским диалектам, который после долгой и тщательной обработки постепенно публиковался. К 1928 г. относится его статья «Характеристика жителей Восточного Туркестана»[1] с текстами на малоизвестном кучарском говоре[2] и лобнорском диалекте — тогда совершенной новинке для тюркологов. В 1934 г. вышли «Материалы по уйгурским наречиям Син-дзяна»[3], представляющие собой сводную работу — публикацию текстов на турфанском, хамийском, аксуйском говорах и на хотанском и лобнорском диалектах с грамматическими примечаниями для последнего как наименее известного из диалектов уйгурского языка. В 1954—1956 гг. С. Е. Малов опубликовал книги по хамийскому говору и лобнорскому диалекту (с текстами и словарем)[4]. На все важнейшее, что появлялось в печати по уйгурскому языку, С. Е. Малов живо откликался своими рецензиями, которые написаны как законченные научные статьи[5].

В августе 1961 г. вышла из печати вторая сводная работа по уйгурским диалектам С. Е. Малова — «Уйгурские наречия Синьцзяна». Этот большой труд, сданный в печать еще самим автором, включает в себя образцы прозы и поэзии на хотанском диалекте и кашгарском, аксуйском,

---

[8] См.: В. С. Соколова, Исследования по фонетике иранских языков. Автореф. докт. диссерт., Л., 1954; ее же, Очерки по фонетике иранских языков.

[9] В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, I, 1958, стр. 449.

[10] См. «Русско-кабардинско-черкесский словарь», сост. Б. М. Кардановым и А. Т. Бичоевым, М., 1955.

[11] «Дательный предикативный в осетинском языке» (стр. 26—42), «Заметка о „девичьем" языке в осетинском» (стр. 43—47), «К вопросу о самоназвании осетин» (стр. 211—218), «Место Даниила Чонкадзе в истории изучения осетинского языка» (стр. 146—154), «Загадочный элемент *дæн*, *дæ* в осетинском» (стр. 155—159).

[1] См. «Докл. АН СССР», [Серия В], 7, 1928.

[2] О кучарском говоре см. еще: С. Е. Малов [рец. на:] A. v. Le Coq, Osttürkische Gedichte und Erzählungen, «Зап. коллегии востоковедов», II, 2, Л., 1927, стр. 400.

[3] См. «Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности (1882—1932). Сб. статей», Л., 1934. См. также: G. Jarring, Neuere osttürkische Sprachwissenschaftliche Literatur, «Le monde oriental», XXVIII, Uppsala, 1934, стр. 190—192.

[4] См.: С. Е. Малов, Уйгурский язык. Хамийское наречие, М.— Л., 1954; его же, Лобнорский язык, Фрунзе, 1956.

[5] См. об этом: Е. И. Убрятова, Сергей Ефимович Малов (к 75-летию со дня рождения), ИАН СССР Отд-ние лит-ры и языка, 1955, 1; А. Кайдаров, С. Е. Малов — глава советского уйгуроведения, ИАН Казах. ССР, Серия филологии и искусствоведения, 1(17), 1961.

кучарском и турфанском говорах центрального диалекта. В конце книги — большой словарь. Среди образцов прозы — сказки: о царевне Несмеяне и ее избавлении от мужа-дива, о царевне Гюльчаре и царевиче Ибрагиме; много рассказов: из области сельского хозяйства, из далекой старины, бытового характера и т. п. Не забыты и такие интересные мелочи, как выкрики кашгарских юродивых, детские игровые присказки, шуточные разговоры. Очень много загадок, пословиц и поговорок. В разделе поэзии — стихи и песни (лирические и обрядовые). Многие песни очень поэтичны и до сих пор исполняются уйгурами. Все тексты обладают большой ценностью для фольклориста. Большинство их (кроме кашгарских и кучарских) записано на месте, что особенно важно для такого мало исследованного диалекта, как хотанский.

Записи очень точно отражают живую уйгурскую речь. Так, для хотанского диалекта отмечено: широкие *а*, *ā* в конечном ударном слоге: *оjан* «игра» (стр. 25), *уβал* «сын» (стр. 41), *достац* «твой друг» (стр. 29); *ўтāк* «сапог» (стр. 26), *кōйдāк* «мы увидели» (стр. 25, 26); чередование *р/j*, в результате которого возникают такие «странные» для слуха формы, как *ыβый* «лен» (стр. 11) и *чjарым* «мое лицо» (вместо *чiрajым*) (стр. 172); глухое окончание *-то* в 3-м лице будущего времени: *сувурыто* «поливают» (стр. 9); реликтовое *-т* (или *-ті*) в 1-м лице будущего времени: *āгāтiгiтмāн* «выхожу замуж» (стр. 21, 114), *алатiміс* «мы берем» (стр. 93), *iчiт(i)міс* «мы пьем» (стр. 114); очень употребительная причастная форма *-βулук/=гўлўк* в значении «имеющий обыкновение» или «намеревающийся что-либо делать» (стр. 103, 104). Хотанский диалект в силу давней природной изолированности сохранил со своим предком — древнеуйгурским языком — связей больше, чем любой другой диалект или говор современного уйгурского языка. Углубленное изучение его принесет много пользы для истории уйгурского языка.

О языке долан можно судить по песенке, которая приведена в разделе «Аксуйское наречие» (стр. 59—60). Иными словами, аксуйские доланы говорят на аксуйском говоре. Это совершенно верно. Верно и то, что доланы обычно пользуются языком той местности, где они живут, и не имеют своего самостоятельного языка, как это иногда утверждают в печати[6]. Кучарский говор не отличается чем-либо существенным от соседнего аксуйского говора.

Материал книги С. Е. Малова, его транскрипционные тексты еще раз убеждают в том, что язык уйгуров Хотана и соседних с ним оазисов — диалект, в то время как «наречия» Кашгара, Аксу, Кучара и Турфана — говоры, образующие особый, ныне опорный, диалект современного литературного уйгурского языка Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР[7].

Словарь, которым заканчивается книга, во многом превышает объем текстов. В него вошли лексические записи, которые С. Е. Малов всегда охотно делал. Словарь очень богат. Читатель в нем найдет названия мест и селений, имена людей, номенклатуру старых чинов и должностей, описание редких обрядов и поверий, теперь исчезающих (см. *поцац*, *супут*) и многое другое. Немало найдется слов, отражающих разные тонкости быта: *етікап* (араб. اعتكاف) «обряд уединения в мечети и предания себя молитве и посту» (стр. 108); *пāвāз* или *пāгāз* (в турфанском говоре) «часть верхнего покроя шубы на краю внутренней стороны» (стр. 144); *пāй* (в аксуйском говоре) «желтая твердая масса (вроде ремня) в мясе барана, в хребте (несъедобная)» (стр. 144); *Сўмўш дарвазасы*, *Тумуш дарваза* «названия городских ворот в старом Аксу» (стр. 153, 162) и т. д.

Примеры редких слов: *гāц* (в турфанском говоре) «имущество» (стр. 103). Встречается в «Золотом блеске» в виде *кāнч*[8]. В. В. Радлов указывает в своем словаре *кāнц* со ссылкой на «Кутадгу билиг» (стр. 58_8 и 83_7)[9], перс. گنج; *пуруч* (в аксуйском говоре) «деревянный выдолбленный сосуд» (употребляется как подойник) (стр. 146). Известно из «Золотого блеска»: پورنچ[10].

В. В. Радлов читал: *пуранч* или *пурнач* и переводил «ein grosses Gefäss»[11]. Теперь ясно, что надо читать *пуранч*, так как только *пуранч*, > *пурач*, ср. *теч* (вместо *тінч*) «мирно», «спокойный» (стр. 158). Главное ударение падало на первый слог и закрепило в нем губную гласную; конечный безударный *а* редуцировался и перешел в *i*, который лабиализовался под влиянием начального *у*: *пўрач* > *пуріч* > *пуруч*. Весь этот процесс фонетических изменений был бы невозможен, если бы слово читалось *пурнач*. По месту ударения следует думать, что *пуранч* (соврем. *пуруч*) — слово заимствованное; *ка* (в кашгарском говоре) «слуга при начальнике», «небольшой начальник» (стр. 119) и *ка* (в турфанском говоре) «служащий князя» (стр. 128). В старых текстах встречается парное слово *ка кадаш* «товарищ, родственник»[12]. Второе слово (*кадаш*) — производное от первого (*ка*). Неясно, что такое *ка*. А. фон

[6] См. Э. Н. Наджип, Современный уйгурский язык, М., 1960, стр. 9 («Примечание»).

[7] См. С. Е. Малов, Изучение живых турецких наречий Западного Китая, «Вост. записки», I, Л., 1927.

[8] См. «Suvarṇaprabhāsa (Сутра Золотого блеска)», Текст уйгурской редакции, изд. В. В. Радлов и С. Е. Малов, VII—VIII, Пг., 1917, стр. 626_{17}, 641_8.

[9] В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, II, СПб., 1899, кол. 1082.

[10] В. В. Радлов и С. Е. Малов, указ. соч., стр. 477_{10}, 487_9.

[11] W. Radloff, Uigurische-deutsches Wörterbuch, 1918 [рукопись].

[12] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 409.

Габен возводит его к китайскому 家 *kia* «семья»[13]. Пользуясь приведенными выше словами, слово *ka* можно толковать, оставаясь на тюркской почве,— «служащий, помощник, товарищ».

В словаре даются фонетические варианты слов и географические пометы — места, где они записывались, что удобно для сравнений и облегчает дело при составлении изоглосс. Новая книга С. Е. Малова — ценный подарок тюркологам, в первую очередь, уйгуроведам. Вместе с другими трудами Малова по уйгурскому языку эта книга явится основой для синтезирующих работ по уйгурской диалектологии. Веское слово в этой области, несомненно, скажут ученые Китайской Народной Республики, но книга «Уйгурские наречия Синьцзяна» будет полезной и для них. Уйгурская диалектология не может ограничиться только языком уйгуров КНР, ей потребуются и материалы по языку уйгуров Советского Союза. Было бы очень хорошо готовить материалы по языку уйгуров Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и публиковать их так, как это делал С. Е. Малов. Это будет продолжением полезной для науки линии его работ и вместе с тем лучшей данью его памяти.

Э. Р. Тенишев

[13] A. v. Gabain, Türkische Turfantexte X, Berlin, 1959, стр. 47.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В журнале «Вопросы языкознания» (№ 1 за 1962 г.) опубликована статья Ю. В. Кнорозова «Машинная дешифровка письма майя», содержащая частное мнение автора по поводу предварительных сообщений, носивших информационный характер, о ходе работ по исследованию рукописей древних майя при помощи электронной математической машины. Эта статья посвящена критике работ, выполненных в Институте математики СО АН СССР. Ю. В. Кнорозов незнаком с той работой, о которой он пишет, и, по-видимому, судит о ней лишь по упомянутым кратким предварительным информационным сообщениям. Стоит заметить, что возможность полного ознакомления с работой ему была предоставлена, но он не пожелал ею воспользоваться и не проявил к работе никакого интереса.

В апреле текущего года выходят в свет первые три тома исследования и готовятся к печати еще два тома. Выходящие тома содержат прочтенные Мадридскую и Дрезденскую рукописи, систематизированный каталог знаков и майя-русский словарь. Алгоритмы, программы, методы, а также описание системы письма входят в четвертый и пятый тома, подготовка к печати которых заканчивается. Мы были бы благодарны редакции, если бы можно было обеспечить научное обсуждение опубликованных работ на страницах Вашего журнала компетентными учеными, которые не сочтут за труд предварительно ознакомиться с материалами, о которых они пишут.

Директор Института математики
с Вычислительным центром СО АН СССР
академик *С. Л. Соболев*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1962

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КОПЕНГАГЕНА

Копенгаген известен как один из центров современной лингвистики и, как кажется, вид города и его жизнь соответствуют его славе. На центральной улице города — бульваре Г. Х. Андерсена — стоит памятник четырем лингвистам: Р. Раску, Н. Вестергорду, К. Вернеру и В. Томсену. Лингвистические проблемы занимают умы копенгагенцев весьма часто и много. Здесь каждый по выговору собеседника способен определить, из какой части города тот происходит; помимо диалектальных различий существуют жаргонные и возрастные (причем они могут касаться не только фонетики и лексики, но и грамматики). Отсюда естественное внимание к лингвистическим вопросам. Вообще Дания, несмотря на малую площадь и немногочисленное население, замечательна обилием диалектов с очень серьезными различиями (так, stød исчезает в одних диалектах и переходит в музыкальное ударение в других; количество родов меняется от ноля до трех; изменяется функция артиклей и т. д.)[1]. Может быть, это объясняет в какой-то степени то обстоятельство, что в Дании было много выдающихся лингвистов: Р. Раск, К. Вернер, В. Томсен, Х. Педерсен, О. Еспер-сен, В. Брёндаль, Х. Ульдалль; из ныне живущих — Л. Ельмслев и Э. Фишер-Йоргенсен.

При Копенгагенском университете существует ряд учреждений, где в той или иной мере занимаются лингвистическими вопросами. В их числе Институт датской диалектологии, Филологическая лаборатория, Центральноазиатский и Дальневосточный институты, Фаррерская лаборатория, Славянский институт, Институт ассириологии и Институт египтологии, Институт ономастики, Институт индийской филологии, Институт греческой и латинской филологии. Однако, как правило, эти институты занимаются не чисто лингвистическими вопросами; изучение языка имеет тут филологическое, историческое или этнографическое значение.

Практически лингвистическая жизнь сосредоточена вокруг Института лингвистики и фонетики при философском факультете Копенгагенского университета. Институтом управляет Луи Ельмслев (он же основатель института), его заместитель — Эли Фишер-Йоргенсен. Преподавательская работа в институте совмещается с научно-исследовательской. При институте имеется лингвистическая библиотека, где представлены также и книги советских авторов (однако отрывочно), а также фонетическая лаборатория, оборудованная магнитофонами и электропроигрывателями. В настоящее время в институте оборудуется лаборатория экспериментальной фонетики с современной аппаратурой.

Лингвистов Копенгагена объединяет Копенгагенский лингвистический кружок (председатель — Л. Ельмслев). Кружок собирается нерегулярно (последние годы — довольно редко). На его заседаниях заслушивается какой-либо доклад, после которого обычно развертывается дискуссия; обсуждение и дискуссия нередко протекают за чашкой кофе. Часты иностранные гости; в числе прочих недавно был проф. Э. П. Хэмп из Чикаго (автор терминологического словаря дескриптивных терминов), ожидался П. Наерт с докладом об айнском языке. В присутствии иностранных гостей доклады и дискуссия могут происходить на иностранных языках. Как известно, кружок выпускает непериодическое издание «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague».

Копенгагенский лингвистический кружок представляет собой объединение лингвистов, в какой-то мере связанных известными принципами, общей проблематикой и употреблением некоторой терминологии (причем терминов в ходу значительно меньше, чем дает в «Пролегоменах» Ельмслев). Так, более или менее распространенным является разграничение «плана выражения» и «плана содержания» при языковом анализе; использование номенклатуры глоссематических функций; описание членов языкового противопоставления в терминах «вариант», «инвариант»,

---

[1] Речь датчанина может определяться местом его происхождения, его возрастом, его профессией, его собеседниками (в городе крестьяне реже разговаривают на диалекте) и даже его временным занятием (например, когда крестьяне Северной Ютландии читают библию, они произносят каждую букву, чего вообще отнюдь не делают). Датчанин легко объясняется с норвежцем и может объясниться со шведом. Значительная часть датчан двуязычна.

«синкретизм», использование принципа коммутации и т. д.[2]

Лингвистов Копенгагенского кружка в какой-то степени объединяют и некоторые методологические положения и интересы, как-то: имманентность и непротиворечивость лингвистической теории — теория (модель) не может быть неправильной, она может быть лишь неудачной (плохо применимой); произвольность лингвистической теории — возможность построения многих систем, соответствующих данному материалу; отсюда проблема выбора «лучшей системы» (при этом ценность системы зависит от целей описания).

Как кажется, работы большинства представителей копенгагенской школы часто характеризует противоречие между тенденциями, которые можно было бы условно обозначить как «типологическая» и «дескриптивистская». С одной стороны, они стремятся выдвинуть некоторые абсолютные методы, сделать утверждения, верные для любого языка; с другой стороны, описание (выбранная система) может быть хорошо не абсолютно, но относительно: описание зависит от успеха теории, выбор методов может зависеть от целей описания, от исследуемого материала — отсюда к одному языку может оказаться удобным приложить иные методы описания, чем к другому[3].

Изложенные принципы обусловливают преимущественные интересы представителей Копенгагенского кружка: решение проблемы произвольности лингвистической теории, постулирование критериев аксиоматики. Проблемой зависимости описания от его целей (которыми определяется выбор соответствующих критериев) занимается Э. Фишер-Йоргенсен; проблема критериев оценки системы интересует Х. Спанг-Ханссена. В то же время (вне этого проблемного круга) позиции и исходные положения представителей Копенгагенского кружка часто очень и очень неоднородны.

По-видимому, указанные положения и определяют в общем направление копенгагенской школы, поскольку в целом Копенгагенский лингвистический кружок объединяет весьма разных лингвистов. Все они в какой-то мере испытывают влияние Л. Ельмслева, причем это влияние может быть как прямым, так и обратным, поскольку многие ему не подражают, но, напротив, полемизируют с ним. Однако в том или ином отношении влияние Ельмслева, несомненно, очень сильно, причем в первую очередь оно сказывается на выборе и постановке проблем. Прямых последователей у Ельмслева не так много, как это принято считать. Можно назвать К. Тогебю [автора часто упоминаемой книги «Structure immanente de la langue française», Copenhague, 1951 (TCLC, VI), в прошлом ученика и последователя В. Брёндаля], Х. Ст. Сёренсена [автора книги «Word-classes in modern English» (Copenhagen, 1958), в настоящее время он читает в университете курс английского языка с обращением к ельмслевским «Пролегоменам»]; М. Бьеррум, исследовательницу фаррерского языка. По словам Э. Фишер-Йоргенсен, «в традиции датских языковедов — не иметь школы». Это замечание верно для всех крупных датских лингвистов. Пока трудно сказать, в какой степени оно приложимо к Л. Ельмслеву.

Обращает на себя внимание «гуманитарность» интересов копенгагенских языковедов: относительно многие из них занимаются филологией в широком смысле. Сюда относятся (в разной степени) К. Тогебю, Х. Сёренсен, П. Дидрихсен и др.

В связи с разнородностью лингвистического кружка о его представителях приходится говорить отдельно.

Проф. Л. Ельмслев совмещает председательство в Копенгагенском лингвистическом кружке с руководством Институтом лингвистики и фонетики и с многими другими обязанностями (он, например, является и председателем Союза датских безбожников). Его интересы касаются всех языковых уровней (семантики, фонологии, грамматики, которую он не разделяет на синтаксис и морфологию) и охватывают области как синхронической, так и диахронической лингвистики, особенно, однако, сосредоточиваясь на первой. В 1961 г. он читал курс лекций по праиндоевропейскому языку, преимущественно останавливаясь на ларингальной теории; по морфемным категориям [здесь он повторял и подытоживал написанное им ранее, в основном обращаясь к «La catégorie des cas» (I) и «Essai d'une théorie des morphèmes»]. Последние годы Л. Ельмслев читает также курс венгерского языка.

Как было сказано, Л. Ельмслева отличает широта взглядов и интересов. Однако, как кажется, можно выделить особо интересующие его проблемы. В своем анализе Ельмслев имплицитно предполагает уже сделанными некоторые процедуры: например, считается уже произведенной сегментация, а также некая индукция (после чего уже оправданной представляется утверждаемая им дедукция). Таким образом, Ельмслев обычно оперирует заранее как-то анализированными текстами; его интересует вторичный («контрольный») ана-

---

[2] При этом, как не раз отмечалось, глоссематические термины часто соответствуют тем, которые используются лингвистами других направлений (особенно лингвистами пражской школы) — ср. В. А. Звегинцев, Глоссематика и лингвистика, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 220; Э. Хауген, Направления в современном языкознании, там же, стр. 249—250. Тем самым глоссематическая терминология в общем вполне переводима на идиолекты других лингвистов.

[3] Об этом конфликте между двумя тенденциями см.: H. J. Uldall, Outline of glossematics, Copenhagen, 1957 (TCLC, X_1), стр. 23; E. Fischer-Jørgensen, On the definition of phoneme categories, «Acta linguistica», VII, 1—2, Copenhague, 1952, стр. 11.

лиз и при этом не интересует, как было получено первичное описание. Тем самым, в то время как большинство лингвистов анализируют непосредственно язык (или строят модель языка), материал Ельмслева — по преимуществу уже имеющееся (иногда традиционное) описание языка. (Его анализ по сути — метаметасемиотика.)

Вообще используемый Ельмслевом и другими лингвистами Копенгагена принцип коммутации предполагает знание плана содержания (значения). Это отличает их, например, от американских дескриптивистов, цель которых — определить план содержания (дистрибуцию) на основе анализа формы (плана выражения). У Ельмслева и его сторонников, по-видимому, другая цель: привести лингвистическое описание к одозначному (глоссематическому) виду. Иными словами: обычно лингвисты моделируют план содержания, исходя из непосредственной работы над языком, из некоторых аксиом или из реакции информанта (например, методом грамматической трансформации); Ельмслев же исходит из уже имеющегося описания языка[4]. Это придает своеобразие его анализу, которое выражается в парадоксальном сочетании нового и старого: революционность методов может сочетаться с тривиальностью исходного материала. Как будет видно далее, своеобразное сочетание нового и старого характерно и для постановки обучения в Институте лингвистики и фонетики.

В своих лекциях (как и в своих работах) Ельмслев употребляет большой терминологический аппарат. Это обилие терминов можно объяснить стремлением избежать или свести к минимуму аксиоматитику. Как постулируемые аксиомы, так и вводимая терминология показывают, что́ именно индуктивно считается существенным в языке[5]. Однако термины это делают имплицитно. В то же время термины удобнее для дальнейших определений.

Обилие терминов, как и имплицитность, затрудняет понимание его мыслей. Эта трудность объясняется еще и тем обстоятельством, что не существует работы, синтезирующей его теорию. «Пролегомены» — лишь введение в теорию (но не сама теория, как это иногда понимается). Теоретические разногласия с покойным Х. Ульдаллем препятствуют Ельмслеву продолжать книгу Ульдалля — первую часть задуманного ими обоими труда «Основы глоссематики»[6]. Собственно говоря, теория Ельмслева в весьма разрозненном виде и в разных пропорциях находится в его статьях[7].

Трудность понимания, однако, не может помешать признанию Л. Ельмслева очень крупным лингвистом-теоретиком, плодотворно работающим в области лингвистической методологии.

Э. Фишер-Йоргенсен — другой выдающийся представитель копенгагенских лингвистов — по своим взглядам стоит, пожалуй, ближе к пражской школе. Если интересы Л. Ельмслева касаются всех языковых уровней, интересы Э. Фишер-Йоргенсен сосредоточены главным образом на фонологии и фонетике (в частности, на экспериментальной фонетике). Она является одним из крупнейших специалистов в этой области. В Институте лингвистики и фонетики Э. Фишер-Йоргенсен читает курс лекций по фонологии и методологии фонологического анализа; она дает нечто вроде типологии фонологических методов, показывает, как одни и те же проблемы можно решать различными путями, раскрывает зависимость направления работы и ее результатов от исходных положений и от целей анализа; показывает возможность выделения различных критериев в анализе звуков — артикуляционного, акустического и т. д.

При рассмотрении проблемы простоты как критерия оценки системы Э. Фишер-Йоргенсен говорит о возможности разных тенденций: стремление к наименьшему числу фонем или же стремление к наиболее простым правилам (простота правил может достигаться, например, через перечисление исключений); от выбора зависит направление анализа. В своих работах и

---

[4] Таким образом, Ельмслев исходит из какой-то (индуктивной) системы и приводит к другой системе. «Система,— пишет Ельмслев,— одновременно и исходная точка, и последняя цель исследований» («La catégorie des cas», I, «Acta Jutlandica», VII, 1, Aarhus, 1935, стр. 86—87; ср. H. J. Uldall, Outline..., стр. 19). Однако в принципе можно предположить, что результаты приведения (конечная система) определяются этими исходными данными. По-видимому, Ельмслева интересуют не столько результаты, сколько само систематизирование. (Вообще описание и результаты для него как будто не самоцель — он пользуется ими для иллюстрации своей теории.) Очень соблазнительно было бы построить теорию, которая любое описание приводила бы к адекватному виду. Но сделать это, вероятно, возможно лишь на основе разработки анализа исходного материала, т. е. установив, каким образом может анализироваться исходный материал.

[5] О сводимости друг к другу системы аксиом и системы исходных понятий (терминов) в дедуктивном построении см. П. К. Рашевский, Геометрия и ее аксиоматика, «Математическое просвещение», 5, 1960, стр. 82 (систему аксиом можно считать косвенным определением исходных понятий).

[6] L. Hjelmslev, H. Uldall, Outline of glossematics, pt. I, см. H. J. Uldall, Outline... Война нарушила творческий контакт Ульдалля и Ельмслева: Ульдалль писал свое «Outline...» в Греции, в то время как Ельмслев оставался в Дании.

[7] См. L. Hjelmslev, Essais linguistiques, Copenhague, 1959 (TCLC, XII) (сборник, выпущенный в честь его шестидесятилетия).

лекциях Э. Фишер-Йоргенсен подчеркивает неизбежность предварительного анализа при исследовании методом минимальных пар (т. е. при применении принципа коммутации): она вскрывает имплицитное отождествление при использовании этого метода (если мы утверждаем, например, различие *к* и *р* на основании сравнения *кот* и *рот*, тем самым имеется в виду, что мы уже произвели отождествление o_1 и m_1 в *кот* с o_2 и m_2 в *рот*). В связи с этим Э. Фишер-Йоргенсен подчеркивает значение фонетики (особенно экспериментальной) для фонологического анализа. Обсуждая различные вопросы, связанные с методом минимальных пар, она особенно занимается критериями необходимости и достаточности при выделении пар. Э. Фишер-Йоргенсен специально занимается и русской фонетикой (автор этих строк имел удовольствие обучать ее русскому произношению).

Х. Спанг-Ханссен представляет в Копенгагене математическую лингвистику. По образованию и по своей работе он инженер, по вечерам же читает лекции по лингвистической статистике в Институте лингвистики и фонетики. Спанг-Ханссен является автором ряда интересных исследований. Последняя его работа — докторская диссертация «Вероятность и структурная классификация в языковом описании»[8]. Его интересует методология лингвистического анализа: проблема критериев и проблема выбора лучшей системы; проблема постановки гипотез при лингвистическом анализе; проблема предварительного анализа текста и выделения «несистемных» элементов.

*

В заключение представляется целесообразным обрисовать постановку обучения языкознанию в Институте лингвистики и фонетики. Преподавание языкознания в институте сочетает старое и новое: студенты обязаны изучать как структурные (глоссематические и другие), так и традиционные методы лингвистического анализа; как синхронное, так и сравнительно-историческое языкознание. За все время обучения (которое не лимитировано) студенты сдают лишь два экзамена — один общеобразовательный (характерный для данного факультета) и один (заключительный) по специальности. Заключительный (магистерский) экзамен по специальности «сравнительное языкознание» в Копенгагенском университете (к которому относится Институт лингвистики и фонетики) по праву считается очень трудным (А. Соммерфельт склонен считать его самым трудным экзаменом в мире). Помимо большой теоретической подготовки требуется знание многих языков. «Сравнительное языкознание» имеет две специализации: — индоевропейскую и уральскую. При индоевропейской специализации требуется хорошее знание индийских языков (с диапазоном от ведийского санскрита до новоиндийских), древнегреческого, италийских языков, знание русского, церковнославянского, литовского, готского и одного языка по выбору из древнегерманских, кельтского, албанского, армянского, хеттского или тохарского. Кроме того, требуется знание трех неиндоевропейских языков, принадлежащих к трем разным группам.

При уральской специализации необходимо хорошее знание финского и венгерского (экзамен может проводиться на одном из этих языков), эстонского, саамского, в меньшей степени — мордовского, мари, коми, хантыйского, мансийского. Помимо того, необходимо знание трех индоевропейских языков (куда должен входить русский) и турецкого.

Знание языков проверяется обычно сдачей прочитанных текстов (нечто вроде «домашнего чтения» в наших вузах), причем существуют правила выбора текстов студентами (тексты должны включать поэтическую, диалектную, эпическую и другую литературу). Для магистерского экзамена надо подготовить в общей сложности 2000—2500 страниц текстов на разных языках.

В результате такой подготовки несомненно приобретаются глубокие теоретические и практические познания, охватывающие как историю языка, так и языковую типологию. Вместе с тем требования эти определенно завышены. Этот экзамен сдается очень редко: лишь раз в несколько лет находится человек, отваживающийся на такой экзамен. Студенты не решаются брать сравнительное языкознание своей специальностью и, фактически слушая лекции по общеязыковедческим предметам, формально избирают себе другие более легкие специальности (английский язык, романская филология и т. д.).

По сообщению Э. Фишер-Йоргенсен, экзамен этот был установлен Х. Педерсеном (который сам знал весьма много языков), и Ельмслев был первым, сдавшим этот экзамен. С тех пор за много лет его сдало менее 10 человек.

Б. А. Успенский

[8] H. Spang-Hanssen, Probability and structural classification in language description, Copenhagen, 1959. [Нашу рецензию на эту книгу см.: ВЯ, 1962, 2.] Заметим, что звание доктора в Дании гораздо выше и присваивается реже, чем в Америке или в ФРГ.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИМ СЛОВАРЕМ КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Сравнительно-исторический словарь картвельских языков не ограничивается решением чисто лексикологических проблем, он рассматривается как материальная основа для построения все еще отсутствующей сравнительной грамматики этих

языков. Этим обстоятельством объясняется включение в словарь не только основ (и, следовательно, корневых морфем), но и аффиксов, что и составляет морфемный «лексикон» языка в духе Л. Блумфилда. Словарь представляет собой опыт применения к картвельским языкам исследовательской методики, разработанной в индоевропейском языкознании и использованной в последнее время Ю. Покорным; здесь ретроспективно прослеживается история общекартвельского и грузинско-занского материала, завершаемая его формально-функциональной реконструкцией на основании закономерностей исторической фонологии. Отклонение от методики Ю. Покорного состоит в хронологической соотнесенности реконструированных фактов, что диктуется необходимостью системного подхода к языку: в этом смысле одной из особенностей словаря является наличие в нем двух различных хронологических плоскостей реконструкции, встречающееся в последнее время в подобных исследованиях[1]. С одной стороны, в работе реконструируются общекартвельские основы и аффиксы, с другой — только грузинско-занские. Общекартвельскими признаются основы и аффиксы, сохранившиеся либо во всех трех картвельских языках, либо в сванском и одном из двух остальных языков. Включение в словарь материала, восходящего лишь к грузинско-занскому хронологическому уровню, объясняется как его ценностью для сравнительной грамматики (например, наличием звукосоответствий), так и возможностью его выявления в менее изученном сванском языке. В словарь не включаются, таким образом, основы и аффиксы, по-видимому, картвельского происхождения, но одиноко стоящие по языкам (например, сван. *šdim-* «ухо», *γumir* «ель», *ṭqab-/ṭqb-* «жарить», *-šv* — морфа творительного падежа).

Наличие двух временных плоскостей реконструкции в словаре продиктовано принятием известной схемы исторической дифференциации картвельских языков, выдвинутой Г. Деетерсом. Согласно этой схеме, сванский был уже вполне самостоятельной языковой единицей, когда грузинско-занское языковое единство еще сохранялось[2]. Общекартвельская плоскость реконструкции соответствует хронологически наиболее позднему периоду в существовании языка-основы, который непосредственно предшествовал его распаду на самостоятельные языковые единицы. Аналогичным образом грузинско-занская плоскость реконструкции отвечает наиболее позднему периоду в существовании единого грузинско-занского языка. Должно быть очевидным, что именно эти плоскости являются наиболее доступными для контроля со стороны диахронической методики исследования.

Так как максимальная глубина сравнительно-исторической реконструкции в словаре соотносима с периодом, непосредственно предшествовавшим распаду языка-основы, то здесь устанавливаются этимологии только тех единиц, которые этимологизируются вплоть до этого уровня. В словаре не предпринимаются и попытки сведения к единому архетипу общекартвельских чередований по качественному аблауту в глагольных корнях, где имеются чередования типа 0 (нуль звука)/*e* (например, груз. *šd-/šed-* = сван. *sd-/sed* «оставаться», груз. *cwd-/cwed-* = сван. *hwd-/hwed-* «давать») или 0 (нуль звука) / *a* (например, груз. *xn-/xan-* = сван. *qn-/qän-* «пахать», груз. *txr-/txar-* = сван. */štxr-/štxar-* «копать», «рыть»). Нет в словаре и попыток выявления возможных окаменелых к рассматриваемому периоду аффиксальных морфем: как известно, в картвелистике существует мнение, что ряд ныне простых основ, например: **da-(s₁)tu-* «медведь», **to(s₁)te-* [**to(s₂)ta-*?] «луна, месяц», **tətxel-* «тонкий, редкий» и др., включает в свой состав исторические аффиксы — показатели грамматических классов[3]. Решение подобных проблем является уже задачей внутренней реконструкции самого общекартвельского языка-основы и, таким образом, выходит за хронологические рамки работы.

Сравнительно-историческая реконструкция звукотипа общекартвельских и грузинско-занских основ и аффиксов опирается на закономерности исторической фонологии, установленные в картвелистике исследованиями Ал. Цагарели, Н. Я. Марра, А. С. Чикобава, В. Т. Топурия и другими. Вместе с тем в словаре использованы и некоторые новые точки зрения, разделяемые в настоящее время не всеми картвелистами. Так, например, здесь принимается обоснованная в последнее время Г. И. Мачавариани точка зрения о наличии на общекартвельском языковом уровне ряда свистящих фонем /s, z, c, ʸç, ʒ/, не передвигавшихся в занско-сванском ареале в соответствующие щипящие[4]; разделяется и точка зрения Т. В. Гамкрелидзе об отражении исконного комплекса *šw* в занско-сванском ареале в виде *sk(w)/sg(w)* и о наличии на общекартвельском уровне слоговых согласных типа *l̥* и *r̥*[5]. Вместе с тем здесь предполагается, что спорадическое соответствие сванского комплекса

[1] См. B. Collinder, Fenno-Ugric vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages, Stockholm, 1955.

[2] См. G. Deeters, Das kharthwelische Verbum, Leipzig, 1930, стр. 2—3.

[3] Ср., например, Арн. Чикобава, Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь, Тбилиси, 1938, стр. 88—89, 203—204 и 239.

[4] См. Г. И. Мачавариани, О трех рядах сибилянтных спирантов и аффрикат в картвельских языках, «XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР», М., 1960.

[5] См. Т. В. Гамкрелидзе, Сибилянтные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков, Тбилиси, 1959 [на груз. яз.].

št(*šṭ*/*šd*) грузинско-занскому *t* вследствие своей ассимметричности в системе фонетических корреспонденций (груз.-занск. *p* и *k* не дают аналогичных сложных рефлексов в сванском) исторически восходит к неустойчивому сочетанию $(s_1)t$ [6]. Необходимо отметить, что неясность некоторых вопросов исторической фонологии картвельских языков, естественно, делает известную часть реконструкций весьма условной. Трудности, встречающиеся при реконструкции исходного значения рассматриваемого здесь материала, в целом менее значительны.

Материал словаря размещается по словарным статьям. Каждая из них начинается реконструированной формой и значением под звездочкой. Далее приводятся реально засвидетельствованные по картвельским языкам, в том числе и по письменным памятникам древнегрузинского, формы и значения основ и аффиксов, на которых непосредственно основана реконструкция. Внутри занского мегрельские и чанские диалектные разновидности материала даются отдельно — как вследствие обилия вариантов, так и вследствие их нередких формально-семантических расхождений. В сванской части словаря материал дается по всем четырем диалектам. По мере возможности приводятся соответствующие документальные иллюстрации употребления основ и аффиксов: в грузинской части — преимущественно на древнелитературном контексте, в занской и сванской — на материале фольклорных и некоторых других текстов. Далее, в словарной статье обсуждается процедура реконструкции. В словаре специально отмечаются бросающиеся в глаза материальные параллелизмы картвельских языков как с горскими иберийско-кавказскими языками (например, такие, как общекартвельские **mz$_1$e-*(**mz$_1$a-*?) «солнце», **kuaml-* «дым», **laγw-* «мясо», **čam-* «есть» и др.), так и с индоевропейскими (например, такие, как **zisxl̥-* «кровь», **γwino-* «вино», **tb-/tab-* «греть, -ся», **gn-/gen-* «понимать, сознавать», **dɣk-/drek/drik-* «сгибать», **kus-* «стонать» и др.). В работе принята общеупотребительная для картвельских языков фонологическая транскрипция. Всего в словаре содержится около тысячи словарных статей.

В ходе работы в грузинском и занском языках выявлено много основ иноязычного происхождения, усвоенных в процессе длительных и тесных этнокультурных контактов грузинского народа с другими народами Кавказа и Ближнего Востока. Меньший удельный вес обнаруживают такие основы в сванском языке. С качественной стороны в лексическом фонде обращает на себя внимание факт, что сванский язык разделяет с другими картвельскими скотоводческую терминологию (ср. общекартвельские **tqa-* «коза», **pur-* «корова», **qan-* «бык», **ǯ$_1$aγl̥-* «собака» и др.) и почти не разделяет земледельческой (ср. только грузинско-занские **tes-* «сеять», **cel-* «косить», **qana-* «нива» и др.). Не разделяет сванский с другими картвельскими языками и названий культурных приобретений эпохи после XI—IX вв. до н. э.— таких, как «лошадь», «железо» и т. п. Эти факты в общем согласуются со степенью лексического родства картвельских языков, определяемой по методике С. Гуджинской [7] в 37,8 дипа для грузинского и занского и в 56 дипов для сванского и грузинско-занского, а также с глоттохронологической датировкой филиации этих языков.

Г. А. Климов

[6] Ср. H. Vogt, Structure phonémique du géorgien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, Oslo, 1958, стр. 24. Ср. наличие неустойчивого комплекса (s)*k* в индоевропейском.

[7] См. S. C. Gudschinsky, Lexicostatistical skewing from dialect borrowing, IJAL, 21, 2, 1955, стр. 138—149.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 20 по 22 ноября 1961 года в Институте русского языка АН СССР состоялось совещание по проблемам источниковедения и издания памятников русского языка. На совещании присутствовали занимающиеся изучением и изданием древнерусских рукописей научные работники — лингвисты, литературоведы, палеографы, архивисты, историки, библиографы и др.— из Москвы, Ленинграда, Киева, Красноярска, Орла, Перми, Днепропетровска, Мурома, Львова, Вильнюса, Вологды.

Во вступительном слове С. И. Котков (Москва) указал, что решение ряда проблем истории восточнославянских языков зависит в значительной степени от обеспечения ее содержательным и достоверным материалом из сохранившихся памятников письменности. Между тем, колоссальные рукописные богатства, сосредоточенные в хранилищах Советского Союза, нередко остаются вне поля зрения специалистов. Особое значение поэтому приобретают в настоящее время как вопросы отбора источников для публикации, так и методы их издания.

В докладе «О правилах лингвистического издания памятников древнерусской письменности» О. А. Князевская (Москва) отметила, что эти «Правила» являются первым опытом составления подобной инструкции. Недостаточное внимание языковедов за последние 25—30 лет, указала докладчик, к разработке древнерусского рукописного наследия (отсутствие новых публикаций, недостаточное количество исследований по языку памятников) привело к известному отставанию в области истории русского языка. Существует необходимость и переиздания многих памятников

письменности. В обсуждении доклада приняло участие до 20 человек. Выступавшие, отметив своевременность опубликования «Правил» и сделав ряд конкретных по ним замечаний и предложений (например, о дополнении «Правил» разделом об издании музыкальных рукописей — М. В. Бражников, Ленинград), указывали на необходимость предварительной до публикации работы с рукописными источниками, разработки рекомендаций по отбору рукописей и об установлении очередности изданий. В. М. Русановский (Киев) доложил о напечатанных Институтом языкознания АН УССР «Правилах издания памятников письменности украинского языка XIV—XVIII вв.», указав при этом, что в дальнейшем необходимо строго координировать между научными центрами всю их работу по опубликованию древневосточнославянских памятников. Он сообщил также о выпуске в свет «Лексикона славянорусского» Памвы Берынды и «Житомирской актовой книги».

Ряд товарищей — Л. Л. Гумецкая (Львов), А. А. Зимин (Москва), С. И. Кочетов (Москва), Н. Н. Розов (Ленинград) — указали на необходимость привлечения внимания к фотомеханическому воспроизведению рукописей, которому, по мнению выступавших, принадлежит будущее. Полемизируя с А. А. Зиминым, Б. В. Горнунг (Москва) указал, что фототипические издания так же трудны для непосредственного изучения, как и сами рукописи, их исследование доступно только палеографически подготовленному специалисту. Основой лингвистического издания, по мнению Б. В. Горнунга, должны быть реальные рукописи. Ряд товарищей — А. А. Горбунова (Пермь), В. И. Тагунова (Муром), Н. А. Цомакион (Красноярск) — указали на отсутствие в периферийных типографиях специальных шрифтов, рекомендовали публиковать рукописи в упрощенной транслитерации.

В докладе Р. В. Бахтуриной (Москва) «Воспроизведение скорописных текстов XV—XVII вв. в изданиях, выполненных набором» основное внимание было уделено тем трудностям, с которыми сталкивается публикатор при установлении системы букв в соответствии с системой звуков для скорописных текстов XV—XVII вв. в связи с разнообразием графических вариантов буквенных знаков. Особые трудности возникают при передаче ъ и ь. Наряду с памятниками, четко различающими эти буквы, в громадном большинстве рукописей многочисленные варианты ъ и ь употребляются без разграничения значений. Докладчик считает целесообразным введение дополнительного знака с тем, чтобы отличать немаркированный знак рукописи от букв ъ и ь. Кроме того, Р. В. Бахтурина указала на недопустимость произвольной замены букв рукописного источника буквами современного алфавита. В некоторых случаях издатели-историки и литературоведы даже оговаривают замену букв рукописи и введение новых букв, в рукописи отсутствующих (например, многие издания вводят й). В качестве примера докладчик показала непригодность для всесторонних лингвистических исследований текста в таких изданиях, как «Судебники XV—XVI вв.» (М.— Л., 1952), «Сочинения И. Пересветова» (М.— Л., 1956), «Сказание о князьях владимирских» (М.— Л., 1955), «Казанская история» (М.—Л., 1954) и др.

В. С. Голышенко (Москва) в своем докладе «Оптико-фотографические исследования дефектных и угасших текстов»[1] сообщила о результатах люминесцентного анализа рукописи «Изборника Святослава 1076 г.», который проводился в Лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР под руководством и при участии Д. П. Эрастова. В результате фотоанализа удалось прочесть утраченный при поновлении текст и свыше 25 стертых записей и помет на полях рукописи.

Доклад Л. А. Дмитриева (Москва) «О принципах фототипического издания» содержал материал, убедительно показывающий недостатки воспроизведения рукописного текста при фотографировании. Имеющиеся в рукописи «Радзивилловской летописи» поправки и поздние приписки, имитирующие почерк писца, невозможно выделить в фототипическом издании (СПб., 1902). Ряд искажений текста, обусловленных недостатками фотомеханического воспроизведения, был отмечен также в издании «Мерила праведного» (М.— Л., 1961).

Доклад Н. Ф. Демидовой (Москва) «Приемы датировки документов XVII века» несколько отличался своей тематикой от программы совещания, так как был посвящен определению времени написания деловых документов на основании датировки бумаги (водяные знаки), канцелярских формул и исторических событий. Материал доклада еще раз свидетельствует о необходимости углубленного изучения палеографии скорописи.

Т. А. Сумникова (Москва) в своем докладе «Из опыта подготовки к изданию смоленских грамот XIII—XIV вв.» сообщила о подготовленном в Институте русского языка издании всех списков сохранившихся смоленских грамот XIII—XIV вв. Это издание будет содержать наборное воспроизведение текстов грамот, альбом фотокопий и обширный научно-справочный аппарат. На основании палеографического анализа рукописей Т. А. Сумникова устанавливает хронологию сохранившихся списков договора 1229 г. При обсуждении этого доклада А. А. Зимин, высоко оценивая работу Т. А. Сумниковой по подготовке грамот к изданию, отметил, что эта публикация будет удовлетворять и требованиям исторических исследований.

[1] См. об этом В. С. Голышенко, В. С. Люблинский, Д. П. Эрастов, Новейшие приемы фотоанализа на службе палеографии и источниковедения, «Проблемы источниковедения», IX, М.— Л., 1960.

В докладе О. В. Творогова (Ленинград) «О словаре к древнерусскому памятнику» было указано, что наличие словоуказателя к изданию, а также его структура не вызывают существенных разногласий. Однако, по мнению докладчика, словарь непонятных слов может быть полезен только в учебном издании. В научном издании памятника уместно помещать полный словарь, вводящий читателя в систему древнерусской лексики.

Доклад Н. Н. Розова «Из истории лингвистических публикаций литературных памятников XI в.» содержал сравнительный анализ известных рукописных списков «Слова о законе и благодати» с его изданием А. В. Горским (1844 г.). Исследование подтвердило, что в основе издания лежит Синодальный (№ 591) наиболее полный список «Слова», но дополненный и исправленный А. В. Горским по другим спискам. Таким образом, опубликованной является не Синодальная рукопись, а сведенный из нескольких списков реконструированный текст. Конкретные примеры свидетельствуют о том, что явная ортодоксально-богословская тенденциозность произведенной А. В. Горским реконструкции этого текста вызывает настоятельную необходимость нового издания этого уникального произведения древнерусской литературы — издания, которое принесло бы пользу и историкам, и литературоведам, и лингвистам.

А. Н. Робинсон (Москва) в своем докладе «Вопросы издания „Жития“ Аввакума по автографу» разобрал методы воспроизведения текста в трех вышедших изданиях (РИБ, 39, 1927; Academia, 1934; ГИХЛ, 1960). Проведенная А. Н. Робинсоном текстологическая проверка показала, что воспроизведение текста указанных изданий содержит ряд существенных ошибок. Докладчик продемонстрировал случаи, когда ни одно из упомянутых изданий не дало верной передачи автографа. И в отношении этого памятника указывалось на необходимость нового точного издания, удовлетворяющего требованиям специалистов по языку, литературе и истории.

В. И. Тагунова в своем докладе «Муромские памятники письменности XVI—XVIII вв. как материал для лингвистических исследований» дала краткий обзор рукописных источников г. Мурома, а также подробно охарактеризовала местные синодики как источник для изучения древнерусской ономастики и топонимики.

Ряд товарищей выступили с сообщениями о рукописных фондах местных хранилищ и публикациях памятников. Л. Л. Гумецкая сделала краткий обзор памятников письменности русского, украинского и польского языков, имеющихся в хранилищах Львова, а также указала на наличие среди них документов на латинском языке [Центральный исторический архив (Бернардинский архив, фонд Ставропигиального института), Публичная библиотека народного дома, Библиотека Академии наук, Львовский исторический музей и Музей украинского искусства]. А. А. Антонович (Вильнюс), характеризуя рукописные фонды г. Вильнюса, указал на наличие рукописей на белорусском языке, написанных арабскими буквами, а также сообщил о судьбе «Летописи Авраамки» и «Туровского евангелия», ныне хранящихся в фундаментальной библиотеке АН Литовской ССР. Аспирант МГУ А. Н. Качалкин, говоря о рукописных фондах Ростова-на-Дону, остановился на характеристике архивных казачьих документов преимущественно XVII вв. («Документы войсковой канцелярии», «Личные архивы войсковых генералов»); он указал на имеющиеся в фондах фольклорные записи и бытовые документы. А. А. Горбунова, характеризуя рукописные фонды г. Перми, сообщила о Соликамских грамотах и двух частных письмах, опубликованных ею из этих фондов. Н. А. Цомакион сообщила, что в подготовленных ею к публикации документах Мангазеи XVII — начала XVIII в. привлечены рукописи, хранящиеся в Красноярском краевом архиве.

Участники совещания, подводя итоги, в принятом решении отметили, что «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности» заслуживают положительной оценки и после соответствующей доработки могут быть рекомендованы в качестве единых правил лингвистической публикации. Совещание отметило большое научное значение работы по изучению и публикации рукописных материалов областных и республиканских архивохранилищ, ведущейся на местах силами научных сотрудников педагогических институтов, университетов и краеведческих музеев. Все участники совещания указывали на необходимость создания координационного центра по изданию памятников восточнославянской письменности.

О. А. Князевская (Москва)

С 21 по 24 ноября 1961 г. в 1-м МГПИИЯ проходила межвузовская конференция по применению структурных и статистических методов исследования словарного состава языка. В конференции приняло участие более 500 языковедов от 86 высших учебных заведений и научных учреждений страны. На конференцию было представлено 29 докладов, из них 12 было заслушано на пленарном заседании, 8 — на секции структурных методов и 9 — на секции статистических методов.

В коллективном докладе И. Р. Гальперина, Г. В. Колшанского и Н. А. Слюсаревой (Москва) «Методы структурной лингвистики в исследовании словарного состава языка» подчеркивается билатеральный характер языка, определяющий как его сущность, так и методологию исследования. Любое одностороннее рассмотрение языка неизбежно приводит к искажению его действительной природы. Формализация методов исследования словарного состава языка и

в плане выражения и в плане содержания может быть проведена при непременном рассмотрении лексики как системы, причем в изучении лексики формализация возможна только при выявлении релятивных связей между типами значений. В докладе делается попытка выявить релятивные связи между выделенными классами абстрактных значений.

Ю. Д. Апресян (Москва) в докладе «О понятиях и методах структурной лексикологии» остановился на вопросе определения системы понятий и методов структурной лингвистики и показал возможность применения методов дистрибутивного, трансформационного и компонентного анализа для построения классов эквивалентных лексических элементов и разложения лексических инвариантов на составляющие их элементарные семантические компоненты. В изложенном понимании структурная лексикология примыкает к структурной грамматике и вместе с ней образует формальную теорию структуры плана содержания.

А. А. Реформатский (Москва) в докладе «Термин как член лексической системы» говорил о системности лексики в связи с проблемами формы и содержания и значения и значимости слова. Необходимой предпосылкой системности в лексике, по мнению докладчика, является рассмотрение слова как единицы, входящей в систему языка. Значение — это отношение факта лингвистического (слова) к факту нелингвистическому, поэтому оно является объектом исследования филолога, а не лингвиста. Слово как элемент системы обладает значимостью. Лексику как систему образуют связи и противопоставления, которые составляют «сетки значимостей». Термин — член лексической системы, в силу которой формируются все особенности терминологии.

Р. Г. Пиотровский (Ленинград) в докладе «Размещение информации в слове» рассматривает теоретико-информационные параметры письменного слова. Количество информации (имеется в виду селективная информация, измеряемая количеством энтропии в системе выборов тех или иных языковых элементов), передаваемое словом вне контекста, значительно меньше, чем количество информации, передаваемое букворядом той же длины. Это свидетельствует о наличии в слове внутренних связей и является обоснованием рассмотрения слова как объективно существующей единицы языка. Путем подсчета энтропии на букву, а также при помощи лингво-психологических экспериментов установлено, что в письменном слове информация концентрируется в начале слова.

Доклад И. И. Ревзина (Москва) «Общая теория денотации и анализ немецких сложных существительных» доказал возможность использования общей теории денотации при анализе конкретного языкового материала, в частности при рассмотрении сложных существительных в современном немецком языке. При этом рассматриваются три модели, различающиеся выбранной единицей выражения. При сравнении этих моделей оказывается, что модель, выделяющая в качестве единицы выражения «морфему» (нечто, полученное «методом квадратов» Гринберга), наиболее удобна для сопоставления немецкого языка с другими языками. Модель, выделяющая традицию более или менее целостных единиц, расположенных между «словом» и «морфемой», позволяет с заранее заданной степенью точности классифицировать по степени спаянности сложные слова внутри немецкого языка.

Доклад В. И. Перебейнос (Черкассы) был посвящен вопросу использования структурных методов для разграничения значений многозначного слова. Так как речь идет о системе значений и об установлении их взаимоотношений в пределах этой системы, то путем применения структурных методов мы устанавливаем значимости, которые затем содержательно интерпретируем. Весь процесс установления значимостей может быть представлен в виде лингвистического алгоритма.

Р. М. Фрумкина (Москва) посвятила доклад вопросу о целесообразности статистического подхода к изучению словарного состава текста. Сравнение текстов с точки зрения сходства или различия их лексического состава (словника) предлагается основывать не только на том, сколько общих слов имеют данные тексты, но и на сравнении близости распределения частот соответствующих слов в обоих текстах. Рассматривается возможность сравнения словников при помощи коэффициента ранговой корреляции.

Доклад М. Д. Степановой (Москва) «О трансформационном анализе сложных слов в современном немецком языке» показал целесообразность применения трансформационного анализа при изучении одного из типов немецких сложных существительных. Такой анализ облегчает структурно-семантическую классификацию, понимание, перевод и употребление существительных этого типа.

Н. Ф. Пелевина (Черновцы) в докладе «Системность в семантике» утверждала, что семантическая структура не изоморфна структуре фонетической, так как связь с действительностью, определяющая значение, не находит себе соответствий в фонетической системе, а связь с другими единицами, определяющая фонему, в семантике необязательна. Выделение сем возможно далеко не всегда; о компонентах лексического значения можно говорить, по мнению докладчика, только в тех случаях, когда слова имеют внутреннюю форму.

Н. А. Никонов (Москва) в докладе «Этимология как система» утверждал, что с этимологической системой смешивают систему самих обозначаемых реалий, подменяя языковую систему внеязы-

ковой. Этимология различных лексических групп, образуя своеобразные системы, специфична и обладает внутренними закономерностями, которые необходимо учитывать. Именно система является критерием надежности этимологии. Видимая бессистемность лексики — результат исторического сложения ее как столкновения и взаимопроникновения различных систем.

В докладе В. Н. Топорова (Москва) «К вопросу о возможности построения структурной лексикологии» был поднят широкий круг вопросов общей семантики. В лексике реализуются все виды языковых структур и отражаются закономерные отношения других систем, в частности семантической. Говоря о лексических структурах, следует искать нечто вполне автономное, независимое от структур, изучаемых в семантике, морфологии или фонологии. По мнению докладчика, строго научный анализ лексики возможен лишь в связи с контекстом культуры (т. е. неязыковым контекстом). Поэтому следует искать лексические структуры в одном языке, отвлекаясь от сопоставления лексики разных языков. При этом нельзя забывать о способности каждого слова в отдельности и лексики в целом моделировать мир.

Коллективный доклад А. К. Жолковского, В. В. Иванова, Н. Н. Леонтьевой, Ю. С. Мартемьянова, В. Ю. Розенцвейга и Ю. К. Щеглова (Москва) был посвящен проблеме дифференциально-семантических признаков слова. По мнению докладчиков, семантика — это правила отождествления слов и словосочетаний по смыслу в одном или нескольких языках. Устанавливается сходство и различие между смыслами слов и допускается, что степень такого сходства или различия может измеряться дискретными единицами — элементарными смыслами. Исследование показывает, что многие слова можно представить как варианты выражения одного и того же смысла для различных внутри- и внеязыковых окружений. При таком описании семантики открывается возможность поставить задачу автоматического анализа смысла слов и словосочетаний разных языков.

В обсуждении докладов, прослушанных на пленарном заседании, приняли участие: Т. П. Ломтев (Москва), Г. В. Колшанский, В. Ю. Розенцвейг, Л. С. Бархударов (Москва), М. А. Балабан (Запорожье), А. А. Реформатский, Р. С. Гинзбург (Москва), С. М. Блехер (Одесса), Ю. С. Мартемьянов, А. Я. Шайкевич (Москва), Д. Н. Ланской (Саратов), А. Е. Супрун (Фрунзе), И. В. Арнольд (Ленинград), Е. В. Глейбман (Бельцы), Ц. В. Гогличидзе (Тбилиси), Ю. Д. Апресян, М. Д. Степанова (Москва), Т. Дишкант (Днепропетровск), Н. Л. Каменецкайте (Вильнюс) и др. Все выступавшие единодушно признали своевременность широкого обсуждения методов структурной лингвистики и их использования для изучения словарного состава языка и высказали ряд критических замечаний в адрес докладов. Было внесено много конструктивных предложений относительно дальнейшей организации научно-исследовательской работы в области лексикологии, о привлечении к разрешению насущных лексикологических проблем работников периферийных вузов, о координации исследовательской работы на местах, о необходимости сотрудничества лингвистов и математиков.

Из докладов, прочитанных на секции структурных методов, два были посвящены возможностям использования дистрибутивного анализа: для исследования лексических синонимов — М. В. Раевского (Петрозаводск) и для анализа герундия на семантическом уровне Е. Н. Шерстовой (Орел). Вопросу использования трансформационного анализа были посвящены доклады С. И. Калабиной (Орел) «Использование метода трансформационного анализа при исследовании семантических свойств словосочетаний» и Ф. А. Литвина (Орел) и М. И. Черемисиной (Тула) «Использование метода трансформационного анализа при исследовании типов лексических значений слова». В первом из них говорилось о технике применения трансформационного анализа для исследования семантических свойств словосочетаний трех типов (на материале английского языка): глагол + единица с суффиксом *ly*, глагол + немаркированная единица от аналогичной основы и глагол + единица типа *away*, *about*, *at*. Во втором докладе на материале слов-названий животных в русском, английском и немецком языках при помощи метода трансформационного анализа устанавливаются различные типы значений в зависимости от трансформационного потенциала конструкций, в которых данные значения реализуются.

Доклад И. М. Владар (Москва) был посвящен вопросу применения структурных методов для лексико-стилистической дифференциации словарного состава современного английского языка. Предположение о том, что объективное существование разных стилистических пластов должно быть отражено в формальных различиях между ними, нашло подтверждение в проведенном исследовании. Вопросу об обнаружении русских фразеологизмов был посвящен доклад И. С. Торопцева (Орел) «Основной метод — синонимическое сопоставление фразеологизма и свободного словосочетания с лексической единицей (словом или фразеологизмом) и с синтаксической единицей (свободным словосочетанием)». Докладчик предложил использовать критерий синонимических связей для установления отношений производного слова к непроизводному.

Вопросу изучения фразеологии были посвящены доклады Н. Л. Каменец-

кайте (Вильнюс) и З. Н. Левит (Минск). В первом из них была сделана попытка показать влияние внутренней структуры фразеологических единиц на отношения между семантически близкими фразеологизмами и выявить структурно-семантические особенности вариантных и инвариантных фразеологических средств выражения. Во втором речь шла об опыте изучения лексического состава фразеологизмов французского языка, причем основное внимание уделялось изучению закономерностей, регулирующих употребление обычных слов в качестве составных частей фразеологизмов. Выступавшие в обсуждении докладов С. С. Хидекель (Москва), А. В. Кунин (Москва), Р. С. Гинзбург и В. В. Акуленко (Харьков) говорили о возможностях и границах применения структурных методов в лексикологии, в частности при изучении сложных слов и при определении границ фразеологии. Указывалось на необходимость упорядочить лингвистическую терминологию.

На секции статистических методов было заслушано 9 докладов. М. А. Балабан в докладе «Явление словообразовательной константности в английском языке» высказал предположение о возможности создать «шкалу аффиксов» в зависимости от их «словообразовательной ценности», подсчитанной статистическим путем. Основываясь на материалах исследования, докладчик предложил последовательность работы над словообразовательными моделями в школе. В коллективном докладе Н. В. Гачечиладзе, Е. В. Глейбман и Л. А. Новак (Бельцы) излагались результаты применения дистрибутивного и статистического анализа для определения продуктивности аффиксов румынского языка. Исследовались суффиксы, образующие существительные женского рода, установлена большая продуктивность суффикса *-tie*.

А. А. Неелов (Орджоникидзе) в докладе «Семантическая структура некоторых английских существительных в свете статистических данных» высказал мысль о необходимости учитывать статистические данные частотности слов при разграничении многозначных слов и слов-омонимов. Доклад И. М. Крейн (Одесса) освещал опыт применения статистического метода при исследовании французских заимствований в английском литературном языке XIX в. Установлено, что использование французских слов зависит от стиля речи. 40% всех французских заимствований XIX в. составляют научные термины.

В. А. Москович (Москва) остановился на вопросе анализа семантического поля статистическими методами. Исследовалось семантическое поле цвето-обозначений, в котором установлено по мере убывания частотности три слоя лексики. Подчеркивается целесообразность при топологических исследованиях сопоставлять слои лексики одного уровня частотности. А. Я. Шайкевич (Москва) в докладе «Распределение слов в тексте и выделение семантических полей языка» предложил выделять семантические поля языка на основе изучения статистических корреляций слов в тексте. Была изложена методика исследования, разработанная автором, и составлена карта семантических полей прилагательных английского языка на материале поэзии XIV—XIX вв.

Доклад А. Б. Долгопольского (Москва) был посвящен статистическому изучению сохраняемости лексики с целью выяснения степени исторической сохраняемости корней, обладающих различными значениями. Проверяется гипотеза родства индоевропейских языков с уральскими, алтайскими, семито-хамитскими и другими. Обследовано около 100 языков с учетом их истории, в сумме охватывающей свыше 300 тыс. лет. Математически подтверждается «ностратическая» гипотеза Х. Педерсена. Вопросу о возможностях и пределах статистики в изучении топонимических названий на материале украинского языка посвящен доклад Ю. А. Карпенко (Черновцы). Пределы применения статистики в топонимике определяются часто малым количеством материала и многореликтностью топонимики, не поддающейся статистическому изучению. Ставится вопрос о создании топонимической системы как основной задаче синхронной топонимики. О. С. Широков (Черновцы) в своем докладе «Частотность слов и глоттохронология» отмечает неравноценность слов, входящих в список Сводеша, и слишком малый объем списка. Докладчик считает, что введение критерия частотности слова в глоттохронологию позволит расширить опытный список и уточнить хронологические данные. Глоттохронология должна опираться на лексику диалектов и бесписьменных языков.

В обсуждении докладов приняли участие Е. С. Клычков (Москва), И. И. Чернышова (Москва), Р. М. Фрумкина, В. А. Никонов, К. В. Комиссарова (Горький), Э. А. Штейнфельд (Таллин), С. Ю. Комиссарчик (Харьков), Э. П. Шубин (Пятигорск), Г. В. Колшанский, Г. П. Мельников (Москва), И. В. Подольская (Москва). В выступлениях поднимались вопросы о пределах и возможностях статистики при изучении системы языка, о дальнейших путях применения статистических методов при изучении языка и речи, об опыте применения этих методов для разработки таких вопросов, как составление частотного словаря МП, создание словаря-минимума русского языка для использования при обучении русскому языку нерусских, составление минимального списка правил английского произношения и т. д.

В решении конференции отмечается широкий диапазон проблем, которые были обсуждены на ней, и активное участие в конференции разных поколений лингвистов: от студентов до докторов наук. В

резолюции отмечается также целесообразность проведения семинаров, симпозиумов и конференций по применению структурных и статистических методов в лексикологии. Решено также просить АН СССР координировать научно-исследовательскую работу по актуальным вопросам языкознания таким образом, чтобы в ней принимали участие широкие слои научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов столичных и периферийных вузов. Конференция рекомендует смелее внедрять в практику преподавания языка положительные результаты исследований, проведенных при помощи структурных и статистических методов.

В. И. Перебейнос (Черкассы)

21—23 ноября 1961 г. в Башкирском государственном университете в Уфе проходила I научная конференция вузов Урала по германскому языкознанию, созванная по инициативе Уральского филиала Научно-технического совета (НТС) при Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР.

С докладом «О координации научно-исследовательской работы по романо-германскому языкознанию в вузах Урала» выступил член секции филологии Уральского филиала НТС канд. филол. наук Ю. М. Скребнев (Уфа). Докладчик высказал мнение, что научная работа вузовских кафедр должна исходить из потребностей методики преподавания языков; поэтому желательно преобладание сопоставительных исследований над описательными. Урал с его многоязычным населением открывает широкие возможности для сопоставительных исследований. Большое развитие на Урале могли бы также получить лингвистическая статистика, немецкая диалектология Урала и ряд других областей исследования.

Затем последовали информационные доклады канд. филол. наук И. П. Распопова (Уфа) «Задачи и методы исследования языка в современном зарубежном структурализме», аспиранта 1 МГПИИЯ Р. Р. Каспранского (Москва) «Проблема фонемы и ее различительных признаков», а также доклад канд. филол. наук И. А. Кузнецова (Свердловск) «О лингвистической терминологии и лингвистических формулировках».

Статистическим методам в лингвистике были посвящены доклады канд. филол. наук С. И. Кауфмана (Свердловск) «Об именном характере технического стиля»[2] и В. М. Аврасина (Курган) «Опыт использования статистического метода при рассмотрении основного понятия стилистики», где были изложены результаты эксперимента, приведшего автора доклада к подтверждению известного взгляда, согласно которому функциональные стили существуют, но отнюдь не в виде замкнутых систем.

Ряд докладов на секционных заседаниях был посвящен конкретным вопросам английского языкознания. К ним относились доклады канд. филол. наук И. А. Кузнецова (Свердловск) «К вопросу о сложноподчиненном предложении», канд. филол. наук Е. С. Смушкевича (Магнитогорск) «К вопросу о частях речи в современном английском языке (модальные слова)» и «К вопросу о стилистическом использовании порядка слов в современном английском языке», Л. С. Абезгауза (Уфа) «О каузативном обороте в современном английском языке», канд. филол. наук Ю. М. Скребнева «Некоторые проблемы синтаксической идиоматики», Б. А. Князева (Уфа) «К вопросу о стилистическом изучении современной английской разговорной речи», И. Н. Цмыг (Уфа) «К вопросу об изучении индивидуального языкового стиля писателя», канд. пед. наук Н. З. Диарова (Уфа) «Теория слога и особенности слогостроения в английском языке».

Другая серия докладов была посвящена конкретным проблемам немецкого языкознания: В. В. Дорофеева (Оренбург) «Из наблюдений над говором немецких переселенцев села Егорьевка Оренбургской области», М. С. Веденьковой (Челябинск) «Причастие как средство выражения временной соотнесенности действий в языке древневерхненемецкого и средневерхненемецкого периодов», А. Н. Ноздрина (Бирск) «К вопросу об абсолютном винительном в современном немецком языке», Л. Г. Маршининой (Свердловск) «Фразеологическая характеристика речи научного стиля», О. А. Пальгова (Оренбург) «Сопоставительная стилистика по материалам переводов русской художественной литературы на немецкий язык», Э. Х. Ротта (Челябинск) «Долгота гласных перед консонантными группами».

Вопросам лингвистического обоснования методов обучения иностранным языкам были посвящены доклады П. П. Мансурова (Бирск) «Л. В. Щерба об общеобразовательном значении иностранного языка» и Г. И. Богина (Уфа) «О лингвистической и методической точках зрения на фразеологию и сочетаемость слов».

Прения вели ись главным образом по докладам И. А. Кузнецова — о лингвистической терминологии, С. И. Кауфмана и В. М. Аврасина — о статистическом исследовании стилей, Ю. М. Скребнева — о синтаксической идиоматике, В. В. Дорофеева — о немецкой диалектологии Урала. В отношении доклада С. И. Кауфмана было, в частности, высказано мнение, что количественное выражение для степени эмоционального воздействия текста и речи вообще актуально не только для лингвистики, но и для литературоведения, психологии эмоций, методики эстетического воспитания.

В принятом конференцией решении были названы конкретные меры по коорди-

[2] См. ВЯ, 1961, 5.

нации научно-исследовательской работы по романо-германскому языкознанию на Урале, в числе которых — создание научно-методических объединений по романо-германскому языкознанию в вузовских городах Урала и организация исследовательских коллективов, работающих в области статистических исследований стилей (с центром в Свердловске), проблем синтаксической идиоматики (с центром в Уфе), немецкой диалектологии Урала (с центром в Оренбурге). Предложена проблематика научно-исследовательских работ в области романо-германского языкознания, отражающая также и особенности лингвистической работы в Уральской зоне.

Г. И. Богин (Уфа), *П. П. Мансуров* (Бирск)

11—14 декабря 1961 г. в Москве проходила третья научная сессия по вопросам германского языкознания, организованная сектором германских языков Института языкознания АН СССР. В работе сессии, посвященной вопросам морфологического строя германских языков, приняли участие более 200 представителей высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Петрозаводска, Вильнюса, Омска и других городов. Почетными гостями сессии были представители Германской Демократической Республики д-р Р. Гроссе (Лейпциг), д-р В. Флейшер (Лейпциг), д-р Г. Фойдель (Берлин), д-р Г. Шпитцбарт (Йена).

На первом пленарном заседании были заслушаны два доклада. В докладе Э. А. Макаева (Москва) «Морфологический строй общегерманского языка» основное внимание было уделено приемам моделирования именной и глагольной парадигм ранне- и позднегерманского языка (двум периодам, на которые, по мнению автора, делится история общегерманского языка) на основе внутренней и сравнительной реконструкции. Описанию отличительных черт систем имени и глагола были предпосланы некоторые соображения о структурной оформленности этих систем в общеиндоевропейском языке. В докладе М. М. Гухман (Москва) «Структура древнегерманских глагольных основ и оформление парадигматических рядов» типология построения германских глагольных парадигм рассматривается в связи с характеристикой двух типов, по которым оформлялась парадигма глагола в индоевропейских языках; германские языки типологически сближаются с литовским и хеттским. В системе сильных глаголов германских языков выделяются разные исторические пласты оформления аблаутных рядов, связанные с выработкой противопоставления презенс — претерит на основе переосмысления старых индоевропейских моделей.

Далее на пленарных заседаниях были заслушаны четыре доклада. В докладе В. Г. Адмони (Ленинград) «Развитие родительного падежа в германских языках» было указано на то, что родительный падеж в падежной системе германских языков обладает, вопреки общепринятому мнению, определенной устойчивостью как с точки зрения своего формального выражения, так и с точки зрения его употребления. На конкретных примерах автором было продемонстрировано широкое использование определительного родительного падежа в современном немецком литературном языке. В докладе М. Д. Степановой (Москва) «Структура слова и анализ по непосредственно-составляющим» доказывалась возможность применения анализа по непосредственно-составляющим к выявлению структурных типов слов. По мнению автора, слово первоначально членится на лексический отрезок, или основу, и грамматический отрезок, в которых выделяются разные виды составляющих морфем: корневые, деривационно-суффиксальные, деривационно-префиксальные, грамматические аффиксы и т. д. В итоге автор приходит к выводу о возможности сведения всех слов в немецком языке к 14 основным структурным моделям. В. Н. Ярцева (Москва) в своем докладе «Сопоставительный анализ структуры слов современных германских языков» подчеркнула, что сопоставительный анализ структуры слова проводится путем сравнения: а) моделей морфемного строения, типичных для того или иного языка; б) распределения этих моделей по разным лексико-грамматическим разрядам в отдельных германских языках; в) форм парадигматического построения в однородных лексико-грамматических разрядах в разных германских языках. В докладе М. В. Раевского (Петрозаводск) «Развитие однотипных фонем в родственных языках как проблема сопоставительной фонологии (на материале германских языков)» были рассмотрены конкретные процессы становления однотипных фонем в германских языках (на материале s, ʃ) и дана фонологическая интерпретация фактов, связанных с этими процессами.

В прениях по докладам выступили: Б. А. Ильиш (Ленинград), А. М. Рот (Ужгород), Г. Ф. Ференс (Черновцы), Й. П. Иванова (Ленинград), д-р Г. Шпитцбарт, М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград).

На заседании секции германистики были заслушаны три доклада. Говоря о структуре слова в языке рунических надписей III—VII вв., Э. А. Макаев в докладе «Структура слова в языке древнейших рунических надписей» указал на значительную роль акцентного фактора при объединении морфем в слово. Оформление слова как особой структурной единицы в языке рунических надписей характеризуется рядом отличительных признаков как со сравнительно-исторической точки зрения, так и с точки зрения типологии; в частности, автором была дана типологическая характеристика руническо слова по сравнению с древнеиндий-

ским. В докладе Е. С. Кубряковой (Москва) «Именное словообразование в германских языках (к постановке проблемы)» были сформулированы основные задачи в области германского словообразования, которые, по мнению докладчика, могут быть связаны с пересмотром вопроса о классификации аффиксальных (деривационных) морфем, вопросов о структуре основ и общих принципах моделирования производных в германских языках. И. Н. Анацкий (Москва) в своем докладе «Модели имени действующего лица в германских языках» остановился на некоторых важных признаках категории имени действующего лица и охарактеризовал три типа моделей, представленных в германских языках.

В прениях по докладам выступили А. В. Десницкая (Ленинград), М. В. Раевский, А. М. Рот.

На заседаниях английской секции были заслушаны шесть докладов. А. А. Хадеева-Быкова (Москва) в докладе «К вопросу о лексикализации отдельных словоформ косвенных наклонений» на основе интерпретации сочетаний *as it were*, *had better*, *would rather* остановилась на сущности процесса лексикализации, его причинах и связи этого процесса с процессами грамматизации. В докладе А. А. Неелова (Орджоникидзе) «К вопросу о частотности некоторых морфологических структур в языке „Беовульфа“» была подчеркнута важность применения понятия частотности для характеристики конкретных языковых систем, что было проиллюстрировано на частотности сложных прилагательных в языке «Беовульфа». В. И. Шкарупин (Пятигорск) в докладе «Конвертирующие префиксы в современном английском языке» развивал мысль о том, что в английском языке префиксы могут выполнять «конвертирующую» функцию, под которой автор понимает использование префиксов для образования основ, относящихся к другой части речи по сравнению с производящими основами. Д-р Г. Шпитцбарт в своем докладе «Усилительные приставочные элементы в современном английском языке», прочитанном на английском языке, остановился на характеристике элементов типа *cock-* в *cock-sure*, *top-* в *top-secret* и т. п., функционирующих в английском языке в качестве усилительных элементов наравне с префиксами типа *super-* *over-*, *hyper-* и т. п. В докладе И. П. Ивановой «О морфологической характеристике слова в английском языке» рассматривались разные аспекты одного из наиболее характерных способов английского словообразования — конверсии (связь конверсии с морфологическим составом слова, отличие конверсии от адъективизации и субстантивизации и т. д.). В докладе В. П. Конецкой (Москва) «О супплетивности прилагательных в германских языках» были разобраны причины возникновения супплетивности прилагательных: столкновение синонимов, изменение морфолого-синтаксической характеристики слов и т. д., а также и некоторые общие черты этого явления, наблюдающиеся в германских языках.

На заседаниях немецкой секции были прочитаны пять докладов. А. А. Леонтьев (Москва) в докладе «О понятии формально-грамматического слова» проводил мысль о необходимости разграничения формально-грамматического слова, выделяемого на основе морфемного анализа, и слова функционально-семантического, основным критерием выделения которого служит его потенциальная изолируемость. В докладе Н. Н. Семенюк (Москва) «Некоторые вопросы построения парадигматических рядов в немецком литературном языке» была дана характеристика различных типов объединения конкурирующих разнодиалектных форм в парадигмах литературного языка. В докладе Г. С. Щура (Москва) «Об умлауте и о неличных формах немецких модальных глаголов» была уточнена относительная хронология возникновения неличных форм модальных глаголов в немецком языке по сравнению с другими умлаутированными формами глаголов в германских языках.

Тематика докладов д-ра Р. Гроссе и д-ра В. Флейшера связана с проблемой становления немецкого литературного языка. Доклад д-ра Р. Гроссе «К вопросу о историко-лингвистическом изучении немецких правовых памятников средневековья» был посвящен характеристике языка немецких правовых документов XV в., выявлению фонетико-орфографических, синтаксических и лексических особенностей, отличающих документы этого жанра от литературных памятников. В докладе д-ра В. Флейшера «К истории ранненововерхненемецкого консонантизма» основное внимание было уделено особенностям отражения так называемого «ослабления» согласных в письменных памятниках ранненововерхненемецкого периода, а именно, в документах города Дрездена.

На заседаниях скандинавской секции были также заслушаны пять докладов. В докладе С. С. Масловой-Лашанской (Ленинград) «Типы морфем в современном шведском языке» была обоснована возможность группировки морфем шведского языка с функциональной точки зрения: выделяя понятийные, служебные (словообразовательные и формообразующие) морфемы, докладчик считает необходимым особо выделить группу вариантообразующих морфем, понимая под последними как морфемы, образующие стилистические варианты, так и морфемы, образующие варианты слов в некоторых фразеологических оборотах. В. П. Берков (Ленинград), исходя из практики машинного перевода, предложил в докладе «Опыт анализа системы предлогов» новую группировку норвежских временных предлогов, основанную на участии предлогов в разных синтагматических рядах. В докладе Г. С. Щура «Исландский инфинитив на *-i* и *-u* (К воп-

росу о соотношении морфологии и синтаксиса)» сформулированы вопросы, связанные с функциональной ролью указанных образований и сферой их употребления в исландском языке, уточнением абсолютной и относительной хронологии их появления, зависимостью возникновения и частотности этих форм от фонетических, морфологических и синтаксических факторов. В докладе И. А. Сизовой (Москва) «Об одной двучленной конструкции в древнеисландском языке» рассматривались факторы (семантические и синтаксические), определяющие природу вторых компонентов в двучленных сочетаниях типа *at koma til* на основе сопоставления их с трехчленными глагольно-предложными конструкциями типа *at koma til hans*. В. Л. Якуб (Москва) в докладе «Различение омонимичных словосочетаний в современном исландском языке» доказывал возможность выделения на основе структуры контекста трех омонимичных сочетаний исландского глагола *vera* «быть» с инфинитивом: составного сказуемого, процессуальной конструкции и составного модального сказуемого.

На заключительном пленарном заседании участники сессии заслушали доклад В. Д. Аракина (Москва) «Образование вторичных корневых основ в германских языках», в котором докладчиком были выдвинуты критерии выделения вторичной основы и охарактеризованы причины десемантизации и утраты звуковой формы компонентами сложных слов и словосочетаний при превращении их во вторичные корневые основы. Выступившие на заключительном заседании А. А. Гердт (Ростов-на-Дону), М. И. Стеблин-Каменский, д-р Г. Шпитцбарт и д-р Р. Гроссе поблагодарили организаторов сессии и отметили большое значение проводимых конференций. Д-р Г. Шпитцбарт и д-р Р. Гроссе подчеркнули также важность установления личных научных контактов между языковедами ГДР и СССР.

Е. Ф. Демьянюк, Е. С. Кубрякова
(Москва)

В Институте русского языка АН СССР ведутся работы по составлению фразеологического словаря русского языка. В связи с этим в Ленинграде при Ученом совете Ленинградского отделения Института языкознания 12—15 декабря 1961 г. состоялось совещание, посвященное вопросам фразеологии и задачам составления фразеологического словаря русского языка. В совещании принимали участие не только ученые — москвичи и ленинградцы, занимающиеся проблемами русской и иноязычной фразеологии, но и представители этой отрасли языкознания из Киева, Кишинева, Новгорода, Риги, Ростова-на-Дону, Самарканда, Саратова и других городов СССР.

А. М. Бабкин (Ленинград) в докладе «Фразеологизмы русского языка и задачи академического словаря русской фразеологии» выявил и охарактеризовал наиболее широкий разряд фразеологизмов русского языка, характеризующихся переносностью значения сочетаний слов типа: *жирный кусок*, *задеть за живое*, *идти на удочку*, *смотреть сквозь пальцы* и т. п., употребление которых закрепляется общественной речевой практикой и приобретает традиционный характер. Основной задачей академического фразеологического словаря русского языка, по мнению докладчика, должно быть раскрытие значения собранной с возможной полнотой (в пределах 15—20 тысяч фразеологических единиц) лексической идиоматики русского литературного языка XIX—XX вв.

В докладе «Содержание и задачи фразеологии применительно к лексикографии» О. С. Ахманова (Москва) подчеркнула необходимость разработки того аспекта фразеологии, который понимает ее как «науку о соединении слов», определяемом их фразеологическим «тяготением» или «отталкиванием», без чего невозможно, в частности, применение дистрибутивных принципов в семасиологии. О. С. Ахманова высказала пожелание, чтобы возможно скорее был составлен первоначально хотя бы краткий фразеологический словарь нового типа.

Н. Н. Амосова (Ленинград) прочитала доклад «Об английских фразеологических словарях», в котором на обширном материале убедительно показала, как отсутствие в английском и американском языкознании теории фразеологии отрицательно сказывается на содержании английских словарей «идиом» или «выражений» и приводит к тому, что, несмотря на их обилие, словари фразеологизмов составляют один из отстающих участков английской и американской лексикографии.

Ряд докладов был посвящен частным теоретическим проблемам фразеологии на материалах русского языка. Так, В. Л. Архангельский (Ростов-на-Дону) анализировал «понятие устойчивой фразы и характеризовал типы подобных фраз», В. П. Жуков (Новгород) поставил задачей показать, как «неравномерность лексикализации, т. е. разная степень затемнения значений слов, входящих в тот или иной фразеологизм», создает представление о наличии смыслового центра в составе многих фразеологизмов русского языка. Вопросу о сущности и синтаксических признаках фразеологических единиц были посвящены доклады Н. А. Кирсановой (Саратов) и Е. А. Гузуновой (Ленинград). Критический обзор фразеологии в новых западнославянских языках был дан в докладе Л. И. Ройзензона (Самарканд).

Обсуждение докладов приобрело исключительно живой и деловой характер и показало наряду с большой заинтересованностью научной общественности в типе и задачах намечаемого к изданию академического словаря русской фразеологии актуальность фразеологической проблематики вообще. Одобрительное отношение к замыслу и задачам фразеологического

словаря высказали П. Я. Хавин (Ленинград), Э. И. Коротаева (Ленинград), Б. А. Ларин (Ленинград), К. П. Авдеев (Ленинград), О. С. Ахманова (Москва), Б. Л. Богородский (Ленинград), В. Т. Шкляров (Иркутск) и др. Одновременно высказывались пожелания издания «фразеологического тезауруса», включающего в себя, помимо лексических идиом, также пословицы, терминологические сочетания и другие идиоматические средства языка [В. Л. Архангельский, М. Н. Сидоренко (Ленинград)].

На совещании с развернутыми сообщениями выступили: И. М. Абрамович (Ленинград), вскрывшая реальное функционирование в речи не только «нормативных фразеологических единиц», но и их трансформаций и реминисценций, показывающих реальную жизнь фразеологизмов в языке; В. П. Фелицына (Ленинград), охарактеризовавшая пословицы как специфические речевые средства, семантически не эквивалентные слову или сочетанию слов, а потому выпадающие из круга обычной лексической идиоматики; К. С. Горбачевич (Ленинград), обративший внимание совещания на необходимость в фразеологическом словаре академического типа историко-этимологических справок, содействующих осмыслению фразеологизмов в понятийном и стилистическом отношении; Д. И. Буторин (Ленинград), который дал анализ понятия «переосмысление» применительно к фразеологическим единицам; вопросу о «терминологических сочетаниях и их отношении к фразеологии» посвятила свое выступление Е. Н. Толикина (Ленинград); А. С. Герд (Ленинград) на материале фельетонов М. Кольцова показал функционально-стилистическую роль фразеологизмов и в связи с этим выявил проблему источника выборок фразеологизмов при образовании фразеологической картотеки. Задачам широкого накопления фразеологических материалов как базы составляемого словаря фразеологизмов были посвящены некоторые из выступлений в прениях, причем высказывалось настойчивое желание иметь обширную академическую фразеологическую картотеку, пригодную для ведения исследовательской работы по фразеологической проблематике. А. К. Боровков (Ленинград) в своем выступлении показал закономерность создания фразеологических словарей разного замысла и типа и их важную роль для популяризации и продвижения реального знания русского языка среди нерусских в СССР и за рубежом. Общим проблемам фразеологии и их лексикографическому аспекту были посвящены выступления Б. А. Ларина, А. В. Кунина (Москва), Б. Н. Головина (Горький), И. Е. Аничкова (Ленинград), Ю. С. Сорокина (Ленинград) и др.

Совещание приняло постановление: 1) просить руководство Института языкознания, Института русского языка и Бюро отделения литературы и языка АН СССР издавать фразеологические сборники, содержащие обобщение опыта работы в коллективе словарного сектора, а также других исследователей, работающих над сходной тематикой; 2) считать необходимым высказать пожелание об издании разных типов фразеологических словарей русского языка, принимая во внимание роль русского языка как языка межнационального общения в СССР и непрерывно возрастающее его международное значение; 3) просить Словарную комиссию ОЛЯ АН СССР периодически организовывать обсуждения русско-иноязычных фразеологических словарей и других типов фразеологических словарей в целях улучшения их качества (особенно в русской части) и обмена опытом, а также поставить вопрос о созыве конференции по вопросам фразеологии с участием лексикографов союзных республик и стран народной демократии.

Каждое из четырех заседаний фразеологического совещания было весьма многолюдным; на заседаниях бывали профессора и преподаватели ленинградских вузов, писатели, журналисты, учителя и студенты. Не все выступления из-за насыщенности программы совещания могли состояться; некоторые из участников совещания передали тексты своих выступлений в письменном виде [Ю. Ф. Геннер (Харьков), Н. М. Александров (Ленинград), В. Н. Сергеев (Ленинград) и др.].

(Ленинград) *А. М. Бабкин*

5—6 февраля 1962 г. состоялось общее собрание Отделения литературы и языка АН СССР, посвященное итогам научной деятельности Отделения за 1961 г. Открывая собрание, академик-секретарь Отделения акад. В. В. Виноградов предложил почтить память умерших в 1961 г. членов Отделения академика АН СССР А. И. Белецкого и академика АН Укр. ССР и члена-корр. АН СССР Л. А. Булаховского. В своем вступительном слове В. В. Виноградов коснулся научно-организационной работы Отделения, итогов работы в области литературоведения и языкознания, индивидуальных работ и пожеланий членов Отделения.

За отчетный период, сказал докладчик, в нашей стране произошли крупнейшие события, имеющие историческое значение для развития советской науки. XXII съездом КПСС была утверждена новая Программа Коммунистической партии Советского Союза — Программа строительства коммунизма в нашей стране. Вопросам развития советской науки был посвящен ряд постановлений ЦК Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства, которые легли в основу научно-организационной деятельности отделений Академии наук.

За отчетный период Отделением было проведено несколько общих собраний, на

которых были пересмотрены и уточнены основные направления научных исследований на текущее семилетие, проблемные и тематические планы институтов на 1961 г., широко обсуждались организационные формы координации научных исследований. Далее В. В. Виноградов отметил плодотворную деятельность Советского комитета славистов, литературоведческого и языковедческого научных советов, Словарной комиссии, Комиссии по истории филологической науки, Комиссии по народному творчеству при Отделении русского языка и литературы. Вместе с тем докладчик отметил и недостатки в научно-организационной работе Отделения, в частности: отсутствие широкого обсуждения некоторых новых научно-исследовательских проблем, замедленность подготовки к печати ряда важных работ, недостаточность координации исследовательских работ между институтами Отделения литературы и языка и другими языковедческими институтами.

Касаясь итогов работы литературоведческих институтов Отделения, В. В. Виноградов подчеркнул, что за отчетный период значительно усилена теоретическая разработка актуальных проблем социалистического реализма, классического наследства, закономерностей развития национальных литератур. Докладчик подробно остановился на положительных результатах работы литературоведческих институтов [3]. Давая характеристику итогам работы в области языкознания, В. В. Виноградов отметил, что за отчетный период были продолжены теоретические исследования в области сравнительно-исторического языкознания, сравнительно-типологического изучения языков, изучения малоисследованных языков, разработки методов описания языков на основе структурных методов, математических методов обработки информации. По-прежнему слабым участком остается разработка теоретических проблем общего языкознания, теоретических и практических проблем закономерностей развития русского языка в советском обществе и выяснение роли русского языка в развитии других языков народов Советского Союза. Значительная часть доклада В. В. Виноградова была посвящена новым индивидуальным работам, пожеланиям и предложениям академиков АН СССР М. П. Алексеева и И. И. Мещанинова, членов-корр. АН СССР Р. И. Аванесова, В. П. Адриановой-Перетц, Н. Ф. Бельчикова, П. Н. Беркова, Д. С. Лихачева, Н. К. Пиксанова.

С докладом «Об итогах научной деятельности Отделения литературы и языка АН СССР за 1961 г.» выступили члены-корр. АН СССР С. Г. Бархударов и М. Б. Храпченко [4]. Отчетный 1961 год, сказал С. Г. Бархударов, был годом больших общественно-политических событий, которые предопределили развитие советской экономики, науки и культуры на долгие годы. Этот год был годом коренных изменений в тематике и организации научных исследований в Академии наук СССР и научных учреждениях страны.

Подводя итоги проделанной работы в области языкознания, докладчик подчеркнул, что языковедческие институты Отделения значительно пересмотрели планы своих исследовательских работ: из плана изъяты устаревшие темы и включены новые исследования, имеющие общетеоретическое и методологическое значение. В Институте языкознания за отчетный период издано 20 работ. Среди них выделяются своей актуальностью «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», «Вопросы терминологии», «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков» и др., а также закончены и утверждены к печати 9 книг, среди которых «Историческая морфология пермских языков» Б. А. Серебренникова, «Исторический вокализм пермских языков» В. И. Лыткина и др. Продолжается работа над сложными теоретическими проблемами, которые будут завершены в 1963 г.

Характеризуя итоги научной деятельности Института русского языка, С. Г. Бархударов отметил, что за отчетный период институтом было издано 13 книг, среди которых «Словарь языка Пушкина» (т. IV), «Вопросы культуры речи» (вып. 3), «Исследования по лексикологии и грамматике русского языка» и др., и сданы в производство 14 сборников. Институты русского языка и языкознания, сообщил докладчик, за отчетный период провели большую работу по организации ряда научных сессий, всесоюзных совещаний, зональных межвузовских конференций по актуальным проблемам языкознания. Заканчивая свое выступление, С. Г. Бархударов коснулся вопроса структурных изменений в Институте русского языка и Институте языкознания. В дополнение к заслушанным докладам В. А. Аврорин рассказал о состоянии филологической работы в Сибирском отделении АН СССР.

По выступлениям докладчиков развернулись оживленные прения. О борьбе с вредными последствиями культа личности в области языкознания говорили докт. филол. наук Г. П. Сердюченко и Н. Я. Габараев. В выступлениях И. П. Анисимова, П. Н. Беркова, А. С. Бушмина, В. В. Виноградова, В. Д. Кузьминой, И. К. Кусикьяна, Д. С. Лихачева, В. С. Нечаевой, М. Б. Храпченко и Н. Ю. Шведовой нашли отражение вопросы, связанные с выяснением актуальности литературоведческих и языковедческих проблем, вопросы изучения национальных языков, вопросы отношения общественности к литературоведению, издательские вопросы и некоторые другие.

---

[3] Подробнее см. хронику в ИАН ОЛЯ, 1962, 3.

[4] Подробное изложение доклада члена-корр. АН СССР М. Б. Храпченко см. в ИАН ОЛЯ, 1962, 3.

6 февраля выступили с докладами член-корр. АН СССР А. С. Бушмин «О методологических вопросах литературоведения» и доктор филол. наук Ф. П. Филин «Образование языка восточных славян». В докладе Ф. П. Филина говорится, что вопрос о формировании древнейшего славянского этноса, из которого впоследствии выделились восточные славяне с их самобытным языком, свыше восьмисот лет занимает многих любознательных людей и среди них поколения ученых. В славистике нет такой историко-лингвистической проблемы, которая вызывала бы столько споров, такое количество противоречивых гипотез, как проблема происхождения славянства. Однако это не значит, что поиски ее решения ввиду несовершенства методов исследования и недостатка фактических сведений безнадежны. В докладе освещается состояние изучения проблемы этногенеза славян в советской и зарубежной славистике.

Докладчик отметил, что за последние десятилетия проблема этногенеза славян стала монополией археологов. Однако достижения археологии, несмотря на их огромные успехи в изучении материальной культуры и социальной истории древнего прошлого нашей страны, не могут продвинуть вперед решение проблемы этногенеза славян, поскольку ареалы археологических культур обычно не совпадают с границами этнических единиц. Решающим в освещении этногенеза славян могут быть только исследования, которые исходят из данных языка, так как только язык является постоянным признаком любой этнической единицы. С утратой языка племя или народность обычно перестают существовать как самостоятельные этнические единства, между тем как переход к новым формам материальной жизни, как правило, не влечет за собой прекращения существования того или иного этноса. Поэтому в своих изысканиях Ф. П. Филин пытается опереться на комплекс лингвистических данных, принимая во внимание все существующие концепции.

В своей книге, которая уже написана, по материалам которой и сделан был настоящий доклад, Ф. П. Филин попытался критически пересмотреть существующие гипотезы, обобщить накопленные материалы, включить в книгу собственные изыскания и на основе всего этого представить общую картину возникновения и развития древних славян и их языка, образования в более позднее время восточных славян, восточнославянского (иначе древнерусского) языка.

Ф. П. Филин осветил вопрос происхождения и развития общеславянского языка, временной и территориальной принадлежности его носителей. При этом докладчик подробно осветил основные положения висло-одерской (автохтонной) гипотезы. В докладе дан анализ лексики общеславянского языка, тех ее слоев, в которых отражаются особенности древнего растительного ландшафта и животного мира, локальные явления неживой природы. Ф. П. Филин пришел к выводам о том, что в общеславянском языке нет ни одного слова, которое обозначало бы особенности морского ландшафта, ни одного названия морских рыб и животных, ни одного названия, связанного с мореплаванием. Имеется несомненно мощный пласт общеславянских слов, обозначающих растительность и животный мир лесной зоны с умеренным климатом; в то же время отсутствуют названия, связанные со степью и горным ландшафтом. Докладчик остановился на освещении балто-финно-угорских и славяно-финноугорских связей, балто-иранских и славяно-иранских взаимоотношений. В докладе сделана попытка определить границы прародины славян второй половины первого тысячелетия до н. э.— начала н. э., которая находилась в лесной полосе, расположенной между средним течение Днепра и Западным Бугом, южнее Припяти и севернее Причерноморских степей.

Рассматривая проблему образования исторически засвидетельствованных обособленных славянских языковых групп и отдельных языков, среди них и восточнославянского языка, Ф. П. Филин опирается на лингвистические данные, достигнутые современным сравнительно-историческим языкознанием. Он приходит к выводу, что язык восточных славян (древнерусский язык), ставший праязыком для современного русского, украинского и белорусского, как оригинальная лингвистическая система со своими самобытными чертами, свойственными только этой системе, возникает в ходе сложного процесса распада древнего общеславянского языка и трансформации древних диалектных зон в VIII—IX вв. н. э. Образование древнерусского языка означало и образование древнерусской народности как особой этнической единицы. Многочисленные и до того времени мало известные племена восточноевропейских славян сложились в большую народность, которая достигла в IX—XII вв. высокого экономического и культурного расцвета. Исторические события тех времен, принявшие в XIII—XIV вв. трагический характер, привели к распаду этой народности, к распаду общего языка восточных славян и к образованию русского, украинского и белорусского языков.

В обсуждении доклада приняли участие Б. В. Горнунг, С. Ф. Фролова и Н. И. Толстой, которые подчеркнули важность, своевременность и актуальность работы Ф. П. Филина.

М. А. Бакина, Г. И. Миськевич
(Москва)

В Институте языка и литературы АН Латв. ССР группой культуры речи под руководством канд. филол. наук Т. Г. Порите выпущен ряд справочников по орфографии и орфоэпии иноязычных имен собственных в латышском литературном языке. До настоящего времени вышло семь справочников (на латышском языке): I — «Имена собственные эстонского языка»,

составитель С. Раге (1960 г.), II — «Имена собственные чешского и словацкого языков», составитель Г. М. Мацков (1961 г.), III — «Имена собственные немецкого языка», составитель Л. К. Цеплитис (1960 г.), IV — «Имена собственные литовского языка», составитель Т. Г. Порите (1961 г.), V — «Имена собственные польского языка», составитель В. Э. Сталтмане (1961 г.), VI — «Имена собственные английского языка», составитель А. А. Ахеро (1961 г.), VII — «Имена собственные испанского языка», составитель Л. К. Цеплитис (1961 г.). Все справочники изданы Латвийской Академией наук в Риге.

Эта работа, выполненная сотрудниками Института языка и литературы АН Латв. ССР, представляет собой значительную ценность. Вопросами транскрипции занимаются у нас еще недостаточно, особенно в отношении транскрипции собственных имен в языках республик, между тем разнобой в решении этих вопросов наблюдается чрезвычайно большой. Положительным является стремление авторов изданных справочников найти общий подход для решения транскрипционных вопросов, касающихся как собственных личных имен, так и географических названий. Этот принцип чрезвычайно целесообразен, так как и личные имена, и географические названия относятся в языке к одной категории — собственных имен, и чем больше будет единообразия при их транскрибировании, тем проще и лучше. Существующие инструкции Главного управления геодезии и картографии Министерства геологии и охраны недр СССР рассматривают только транскрипцию географических названий. Принципы транскрибирования, применяемые в этих инструкциях, лишь в отдельных случаях используются и для передачи собственных личных имен с одного языка на другой. Инструкции же Всесоюзного института научной и технической информации АН СССР, рассматривающие вместе транскрипцию собственных личных имен и географических названий, не изданы и потому не могут иметь широкого распространения.

В результате относительная упорядоченность транскрибирования географических названий не распространяется на личные имена и в целом в транскрибировании собственных имен получается разнобой как в печати, так и на радио, и в библиотеках. Кроме указанного преимущества единого решения транскрипционных вопросов для географических названий и собственных личных имен, в справочниках, изданных АН Латв. ССР, есть еще большое достоинство: в них значительное место уделяется вопросам орфоэпии — даются произносительные варианты, указываются ударения и пр.

В первом вышедшем справочнике «Имена собственные эстонского языка» приводятся основные положения, теоретические принципы, которыми составители справочников руководились и руководятся в своей работе [5]. Все рассматриваемые справочники построены по единому плану. Каждый из них содержит грамматическую часть, рассматривающую звуковой состав и излагающую основные грамматические положения языка, с которого следует транскрибировать. Затем даются правила транскрибирования с этого языка на латышский язык. В каждом справочнике приводятся также списки географических названий и личных имен — наиболее распространенных и наиболее спорных случаев. В конце справочников приводятся библиографические списки по вопросам, затронутым в данном справочнике.

Впереди у составителей справочников по орфографии и орфоэпии иноязычных имен собственных в латышском литературном языке еще очень большая и трудная работа, и среди нее — создание справочника по передаче на латышский язык собственных личных имен и географических названий с русского языка. Особое затруднение здесь представит нефиксированное русское ударение. Но и изданные справочники показывают, что их составители проделали очень нужную и важную работу.

Л. П. Калакуцкая (Москва)

---

[5] Однако при дальнейшей работе над справочниками составителям в отдельных случаях (частного характера) пришлось отказаться от точного следования предусмотренной программе.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО.— 1961, 107—108.

Бюллетень научной информации. Серия общественных наук.— Бухарест, 1961, 2. 233 стр.

Курс історії української літературної мови. II.— Київ, 1961.

IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. I — Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики.— М., 1962. 647 стр. (Советский к-т славистов).

А. Ғ. Ғуломов, М. А. Асқарова. Ҳозирги замон ўзбек тили. Синтаксис.— Тошкент, 1961. 279 стр.

В. А. Истрин. Развитие письма.— М., 1961. 396 стр. (Изд-во АН СССР).

Ф. Ф. Кузьмин. Практические занятия по синтаксису и пунктуации.— М., 1961. 235 стр.

Л. М. Лосева. Синтаксические особенности русских народных говоров. Пособие для студентов-филологов Черновицкого гос. ун-та (Изд. 2-е, испр. и дополн.).— Черновцы, 1961. 64 стр.

А. А. Москаленко. Нарис історії української діалектології. Учбовий посібник для студентів-заочників.— Одеса, 1961. 48 стр.

Л. И. Ройзензон. Фразеологизация как лингвистическое явление.— Самарканд, 1961. Стр. 101—117. [Отд. отт. из «Трудов Самаркандского гос. ун-та им. А. Навои». Новая серия, вып. 113 кафедры ин. яз.].

В. И. Собинникова. Простое предложение в русских народных говорах (по материалам говоров Воронежской области).— Воронеж, 1961. 297 стр.; ее же. Строение сложного предложения в народных говорах (по материалам говоров Гремяченского района Воронежской области).— Воронеж, 1958. 174 стр.

Ф. Янкоўскі. Пытанні культуры мовы.— Мінск, 1961. 100 стр.

Annali. Sezione linguistica. III.— Napoli, 1961. 266 стр.

Annali. Sezione slava. IV.— Napoli, 1961. 100 стр.

Arabische, türkische und persische Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava unter der Redaktion J. Blaškovičs.— Bratislava, 1961. 551 стр.+XXII табл.

Pubblicazioni dello Istituto di studi filosofici a del Centro Internazionale di studi umanistici.— Roma, Universita, 1962. 20 стр.

Romanoslavica.— București, 1960. IV. 436 стр.

Slavia orientalis. X, 4.—Warszawa, 1961. Стр. 527—638.

Slavica. I.— Debrecen, 1961. 218 стр. [Annales Instituti philologiae slavicae. Universitatis debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae].

Studia slavica. VII.— Budapest, 1961. 294 стр.

Zpravodaj. Místopisné komise ČSAV. II, 5. 1961.— Praha. Стр. 266—336. [ротапринт].

Л. Деже. К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI—XVIII вв.— Budapest, 1961. Стр. 139—176. [Отд. отт. из «Studii slavica». VII, 1—3]; его же. Урбариальные записи с Мараморошской Верховины (Материалы к исторической диалектологии закарпатских украинских говоров).— Budapest, 1957. Стр. 235—260. [Отд. отт. из «Studia slavica». III, 1—4].

J. L. Mey. La catégorie du nombre en finnois moderne.— Copenhague, 1960. 149 стр. («Travaux du cercle linguistique de Copenhague». XIII).

V. Pisani. Introduzione allo studi o delle lingue germaniche.— Torino, 1962. 232 стр.; его же. Storia della lingua latina. I.— Le origini, e la lingua letteraria fino a Virgilio e Orazio.— Torino, 1962. 364 стр.

R. R. Posner. Consonantal dissimilation in the Romance languages.— Oxford, 1961. 230 стр. [«Publications of the Philological society». XIX].

L. Simonsuuri. Typen-und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen.— Helsinki, 1961. 156 стр. [EF communications LXXIV_2, 182. Acad. Scientiarum Fennica].

A. Vraciu. Originea adjectivelor pronominale în limbile balto-slave.— Iași, 1961. Стр. 53—63. [Отд. отт. из «Studii și cercetări științifice». Filologie. XII, 1. Academia RPR Filiala Iași)]; его же. Рец. на кн. Al. Rosetti, Istoria limbii romîne. I.— София, 1961. Стр. 107—110. [Отд. отт. из «Балканско езикознание». III].

СОДЕРЖАНИЕ

М. В. Панов (Москва). О развитии русского языка в советском обществе 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. Кржижкова (Оломоуц). Некоторые проблемы изучения категории времени в современном русском языке 17
А. В. Бондарко (Ленинград). Система глагольных времен в современном русском языке 27
Ю. Д. Апресян (Москва). К вопросу о структурной лексикологии . . . 38
Е. И. Шендельс (Москва). О грамматической полисемии 47
В. И. Перебейнос (Черкассы). Об использовании структурных методов для разграничения значений многозначного глагола 56

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. Колмогоров, А. М. Кондратов (Москва). Ритмика поэм Маяковского 62
П. Г. Богатырев (Москва). О языке славянских народных песен в его отношении к диалектной речи 75
Р. О. Якобсон (Кембридж, США). О соотношении между песенной и разговорной народной речью 87
А. Росетти (Бухарест). Заметки об употреблении ономатопеи 91
А. К. Соловьева (Москва). Проблемы индивидуального говорения . . 93
Г. А. Меновщиков (Ленинград). Язык сиреникских эскимосов . . . 107
М. А. Габинский (Кишинев). Особая неличная форма албанского глагола. 115

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Г. П. Блок и Т. И. Лысенко (Ленинград). Неосуществленный словарный замысел В Ягича 119

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

И. И. Ревзин, В. Н. Топоров (Москва). Новое исследование по стиховедению. 126
А. А. Леонтьев (Москва). *T. Slama-Cazacu.* Langage et contexte 131
Е. Э. Биржакова, А. М. Бабкин (Ленинград). «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache» 134
Я. Г. Сулейманов (Махачкала). *Е. А. Бокарев.* Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков 139
М. И. Исаев (Москва). *Г. Ахведиани.* Сборник избранных работ по осетинскому языку. 143
Э. Р. Тенишев (Москва). *С. Е. Малов.* Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. 145

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

С. Л. Соболев (Новосибирск). Письмо в редакцию 147

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Б. А. Успенский (Москва). Лингвистическая жизнь Копенгагена . . 148
Г. А. Климов (Москва). Из опыта работы над сравнительно-историческим словарем картвельских языков 151
Хроникальные заметки. 153
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 167

SOMMAIRE

Articles: M. V. Panov (Moscou). Sur le développement de la langue russe dans la société soviétique; **Discussions**: H. Křížková (Olomouc). Quelques problèmes de la catégorie du temps en russe moderne; A. V. Bondarko (Léningrad). Le système des temps verbaux en russe moderne; Y. D. Apresjan (Moscou). Sur le problème de lexicologie structurale; E. I. Šendels (Moscou). Sur la polysémie grammaticale; V. I. Perebejnos (Čerkassy). L'emploi des méthodes structurales pour délimiter les significations des verbes polysémantiques; **Matériaux et notices**: A. N. Kolmogorov, A. M. Kondratov (Moscou). La rythmique des poèmes de Majakovskij; P. G. Bogatyrev (Moscou). Sur la langue des chansons populaires slaves et sa relation au langage dialectal; R. O. Jakobson (Cambridge, EUA). Sur la relation entre la langue des chansons populaires et le langage familier du peuple; A. Rosetti (Bucarest). Remarques sur l'emploi des onomatopées; A. K. Solovjova (Moscou). Problèmes du langage individuel; G. A. Menovsčikov (Léningrad). La langue des esquimos siréniques; M. A. Gabinskij (Kišinev). Sur une forme spéciale du verbum infinitum en albanais; **De l'histoire de la linguistique**: G. P. Blok, T. I. Lysenko (Léningrad). La conception non-realisée d'un dictionnaire de V. Jagić; **Critique et bibliographie**; S. L. Sobolev (Novosibirsk). Lettre à la rédaction; **Vie scientifique**: B. A. Uspenskij (Moscou). La vie linguistique de Copenhague; G. A. Klimov (Moscou). Quelques resultats de l'oeuvre sur le dictionnaire comparé et historique des langues kartveliennes.

CONTENTS

Articles: M. V. Panov (Moscow). On the development of the Russian language in Soviet society; **Discussions**: H. Křížková (Olomouc). Some problems of the tense-category in modern Russian; A. V. Bondarko (Leningrad). The system of verbal tenses in modern Russian; Y. D. Apresjan (Moscow). On the problem of structural lexicology; E. I. Šendels (Moscow). On grammatical polysemy; V. I. Perebejnos (Gerkassy). On the use of structural methods for delimiting the meanings of polysemantic verbs; **Materials and notes**: A. N. Kolmogorov, A. M. Kondratov (Moscow). The rhythmics of Majakovskij's poems; P. G. Bogatyrev (Moscow). On the language of Slavonic folk-songs and its relation to dialect speech; R. O. Jakobson (Cambridge, USA). On the relation between the language of folk-songs and the colloquial folk-speech; A. Rosetti (Bucharest). Remarks on the use of onomatopoeia; A. K. Solovjeva (Moscow). Problems of individual speech-characteristics; G. A. Menovsčikov (Leningrad). The language of the Sirenik Eskimoes; M. A. Gabinskij (Kishinev). On the special non-finite form of the Albanian verb; **From the history of linguistics**: G. P. Blok, T. I. Lysenko (Leningrad). Concerning one unrealised conception of V. Jagić's dictionary; **Critics and bibliography**; S. L. Sobolev (Novosibirsk). A letter to the editorial office; **Scientific life**: B. A. Uspenskij (Moscow). Linguistic life in Copenhagen; G. A. Klimov (Moscow). From the experience of work on the comparative dictionary of Kartvelian languages.